



**В. МАКСИМОВ**

**Прощание  
ИЗ НИОТКУДА**

Книга II

*Чаша ярости*

ПОСЕВ

*Обложка работы художника А. Русака*

© Possev-Verlag, V. Gorachek KG., 1982  
Frankfurt/Main  
Printed in Germany

*Моим дочерям  
Наталье и Ольге*

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### 1

Итак, пойдём дальше, золотой мой, посеребрённый, пойдём дальше, только не оглядывайся, изойдешь слезной солью где-то над пропастью Чопа!

Из мира в мир, из одного измерения в другое, из ниоткуда в никуда, в отрезок времени достаточный, чтобы вместить в себя как вдох и выдох, так и целую вечность, переносится душа твоя за кудыкины горы чужбины.

И вот уже под крылом самолета, сквозь разрывы облачной пены, потекла перед глазами эта чужбина, вся в росчерках дорог и перелесков, разреженных карточной россыпью пестрых застроек.

Вроде бы ничего не изменилось вокруг него — тот же воздух, те же лица, та же речь, — но внутри что-то вдруг как бы надломилось, треснуло, оборвалось, обнажив потаенную, но уже не способную отныне уняться боль. Его властно потянуло вскочить и сломя голову ринуться по проходу туда, в хвост гудящей машины, в беспмятном порыве дотянуться до запретной черты и попробовать переиграть судьбу.

Но вместо этого Влад лишь сдавленно выдохнул вслед проходившей мимо стюардессе:

— Девушка, выпить бы...

А под крылом плыла и плыла чужая земля, и не было ей теперь ни конца, ни края...

„Мело, мело по всей земле, во все пределы...”. Мело во все пределы и закоулки Москвы начала зимы тысяча девятьсот пятьдесят четвертого года. В снежной замяти город гляделся, словно смутный чертеж или беспорядочный набросок углем по белому холсту февральской стужи. И Влад стремглав ринулся в эту стужу, и она, посвистывая, понесла его сквозь путаницу завьюженных переулков к ближней окраине с птичьим названием — Сокольники.

Город сейчас пронеслся в нем, а не вовне, отмечаемый сквозь снежное кружево не зрением, но памятью: дом Утесова на углу Красноармейской и Краснопрудной, магазин „семьдесят пятый” возле Леснорядского рынка, таящего в себе соблазны его голодного детства, пивная у ликеро-водочного чьего-то, уже забытого теперь имени, кинотеатр „Молот” и, наконец, шестьдесят пятое отделение милиции, откуда, если пересечь наискосок Маленковскую, начиналась тянувшаяся за ним по пятам через всю выпавшую ему на долю жизнь улица — Владова сказка, Владова боль, Владова тоска и ноша.

Когда же Влад свернул на нее, эту улицу, ноги его сделались ватными, а душа зашлась от обморочного изнеможения. Сколько раз, загибаясь внутри „собачьих ящиков” скоростных экспрессов, на липких нарах пересылок и в скрипучих койках психбольниц, он представлял себе, как явится сюда, как пройдет немощным тротуаром мимо своего прошлого и как оно — это прошлое — сомкнется вокруг него, словно забытый сон в гулком зале стереокинематографа. Воистину: не заглядывай подолгу в пропасть — или пропасть заглянет в тебя!

Здесь, если подытожить все, каждый шаг был отмечен памятным ему случаем или событием: угловая булочная, где в душных очередях карточной поры он упоенно выныривал свои мечты об иных землях и другой судьбе; замшелая, в бурой цепочке себе подобных, коробка двухэтажного барака, в котором, под гостеприимным кровом семьи детского друга Сережки Забрудина, его угощали пирогами из отрубей с неизменным привкусом керосина; огромный пенёк от старого тополя у забора ситценабивной фабрики, того самого тополя, что чуть не свалился на него в раннюю грозу двадцатилетней давности, и сразу вслед за этим, через дорогу, уличное колено, откуда раскатились во все стороны Владовы мандарины в то декабрьское утро отцовского возвращения, с какого закружилась его судьба в яростной карусели давнего российского лихолетья. Сколько нас...

Проезжее русло Митьковки, втекавшее на другом конце прямо в ворота Сокольнического парка, в обрамлении заснеженных тополей и разногорбых сугробов, вытянулось перед Владом, и тут же сквозь время и явь, через годы и тление пробился к нему острый запах помеси прелой рогожи с гашеной известкой, связанный в его детстве с возведением пристройки к дворницкой для Владова покровителя — дяди Саши.

К дому Влад подходил, не чуя под собой земли. Казалось, от него отлетели возраст и опыт, возвращая его в ребяческую ипостась. Он вдруг ощутил себя тем самым Владькой Самсоновым, который только что выбежал на улицу, скрываясь от коммунального крика и материнских нравоучений, тягуче вязавшихся следом за ним...

— Владька, Владька, чего из тебя получится, не сносить тебе головы рано или поздно, совсем от рук отбился, хоть в колонию отдавай, соседи и без того зубы точат, от тебя ведь проходу никому нет, а дома покою. Возьмись за ум, Владька, завтра поздно будет, пожалей мать свою старую, одна она у тебя, куда вот

тебя опять несет в такую погоду, чего тебе дома не сидится?.. Куда?..

Двор проплыл мимо него завьюженный и тихий, с редкими вкраплениями огоньков в обмороженных окнах, проплыл, словно громоздкий ковчег в снежной пене зимнего моря, нагруженный множеством теней прошлого и теплым биением животворящей плоти. Плыви, мой челн. По воле волн. Куда несет тебя судьба. Будет буря, мы поспорим. И далее, со всеми остановками.

Лишь миновав пространство между воротами родного двора и соседними, он, будто внезапно выброшенный из жаркого сна в студеную явь, вдруг почувствовал холод. Его сугубо южная одежонка оказалась явно неприспособленной к колючей температуре столичного декабря: уши и ноги у него одеревятели, и сам себе он казался сейчас еле теплящимся обрубком, все убывающим с каждым шагом в размерах.

И как это не раз бывало в его детском далеке, бесчувственные ноги сами завернули Влада под арку соседнего дома, где в глубине двора темнел гостеприимный провал котельной, в которой в ранние поры он частенько прятался от гнева родни и цепкого глаза участкового Калинина.

Давным-давно, с тех незапамятных времен, когда мир и душа человеческая раскололись надвое, а Влада еще и на свете не было, осел здесь истопником пленный австриец Вальтер Губер, человек без роду и потомства, безвольное „перекати” военного ветра, сирая щепка вещей рубки столетия.

Неслись годы, каждого из которых хватило бы на вековую историю, но события обтекали Вальтера со всех сторон, не вызывая в нем никакого отзвука или внимания. Он как бы окаменел во времени и пространстве, глядя в огонь раскаленной топки, и лишь один Бог знал, какие являлись ему там видения и какую суть он там прозревал.

Только однажды, где-то перед последней войной, Губер на короткое время оттаял, подобрав зимним вечером на улице мертвецки пьяную проститутку Соню из дома напротив и приютив ее до утра у себя в котельной.

С этого дня его словно подменили. Он пронесился по двору, курсируя через улицу и обратно, помолодевший, мытый и чисто выбритый, источаясь во все стороны благодатью и тройным одеколоном. Задубелую в поту и угольной пыли робу на нем сменила суконная пара, из-под которой выглядывал сатин застиранной рубашки, стянутый у горла неким подобием галстука: любви все возрасты покорны. И нации — тоже. Любовь, как известно, зла.

Дворовая голь посмеивалась над влюбленным истопником, хотя открыто задирать его не спешила в предвкушении свадебной выпивки. Но уже спустя неделю домоуправ Иткин, обеспокоенный происходящим, а вернее, угрозой потерять безотказного работника, нашел злополучного австрийца перед угасающей топкой в той же котельной, изуродованного чуть не до полусмерти, с маской запекшейся крови вместо лица.

Кто и когда это сотворил с ним, тот не поведал даже неугомонному участковому Калинин, хотя не надо было считать себя Натом Пинкертоном, чтобы догадаться, куда запропастились следы нападавших: кодла паханов и хахалей, сутками круживших около дома напротив, не захотела отдавать своей даровой добычи без боя.

С тех пор Губер окончательно погас и замкнулся, выходя из котельной лишь по крайней надобности...

Когда Влад, почти съехав по обледенелой лестнице, толкнул обшарпанную дверь и перешагнул порог, Губер все так же, будто и не прошло пяти с лишним лет, сидел все на том же скрипучем табурете и неподвижными глазами всматривался в тот же огонь раскаленной топки. Узловатые, в ржавой коросте руки истопника при этом едва заметно подрагивали на коленях.

— Здравствуй, Вальтер, — непослушными губами вполголоса сложил Влад, — не прогонишь?

Тот даже не оглянулся в его сторону, молча кивнул и снова устремился в одну точку.

— Заглянул вот, давно не виделись, — у Влада остро запершило в горле, — не узнаёшь, видно.

Только тут истопник скосил на него застывший глаз, изучающе скользнул по нему, снова замер и вдруг засветился, потепшел изнутри ответной радостью:

— Владья!.. Здравствуй, — он повернулся к нему всем корпусом и даже привстал от неожиданности, — какой судьба?..

Вскоре они сидели за колченогим столом в глубине котельной. Алюминиевый, сплошь во вмятинах чайник весело пофыркивал на приглашенных по этому случаю углях. Вокруг початой четвертинки соблазнительно жались нехитрая закуска, состоявшая из ржавой селедки, мятого огурца прошлогоднего засола и щедро нарезанной полбуханки ситного, а над всем этим нищим великолепием плавало облако махорочного дыма, выпускаемого „козьей ножкой” хозяина.

— Как тут мои-то, — хмелея, Влад намеренно бередил себя, — живут, не бедствуют?

Губер шарил по его лицу горячечным взглядом, растроганно попыхивал сигаркой, успокаивал:

— Карашо живут, Владья, сестра твой кароший девашка, учится карашо, твой мать кароший работа получили, твой тетя орден Ленина получили... Карашо!

Боже мой, Боже мой, чего ему — этому случайному чужеземцу, знавшему когда-то куда лучшие времена и куда удобнее кущи, чем грязная котельная на столичной окраине русского бедлама, до Владовой родни, до сестриных отметок и теткиных наград? Но, видно, яд здешнего тлена уже коснулся его души, разрушая в ней целостную основу представлений о добре и зле, тьме и свете, лжи и правде, и все сущее для него замкнулось те-

перь в пределах этой котельной, этого двора и этой растворившей его в себе чужбины. Страшен век, когда даже общая погибель становится притягательной...

Окончательно отогреваясь, Влад поспешил переменить разговор:

— А сам-то ты как, на родину не думаешь подаваться, я слышал, выпускать стали таких, вроде тебя?

— А! — Тот безнадежно махнул рукой, как бы отметая самую мысль о такой возможности. — Зашем минье мой Австрий, мой Австрий — мой котельный. — Он любовно осмотрел свое подземное логово. — Не хошу в Австрий, тут карашо, ошень карашо...

Прощаясь, они долго и неуклюже мяли друг друга, словно пытались на ощупь удостовериться во всамделишности происшедшего, а расцепившись, все еще не могли разойтись, оттягивали расставание в первых попавшихся словах:

— Бывай, Вальтер, может быть, еще встретимся, мир тесен.

— Мой котельный — твой котельный, заходи, Владык.

— Скоро опять в Москве буду, зайду.

— Не забывай старый Губер, скоро помер будьет.

— Брось, Вальтер, тебе еще жить и жить, всех нас еще переживешь и похоронишь, смотри здоровый какой!

— Ньет здоровый, Владык, софсем ньет, больной много, скоро помер будьет твой Вальтер, Владык.

— Увидимся, Вальтер, помяни мое слово, увидимся. Бывай, Вальтер, и моим ничего не говори, так лучше, пусть думают, что пропал, им легче, и мне спокойней. Бывай...

Снаружи Влада встретила слепящая тишина вечерних сумерек. Метель улеглась, густо выбелив улицу, которая проглядывалась теперь насквозь, почти до самого дальнего поворота. Небо над головой раздвинулось вширь и вглубь, звездной пылью стекая к горизонту. В

морозном воздухе чутко отзывался любой звук или движение. Гудки маневровых паровозов и ляг вагонных сцеплений из-за ограды товарной станции Митьково, едва возникнув, тут же сникали, не в силах пробиться сквозь его вязкую густоту. Казалось, морозную темь перед глазами можно было зачерпнуть, будто стоячую воду.

На углу Старослободской перед ним выявились две — одна на голову ниже другой — женские фигуры, от которых отделились и потекли навстречу ему негромкие — первый обиженный, почти детский, второй спокойный и тоном погуще — голоса:

— Но ведь это несправедливо, Нина Петровна!

— Успокойся, Катя, возьми себя в руки.

— Но ведь я сказала правду!

— Не всякая правда к месту, Катя.

— Раньше вы учили меня другому, Нина Петровна...

— Ладно, иди домой, мы поговорим с тобой завтра, утро вечера мудренее, будь здорова...

Девчушка мелкими шажками, низко опустив голову, прошмыгнула мимо Влада, и здесь, в одно мгновение, всем своим внезапно обмершим сердцем Влад инстинктивно определил, что это его сестра — Катерина...

Так он и встретился с нею впервые после десятилетнего перерыва, чтобы уже через два быстротекущих года окончательно пересечься с ней для долгой жизни и больших скитаний. Катя, Катя, Катерина, Екатерина Алексеевна!..

— Извините, — произвольно окликнул он женщину, уже повернувшуюся было в другую сторону. — Эта девочка — Катя Самсонова?

— Да, — остановилась и оглянулась на него та, — а что вы хотели?..

Влад не ответил, устремляясь в стылую темноту, прочь от властно влекущего его к отчему дому соблазна, навстречу грядущей маете и возбуждающей неизвестности. Еще не вечер, господа, еще не вечер!

Помнится, в аэропорту Мельбурна он перед отлетом в Европу рассматривал с одним провожающим сувениры на витрине случайного киоска, когда кто-то несмело, но требовательно вдруг тронул его за рукав:

— Вы куда йидыте? — Влад обернулся и обнаружил перед собой старушку — Божий одуванчик в темном платке до бровей и ватном жакете без воротника, с туго набитой всякой всячиной „авоськой” в руках: ее словно нарочно вычленили из вязкой толпы районного рынка где-нибудь на Харьковщине или Тамбовщине и перенесли сюда, в стеклянно-пластиковое царство пятого континента. — А я чую, будто по-русски балакають.

— Во Франкфурт, — он даже не успел удивиться, настолько неожиданным для него было это бесподобное явление на другом от России конце земли, — а вы куда?

— Та в Тернополь.

— Ну и что там у вас в Тернополе?

— Та пьють!

— А здесь чего делали?

— Та у брата гостила.

— Ну и что брат?

— Та пьеть!

— А каким рейсом лететь-то?

— Та до Сингапуру, а там напрямки до Москвы...

Она стояла перед ним, переминаясь с ноги на ногу затасканными бурками в калошах, неколебимо уверенная в том, что Сингапур — это что-то вроде пересадочной станции между Москвой и Тернополем, откуда ей местным поездом до своего села рукой подать. Господи, как все-таки отсутствие воображения облегчает человеку жизнь!

Вот тебе, гаганский соловей, сокамерник Коля Патефон, и „в бананово-лимонном... где вы теперь, кто вам целует пальцы”!..

— Та до Сингапуру, а там напрямки до Москвы!

4

Хотите вы или не хотите, но мороз в Москве с каждым днем все-таки действительно крепчал, подгоняя Влада в его регулярных походах по столичным издательствам и редакциям. Целыми днями мотался он из конца в конец города в поисках спроса на свой незамысловатый стихотворный товар, где „жизнь”, конечно же, рифмовалась с „коммунизмом”, а концовки, по всем правилам социскусства, дышали бодростью и оптимизмом. Но, видимо, охотников поставлять подобную жизнеутверждающую макулатуру было всюду так много, что усталые редакторы (хотя чаще всего почему-то редактрисы, но тоже усталые), едва взглянув мельком на первую страницу его машинописи, произносили скучным голосом одну и ту же фразу:

— Оставьте, мы вам напишем...

Влад знал цену этим посулам, сам, бывало, в Динской тем же манером выпроваживал из редакции районных стихоплетов, но, как всякий утопающий, хватался и за этот крючок: авось клюнет? С этой спасительной для него в ту пору надеждой он и заканчивал день, отогреваясь по вечерам в метро и ночуя на вокзальных скамейках. „Все равно пробьюсь, — в чуткой дремоте случайных пристанищ не оставляла его обида, — ведь не хуже, чем у других!”

Невдомек ему было тогда, что и не лучше. Даже теперь, дожив до седых волос и глядя в прошлое со снижодительным недоумением, он не в состоянии все же объяснить себе то смутное состояние ума и души, когда

явь в человеке как бы распадается на две реальности, каждая из которых, сосуществуя с другой, живет самостоятельно вне зависимости от логики происходящего. Казалось бы, после всего пережитого — сиротского детства, бродяжьей юности, этапов и пересылок, психушек и вербовочного ярма, казенной изнанки и этого вот теперешнего его бездомного прозябания — можно было бы понять, какая же из тех двух реальностей имеет отношение к подлинности, но инерция молчаливого сговора, в котором каждый оказывался бессознательным соучастником, а все вместе — собственной западней, — была в нем сильнее здравого смысла.

Влад отмахивался от прошлого, считая его цепью досадных случайностей, недостойных не только воскрешения на бумаге, но даже воспоминаний. Ему мучительно хотелось забыть и до конца избыть в себе тянувшийся за ним по пятам давний кошмар, чтобы полноправно войти, враспи, вжиться в ту новую для него жизнь, где перед ним, как он полагал, открывалась наконец настоящая и отныне уже беспрепятственная дорога.

И это особое состояние ума и души было для него и всех других вовсе не возвышающим их обманом или нарочитой ложью во спасение, скорее, естественной реакцией человеческой сути на окружающую ее опасность, продиктованной инстинктом самозащиты и самосохранения, в чем, за редчайшим исключением, писатель не отличается от таксиста, академик от дворника, музыкант от колхозника и прочая, и прочая, и прочая. Спонтанная ложь сделалась нормой существования, за пределами которой все считалось как бы вне закона.

— Вот какие книжки надо писать, Владислав Алексеич, — поучал его, бывало, еще там, в Пластуновской, заядлый книгочий станичной библиотеки Гриша Тарутта, раскачивая у него перед носом очередным томом

Бабаевского, — если бы все так-то вот умели, за книжками бы очередь стояла, точно тебе говорю...

Гриша этот — учетчик с птицефермы, лобастый парень лет тридцати, при четырех детях мал мала меньше, содержал еще на свои куцые трудодни парализованную старуху-мать и родителей жены, перебивался, что называется, с хлеба на квас, нищета в его саманной хатенке не выветривалась даже по великим праздникам, но он, видно, как и большинство людей вокруг, считал, уверен был, что судьба, выпавшая ему, лишь редкое исключение из общего счастливого правила, а стоящая жизнь разворачивается где-то совсем рядом, чуть ли не рукой подать, причем точь-в-точь такая, как в лауреатских книжках, где триста шестьдесят раз в году выходные дни, а остальные — праздники, где все сало с салом едят и салом закусывают и где по щучьему велению в один момент любые беды руками разводятся.

Гораздо позже, окончательно осев в Москве и уже уверенно прозревая, Влад не раз выслушивал сетования своей первой тещи по поводу его прозаических опусов:

— Владислав Алексеич, голубчик, что же это все у вас в таком черном свете, — близорукие глаза ее укоризненно щурились, — неужели уж все так плохо в нашей стране? Жизни вы не знаете, дорогой, на люди не выходите, в общественной работе не участвуете, сидите бирюком или пьете с приятелями вроде вас. Оглянитесь вокруг себя, Владислав Алексеевич, какой вокруг энтузиазм, какой оптимизм! — При этом она горделиво вскидывала свой острый подбородок, сияющими глазами устремляясь куда-то поверх его головы: точь-в-точь женщина с популярного плаката „Родина-Мать”. — Загляните хотя бы к нам, в нашу школу, какую замечательную стенгазету выпускают ребята, какая у нас художественная самодеятельность, какие походы за город мы устраиваем, с кострами, с песнями, с веселыми играми!..

Эта большая энтузиастка загородных походов и художественной самодеятельности в тридцать седьмом отреклаась от своего мужа, сосланного куда-то в казахские степи, еле сводила концы с концами на учительскую свою зарплату, большая часть которой уходила на ублажение сына-алкаша и на тряпки гулящей дочери, но все же ухитрялась до пятидесяти с лишним лет остаться в полном неведении относительно всего происходящего вокруг нее и в счастливой уверенности, что ее личные обстоятельства никак не нарушают гармонии текущего времени и общего оптимизма.

А еще позже другой человек, не чета колхозному учетчику или школьной учительнице, после прочтения первой рукописи Влада отечески выговаривал ему, принимая его в своем кабинете на Пушкинской площади:

— Вы несомненно талантливы, даже очень талантливы, вы знаете, я это редко кому говорю, но, согласитесь, ваши герои живут на обочине жизни, а не в ее стремнине, это отходы эпохи, не более того. Задайте себе вопрос: могли бы такие люди взять Берлин?

Владу было жаль этого усталого человека, его сломленной судьбы и раздавленного таланта. Он знал, что за плечами у того больше, чем способен вынести один человек с умом и совестью, — лапотное детство, кошмар коллективизации, медные трубы сомнительной славы, фронт, перемежаемая черными запоями тоска и позднее разочарование, из которого уже не виделось выхода, — поэтому не стал спорить, а лишь примирительно отшутился, подаваясь к выходу:

— Может быть, вы и правы, Александр Трифонович, только мы этот самый Берлин два раза при крепостном праве брали...

Так мы и жили в замкнутом мире этого странного забытья, где в одном лице совмещались жертва и палач, заключенный и надзиратель, обвинитель и обвиняемый, не в силах вырваться за его пределы, ибо там — в разре-

женном пространстве свободы — любого из нас подстерегали гибель или одиночество, которого наши слабые дырявые души страшились еще больше гибели. Смельчаки же, которые шли на этот риск, мгновенно исчезали, растворялись в запредельном пространстве, не оставляя после себя ни следа, ни памяти.

Исключение составляли те редкостные одиночки, чья высокая судьба брала свое начало еще в том золотом веке, когда литературу не так уж сильно уважали, чтобы за нее расстреливать. В известном смысле они, эти одиночки, были счастливее нас. То, к чему мы пробивались сквозь свинцовые пласты лжи и беспамятства, сдирая с души коросту полых слов и фальшивых понятий, огороженные стеной грозных табу и лукавых соблазнов, им дарилось свыше вместе с самой жизнью. Знание меры подлинных ценностей облегчало для них их молчаливое противоборство, но платили они за это знание куда дороже, чем впоследствии пришлось заплатить нам. Мне на плечи бросается век-волкодав...

Последнюю в этот приезд ночь в Москве Влад провел на Казанском вокзале. В текучих видениях чуткой дремы перед ним кружился хоровод лиц, помещений, предметов...

— Оставьте, — наплывали на него усталые глаза знакомой редактрисы, — мы вам напишем...

Следом за нею ему являлось испитое лицо полубезумного графомана, с которым он регулярно сталкивался в издательских коридорах:

— Главное, слова надо особенные употреблять, не как у всех, — заговорщицким шепотом убеждал он Влада, — вот, например, я недавно откопал: „стапеля“! Слышишь, как звучит: ста-пе-ля! — Безумный взор его заволакивался обморочным туманом. — Стапеля-я-я-я...

И вдруг, почти с самого доньшка его памяти, из уже забытых ее тайников, потянулся к нему, замаячил, словно в бреду, образ высокого, с легкой сутулостью челове-

ка, гордая голова в лохмах темных, почти вороного цвета волос:

— Ничего, мальш, мы еще поживем, а может, и напишем чего-нибудь, как говорится, такого, а помрем, что ж, другим больше достанется. Будешь в Москве, заходи, адреса пока не знаю, да через нашу писательскую лавочку найдешь...

Черная стужа игарской ночи пахнула на Влада, сотрясая его изнутри зябким ознобом, отчего он сразу же пришел в себя.

— Подъем, солдат, — над ним возвышался милицейский сержант, растягивая губастый рот в снисходительной усмешке, — закрываем лавочку на уборку, в метро доспишь, там теплее...

Пожалуй, впервые со дня приезда фиолетовое утро зимней столицы показалось ему не таким бесприютным, как прежде. Сейчас он чувствовал себя, словно путник в метельной пустыне, перед которым забрезжил первый огонек: теперь он не пропадет, тот игарский знакомец поможет ему, должен помочь!

За время своего суетливого кружения по издательской и редакционной Москве Влад успел завязать кое-какие шапочные знакомства с пишущей мелкотой, поэтому отыскать по внутреннему справочнику необходимый адрес не составило для него большого труда: уже пополудни он петлял лабиринтами Сретенских переулков в поисках полученного адреса.

Желанный дом тонул в сугробах горбатой улочки, белым шлейфом стекавшей от Сретенки в сторону Цветного бульвара. Паутина снежных тропинок во дворе в конце концов вывела Влада к приземистому, в два этажа, флигелю со слепыми от наледи окнами. У двери, на косяке которой значилась знакомая фамилия, он перевел дыхание и, оглушенный биением собственного сердца, позвонил, как это и было отмечено в списке жильцов, четыре раза.

Открыл сам хозяин. Прищурившись, оглядел гостя с головы до ног, узнал и сразу же заторопился:

— Входи, входи, малыш, — отступая в темноту, он потянул Влада за рукав к светлому пятну открытой в глубине коридора двери, — так я и знал, что когда-нибудь явишься. Много я вас, глазастых, повидал на своем веку, отговаривай — не отговаривай, все равно в эту петлю лезете. — Он легонько толкнул его впереди себя в комнату. — Раздевайся, сейчас чай хлебать будем, а к чаю и выпить не грех.

Нет, совсем не так представлял себе Влад быт маститых писателей! В тесной, заставленной книжными полками комнате с одним окном, выходящим в глухую стену соседнего дома, едва помещались небольшой канцелярский стол с тремя разнокалиберными стульями впридачу и диван — не диван, тахта — не тахта, скорее, нечто вроде временного лежачка, нехитрой комбинации пружинного матраца с деревянными ножками по углам. Поверх полка, почти под самым потолком, вперемежку с разного формата иконами свисали картины без рам, не изображавшие ничего, кроме цветовых линий и пятен в многообразных сочетаниях. В сумрачной и душной тесноте комнаты пахло застоялым куревом и бумажным тленьем. „Небогато нынче сочинители живут, — озадачился мысленно Влад, — не из первых, видно”.

— Ну, как мои хоромы, малыш? — войдя с посудой и чайником на подносе, угадал его недоумение хозяин. — Привыкай, милый, каждому свое, не всем дано в высотных домах жить и в Переделкине прохладиться, мне то и это логово из особой милости дали, после лагеря полгода у приятелей ночевал. — С привычной холостяцкой небрежностью он расчистил от бумаг место на столе, разлил по чашкам чай и водку, подвинул к гостю миску с солеными огурцами, нарезал колбасу и хлеб. — Закусывай, малыш, на голодный желудок пить вредно. Закусим, выпьем, опять закусим, а после, как люди, чайком зальем. — Но сам он к чаю не притронулся, мед-

ленно, с видимым удовольствием выщедил в себя водку, пожевал вялым ртом хлебную корочку и уперся в гостя захмелевшим глазом. — Ну, рассказывай, с чем в престольный град пожаловал? Хотя, впрочем, догадываюсь...

Под чай и водочку Влад незаметно для самого себя, перескакивая с одного на другое и опять возвращаясь к началу, поведал тому свою одиссею за все три года после их первой встречи, кончая этими последними днями в Москве. В заключение, расчувствовавшись от собственной исповеди, решил даже прочесть кое-что из привезенного сюда с собою хлама...

Хозяин слушал его не перебивая, только сокрушенно мотал лохматой головой, насмешливо хмыкал, сочувствующе посапывал, а когда тот кончил, облегченно откинулся на спинку стула:

— Так я и знал, так я и знал, что не бросишь ты бумагу пачкать, не излечишься от этой чумы, уж больно глазастым ты мне показался тогда. Такие глазастые, пока до самой сути не дойдут, не успокоятся, а когда доходят, то руки на себя накладывают или спиваются. Но уж коли ты решился на эту пытку, малыш, тебе надо почаще обжигаться, быстрее привыкнешь, а не привыкнешь — соришь от обид. Поэтому слушай и терпи: стихи твои — дерьмо, с таким дерьмом по стране тысячи бегают, к тому же понаглее и половчее тебя. Брось это гнусное соцсоревнование с ними, все равно затопчут, у них копыта и мускулы не чета твоим. — Он вскочил и размашисто заходил из угла в угол, отчего комната сделалась еще теснее. — И кто только тебя набил этой трухой? Разве это слова, разве это темы? Мусор, шлак, газетные отбросы! Чем других повторять, ты бы лучше самому себе в душу взглянул: тебе двадцати четырех нет, а судьба у тебя на трех Вечных Жидов хватит. Вот это и есть золотая жила настоящей литературы, а не „народ-вперед” и не „весна-страна”. Палат каменных, понятно, тут

не наживешь, может, даже голову сломишь, но зато умрешь со спокойной совестью, а это, поверь, чего-нибудь да стоит! — Продолговатое, со впалыми щеками лицо его решительно напряглось. — Вот что, малыш, нечего тебе больше здесь по присутственным местам пороги околачивать, толку, поверь мне, старику, все равно не выйдет. Я бы тебя у себя оставил, авось понабрался бы разуму, не стеснил бы, вдвоем веселее, да соседи у меня сквальжные, сразу в милицию настучат, а я у них там на особом счету. Поэтому, мой тебе совет: поезжай на Кавказ, в Черкесию, там у меня один приятель вроде тебя переводами промышляет, я тебе к нему цидулю дам, он на первых порах поможет, а потом сам выплывешь. Придешь в себя, пораскинешь на досуге мозгами, глядишь, за ум возьмешься. Денег я тебе на дорогу отслюнявлю, не бойся, а теперь давай на боковую, а то, я гляжу, ты скоро свалишься.

Последние слова хозяина пробились к Владу уже сквозь сморившую его дремоту.

На другой день тот проводил его на Курский вокзал. В ожидании поезда они устроились в станционном буфете, где за выпивкой и разговорами просидели чуть не до самого отхода, после чего еще долго прощались у вагонных ступенек, обещая не забывать друг друга и писать.

— Держись, Владька, — гудел тот вслед уже отходящему поезду, — мы еще свое возьмем!

На голову выше других провожающих его долговязая фигура еще долго маячила на обледенелом перроне, призрачно растворяясь в морозном тумане.

## 5

Ты вспомнишь это прощание спустя четверть века, когда другой человек, с другого конца земли, француз армянского происхождения Арман Малумян — бывший

партизан, бывший смертник и бывший зэка, несломленное дитя ГУЛага, расскажет тебе о своих встречах с ним в лагерных бараках Тайшетской командировки:

— Этому высокому угловатому парню я дал три прозвища: Ворон, Нос и Дон-Кихотский. На ворона он был действительно чем-то похож: глубоко сидящие в орбитах глаза, осторожность, ум и естественная сухощавость, подчеркнутая „фасонной стрижкой”, обязательной в „домах отдыха”, предоставленных в наше распоряжение „голубыми фуражками”. Должен признаться, что ему не очень понравилось это прозвище, напоминавшее ему „воронок” и ворона из басни. Нос? Он у него был выразительным, солидным, внушительных размеров. Юрию очень понравилась знаменитая тирада Сирано де Бержерака, которую я продекламировал ему в шизо, и каждый раз, когда мы вступали в споры с гебистами и Нос хотел подать мне знак, что его очередь брать слово, он делал жест роستانовского героя и говорил: „Я попаду в конце посылки...” И все-таки Дон-Кихотский ему шло больше всего. Его человечность, целомудрие, его чувствительность были скрыты под маской ворчуна; он обладал глубоким умом; юмором, заостренным, как толедский клинок; благородством и гордостью испанского гранда. А его рост и худоба, о которых уже говорилось, делали его похожим на ветряную мельницу, вроде тех, с которыми он собирался сражаться, — стоило ему только поднять руки, и впечатление было полным. Острога языка его побаивались не только окружающие, но и начальство. К примеру, однажды в ответ обратившемуся к нему на „ты” лагерному оперу он коротко отчеканил: „На „ты”, гражданин опер, обращаются только к Господу Богу, а я, извиняюсь, простой смертный, так что прошу вас, и обращаться ко мне соответственно”. В другой раз, будучи в кабинете того же опера свидетелем получения мною денег из Франции, он взял у меня

из рук бланк перевода и почтительно его поцеловал, а удивленному этим жестом „куму” с достоинством пояснил: „Вам не лишне будет узнать, что даме всегда целуют руку. Франция, уважаемый, тоже — дама, и — великая. Она научила нас, русских, как, впрочем, и остальные народы, что такое Свобода. Я должен был здесь воздать ей должное...”

Ты еще встретишься с ним, родимый, еще встретишься, вам еще пить и пить вдвоем, разговаривать и разговаривать, но договорить до конца так и не удастся: ему суждено будет умереть, поставив точку в книге, которую он всегда мечтал написать, тебе — молча оплакать его на чужбине.

## 6

Оттого, что бывшая станица Баталпашинская стала Черкесском, она еще не сделалась городом. Над саманным царством станичных построек угрюмо, словно флагман с конвоем сторожевых канонерок среди сплошной флотилии рыбацких посудин, возвышались Дом советов, воздвигнутый в духе провинциального конструктивизма конца двадцатых годов, почта, кирпичный комплекс пединститута и вокзал, что создавало этой захолустной тмутаракани некое подобие административного центра.

Отдав таким образом дань времени и склонной к радикальным преобразованиям эпохе, местная жизнь принялась течь по тем, хотя и неписаным, но извечным правилам и законам, по которым она текла здесь со дня своего возникновения. Пыльными летом и непролазными зимой улицами с утра до позднего вечера слонялась в поисках добычи всякая домашняя тварь — ссорились и мирились куры, промышляли стаями гуси, от бесхозных собак отбоя не было, над садами и огородами струился

кизячий дым, властно перебивая редкие наплывы машинной гари, по престольным праздникам отсталое население в выходных обновах пестрыми ручейками тянулось в церковь на окраине, и все это не имело никакого касательства к тому единственному в городе заасфальтированному пятачку, где в каменном доме-крепости кружилась бумажная канитель в тщетной гордыне изменить не только самый облик земли, но даже природную суть человека. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью.

В микроструктуре этого дома зеркально отражалась, лишь убывая по мере наклонного спуска в размерах, структура целого государства. Люди, имевшие право служебного допуска сюда, так же, как и на руководящем верху, составляли невыполнимые планы и затем отчитывались в их выполнении, издавали газеты и книги, в которых слово в слово повторялось все то, что уже написано и напечатано до них или одновременно с ними в вышестоящих издательствах и газетах, созывали пленумы и совещания, где заговаривали друг друга цитатами из установочных докладов вождей и передовиц партийной печати.

По торжественным праздникам устраивались также военный парад и демонстрация трудящихся по тем же образцам, что и в столице и ниже, только соответственно своему положению поскромнее и побесцветней. На затянутую красной холстиной деревянную трибуну против Дома советов ровно в десять часов утра степенно, строго по рангу поднималась местная власть. Затем полупьяный лабух из кладбищенского оркестра трубил сигнал „Слушайте все”, следом за чем на площадь перед трибуной на пожилой кобыле, одолженной по этому случаю в городской пожарной охране, выезжал облвоенком подполковник Галушкин во главе нестроевого воинства престарелых отставников и тюремных надзирателей, за которыми вытягивалось разномастное ше-

ствии представителей если и не самых широких, то, по убеждению устроителей, самых активных слоев населения.

Руководство, из тех, что помоложе и погорластее, выкрикивало в микрофон лозунги и здравицы, вроде „Привет славным труженикам канатникового завода имени фабрики Первого мая!” или „Животноводам секретного пригородного хозяйства, почтовый ящик номер три, ура!”, демонстрирующие трудящиеся нестройно вторили этим призывам, по окончании чего обе стороны, довольные друг другом, растекались по домам, пивным и забегаловкам, чтобы с помощью сивушного ассортимента окончательно закрепить свое праздничное состояние.

И только военком Галушкин долго еще кружил по опустевшей площади на одолженной у пожарников кобыле, командуя вохровцами, разбиравшими начальственную трибуну до следующих торжеств. Щекастое лицо подполковника при этом пылало яростью и вдохновением, что делало его отдаленно похожим на героического фельдмаршала в решающей битве при Бородине.

Разумеется, никакой областной центр, даже такой крошечный, как Черкесск, да еще многонациональный, не мог обойтись без собственной творческой интеллигенции. Здесь существовала та же иерархия организаций, должностей, имен и культурных ценностей, спланировав по нисходящей спирали до того качественного уровня, откуда Демьян Бедный уже выглядел эталоном для подражания.

Все творческие союзы имели в городе свои отделения: писателей, художников, композиторов, актеров и даже архитекторов. Каждый из них возникал по принципу: была бы организация — члены найдутся. Члены, конечно, тут же отыскивались, порой, к сожалению, в избыточном числе, а если нет (как это случилось с архитектур-

ными кадрами), то их просто назначали в административном порядке, руководствуясь спущенным сверху постулатом: „Незаменимых людей нет и не может быть”. Как говорится, собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов!

Естественно, что во всех областях этой деятельности сразу же появились свои классики и основоположники. Поэтому если заезжего гостя знакомили, к примеру, с кем-либо из таких столпов, то обычно, небрежно обронив фамилию последнего, со значением подчеркивали: „Наш Лев Толстой”, „Наш Репин”, „Наш Станиславский”, „Наш Растрелли”, „Наш Глинка” и так далее, в соответствии с занятием и должностным рангом.

Но при всей внешней смехотворности претензий страсти здесь разыгрывались всамделишные с результатами порою не менее трагическими, чем в эпоху Монтекки и Капулетти. Яд местных Сальери, выливаясь в доносы, действовал если и не так мгновенно, то не менее эффективно, приканчивая местных Моцартов в недавние времена руками местных же чекистов, а в новейшие — стараниями медспецов областной психушки или городского вытрезвителя. Труп врага, как известно, хорошо пахнет.

Если же учесть, что в области, кроме русских и заезжих примесей, обитало четыре национальности, каждая от шести до сорока тысяч зарегистрированных статистической душ, к тому же восточного темперамента, то можно ясно представить себе накал здешних междоусобиц, давно превзошедших критическую массу по Цельсию и Фаренгейту и способных в любой момент поднять в воздух городское благополучие бывшей станицы.

Веянья нашего своенравного времени, скрыв от потомков досадные для себя подробности, отложились в памяти аборигенов города только неоднократной сменной его названия. Нареченный в день своего рождения

Баталпашинском, он вскоре, в связи с ударным ростом национального самосознания среди бывших станичников, был переименован в Черкесск. Затем, отдавая дань холодному уму, горячему сердцу и чистым рукам карательных органов страны, он сделался Ежовском, но по исчезновении железного наркома в следственных подвалах собственной вотчины стал называться Карачаевском в знак признания революционных заслуг самого большого народа, населяющего новорожденную область, хотя спустя несколько лет, точнее, во время последней войны, оказалось, что никаких таких заслуг перед революцией за этим народом не числится, а вовсе наоборот — одни преступления против нее, и вместе со злополучной национальностью кануло в историческое небытие и очередное имя города, после чего он снова обрел свое прежнее тавро — Черкесск. Но, разумеется, еще не вечер, господа, а наш завтрашний день подчинен целеустремленным зигзагам генеральной линии нашей партии, которая, как известно, является и самой прямой.

Так он и назывался, этот город, когда Влад тихим солнечным утром сошел здесь с поезда и ступил на привокзальную площадь. После заснеженной бесприютности Москвы здешний простор ослепил его своей благодатью. В резкой синеве широко распахнутого неба город плавился яичным смешением белых строений и желтой почвы, весь в паутине оголенных деревьев и кустарников. В зябком воздухе тянуло терпким дымком оживающих печей, от которого слегка першило в горле и слезились глаза. Волнообразная линия предгорий за дальними крышами, размытая расстоянием, со всех сторон опоясывала призрачным кордоном городские пределы. Безветренная тишина над головой казалась звенящей.

В ожидании начала присутственного дня Влад рассеянно кружил по сонным улицам, как бы вживаясь в фон,

на который судьба нанесет письма еще нескольких лет его пути через врачующую боль клевет и унижений к душевному исцелению.

Город исподволь оживал, заполняя утреннюю тишь суетой и звуками разбуженной жизни. Во дворах, за глинобитными оградами, все нарастая, просыпалось многоголосье живой твари. На мостовые выкатывались первые повозки и грузовики. Первые прохожие прерывистыми цепочками торопливо устремлялись к городскому центру. Дневная ворожба быта начинала свой озабоченный круговорот.

Поток служащих втянул его в воронку парадного входа Дома советов и, покружив по этажам и коридорам, оставил у двери с табличкой „Ответственный секретарь редакции Д. Майданский”.

В крохотной проходной комнате, из-за стола, стоявшего торцом к выходу, навстречу Владу поднялся грудастый парень лет тридцати с копной темно-рыжих кудрей над выпуклым лбом:

— Вы ко мне? — Не ожидая ответа, он кивнул на стул возле стены. — Садитесь. — Массивное, с чувственными губами лицо его расплылось в понимающей ухмылке. — Наверное, стихи? — Но едва гость назвал свою фамилию, как лицо у него отвердело в деловитой озабоченности. — Знаю, знаю, милости просим, Седугин уже звонил, сам он сейчас в отъезде, в Ставрополе, будет дня через два-три, просил о вас позаботиться. Что ж, давайте сюда все, что у вас есть, может, чего-нибудь в номер втиснем, аванс я вам у редактора вырву. Устроитесь пока в общежитии гостиницы, на неделе съездите в район, в командировку, с местными Джамбулами мы вас познакомим, а там видно будет. Одну минутку. — Он требовательно постучал кулаком в стену. — Леня, зайди!

В дверной проем из соседней комнаты высунулась продолговатая, в остатках волос на затылке и в трехдневной щетине чуть не до самых глаз голова.

— Ну? — Голова нетрезвым взором блеснула в сторону Влада. — Что стряслось?

— Вот познакомься, товарищ из Москвы, молодой поэт Владислав Самсонов. — Пальцы его с привычной небрежностью уже листали перед собой стопку полученных от Влада рукописей. — Седугин просил помочь, ему из Москвы звонили.

По-хозяйски устраиваясь на краешке секретарского стола, мешковатый верзила из соседней комнаты уперся в гостя с веселой злостью:

— Кто звонил? — Он ожесточенно пожевал в желтых зубах мундштук погасшей папиросы. — Борис Пастернак? Анна Ахматова? Или, может быть, Александр Твардовский?

— Кончай, Леня, травить баланду, не убивай нас своей начитанностью, еще успеешь, — небрежно отмахнулся от него секретарь. — На-ка вот, — протянул он тому Владову стопку, — отбери пару-тройку стихов в номер, а я пойду к редактору, выжу аванс парню для поддержки штанов.

— Ну-ну, насмешливо протянул верзила вслед исчезающему за дверью секретарю, — аванс — дело стоящее, будем уповать на редакторскую щедрость. — Он начальственно кивнул Владу. — Айда ко мне, будем посмотреть, что вы тут понатворили. — В соседней, столь же крошечной, как и первая, комнате он долго и старательно размещал свое неуклюжее тело за письменным столом и, лишь окончательно утвердившись на месте, взялся за рукописи. — Так... Так... Так... Да, уважаемый Самсонов Владислав, прямо скажем, вы не Пушкин и даже не Блок, но для „Советской Черкесии” и это сойдет, не такое сходило. — Он поерзал по гостю хмельными глазами, задумчиво потер подбородок и вдруг решительно, с необыкновенной для его нескладной фигуры живостью поднялся. — Пока Данька из шефа аванс выколачивает, мы успеем к дяде Саше смотаться. Есть тут один

дядя в одном теплом местечке, где собирается вполне теплая компания, для своих открыто круглые сутки без перерыва, а теперь давайте знакомиться: Леонид Епанешников, заведуя в этой лавочке культурой, которой в здешней округе даже не пахнет. Айда за мной!

Епанешников мимоходом кинул на стол к секретарю несколько листочков из Владовой кипы, сунул остальное в руки гостю и, увлекая его за собой, стремительно ринулся по коридорам и этажам вниз, воодушевленный близкой возможностью опохмелиться.

— Эта дыра не для белых людей, дорогой мэтр, — изливался он Владу по дороге, — здесь даже кошка сопьется с тоски, одно название, что областной центр, а крикни „ау“, за городом откликнется, была захолустная станция, станицей и осталась. Но все, как у больших: обком, облизполком, эмгебе, кегебе, у секретаря обкома личная охрана, а от кого охранять-то, тут собаки — и те беззубые. Под стать вождям и наш брат — интеллигенция: таланту на грош, а претензий, как у Ротшильдов. Вся духовная жизнь в подвале у дяди Саши помещается, там алкаши со всего Союза самоутверждаются. Всех их, конечно, завистники в эту Богом забытую глушь загнали, всех, конечно, не понимают окружающие, всех, конечно, среда заела, а то бы они показали человечеству высоту духа. Как говорится, бодливой корове Бог рог не дает. Меньшие братья из местных тоже не отстают, врать и пить научились не хуже нашего, скорее, лучше, потому что и то и другое делают проще, без комплексов. Короче, сейчас сами полюбуетесь. — Он потянул Влада за рукав. — Мы у цели, оставь надежды всяк сюда входящий!

Несмотря на ранний час, в темном полуподвале топталось изрядное количество народу, алчущего первой похмельки и взаимопонимания. Под низкими сводами густо пахло волглой плесенью. затхлой кислятиной, перебродившим вином. В сумрачном свете единственного и пе-

реслоенного пылью окна все кругом выглядело смутно и расплывчато. Оживавшие по мере выпивки голоса звучали здесь глухо и сдавленно, словно в закупоренной бочке.

За стойкой неторопливо, с некоторой даже торжественностью, двигался сухощавый старик в фуражке черной кожи, из-под куцега козырька которой печально мерцали отрешенные, как у больной собаки, желудевые глаза. В каждом его движении, жесте, взгляде сквозило такое скорбное безразличие к миру и населяющему этот мир человечеству, что казалось, будто он пережил уже конец света и поэтому ничто на земле не может вызвать в нем ни удивления, ни интереса.

— Дядя Саша, будь добр, плесни нам с товарищем по сто пятьдесят пожар залить, — отнесся спутник Влада к старику, привычно ввинчиваясь в людную тесноту у стойки. — Маэстро, вы уже здесь? — крикнул он кому-то поверх голов. — Одобряю, если водка мешает работе, надо бросить работу. Причаливайте к нам, тут нашего полку прибыло, молодой поэт из Москвы на постоянное место жительства, есть об чем перекинуться.

Тут же, словно из-под земли, перед ними вынырнул жидковолосый, с кукольным личиком блондин, галстук бабочкой под кургузым пиджачком в полоску:

— Очень рад, очень рад, — зачастил он, шаривая Влада беспокойными глазками, — будем знакомы, Павел Поддубный, артист драмтеатра. — Было в нем, в его мелких движениях и быстрых словах что-то укорененно торопливое, словно, однажды зашпешив, он уже никак не может остановиться. — Живем, как в пустыне, живого человека встретить — редкость, какая уж тут духовная жизнь, интриги да сплетни, порядочных людей с идеями раз-два и обчелся, душу отвести не с кем. Как сказал поэт: „Нас мало, нас, может быть, трое...”

Первая выпивка только раззадорила собеседников. Тосты последовали один за другим. Лица, призрачно че-

редуясь, возникали из душной полутьмы, чтобы тут же исчезнуть в ней, пока, после долгого кружения, перед Владом не утвердилось одно: резкое, испитое — угольные, безо всякого выражения глаза под сильно выдвинутыми надбровьями.

— Знакомься, брат, — пьяно гудел у него над ухом Епанешников, — это, брат, глыба, матерый, можно сказать, человечеще, ногайский классик Фазиль Абдулжалилов. В одном лице — Пушкин, Гоголь и Лев Толстой своего народа, по его учебникам вся ногайская интеллигенция выучилась. Народу, правда, всего шесть тысяч, зато интеллигенции на шесть с половиной наберется, от чекистов до солистов все интеллигенты. Насчет алкашизма Фазиль тоже у них классик, пример, так сказать, для подрастающего поколения...

Ногаец словно не слышал или не слушал собеседника. Он молча смотрел впереди себя, не двигаясь и не реагируя на окружающее. Когда ему подставляли стакан, он все так же безмолвно, большими глотками втягивал в себя содержимое и снова застывал в той же позе. В нем как бы заглохло, онемело все, кроме этой вот неутоляемой жажды вливать в себя любую жидкость, какую перед ним поставят.

И только, когда пришла пора прощаться, ногаец, не замечая протянутой Владом руки, вдруг обнажил в мрачной усмешке свои почти коричневые зубы и внятно выцедил ему в лицо:

— А тебе на допросах яйца в дверях зажимали, товарищ?..

Много раз впоследствии придется ему пить и забываться в пьяном угаре во множестве кабаков и забегаловок от Франкфурта до Сан-Франциско, бесчисленное количество лиц при этом вберет в себя его память, несметное число слов услышит он от своих заморских собутельников, но никогда и нигде ему не придется вот так

же близко, как в это мгновение, заглянуть в гремучую пропасть, которую называют — Россия.

7

Все дороги местной богемы, как на узловой станции, сходились в подвале у дяди Саши. Здесь знакомились между собой, ссорились и мирились и ссорились вновь, здесь обмывали театральные и концертные премьеры, издательские авансы и сигнальные экземпляры книжек, заказы худфонда и сдачу архитектурных объектов, здесь создавались замыслы, концепции, репутации. Отсюда по всему городу разносились новейшие анекдоты и версии событий закулисного толка, слухи, новости, сплетни, дурная и добрая слава. Не происходило в городской округе сколько-нибудь заметных происшествий, которые не подвергались бы тут самому тщательному анализу и обсуждению. Приобщиться к этому пьяному ордену, быть в нем принятым считалось в среде здешнего полусвета знаком признания и авторитета.

Единственным человеком, который не принимал участия в общем гвалте, был сам дядя Саша — хозяин этой хмельной преисподней, обрусевший черкес, никогда не снимавший с коротко стриженной головы хромовой фуражки. Медленно и величаво двигался он за прилавком, открывая бутылки и наполняя стаканы, недоступный страстям и ревностям, какие бурлили вокруг, а вернее, поверх и мимо него безо всякого касательства ко всему тому, что происходило в нем самом. Лишь изредка, и лишь встречая желанного гостя, дядя Саша слегка обнажал полоску металлических зубов в приветливой улыбке, но желудевые глаза его при этом продолжали светиться вовнутрь себя, отчужденно и слепо.

Поговаривали, будто он служил в ранней молодости ординарцем у Султан-Гирея, прошел с „дикой дивизией” весь путь от Невинномысской до Новороссийска, был связан с мятежным генералом клятвой верности и лишь из-за тифозной горячки не смог сопровождать своего любимого командира в его заморских мытарствах.

Теперь, за прилавком винного подвала, как бы оставаясь душой там — в повергнутом мире, он являл собою последнего свидетеля давней эпохи, с торжеством наблюдающего, как победители и их потомки справляют вокруг него свою Пиррову тризну.

Однажды спустившись сюда, Влад вскоре сделался здесь завсегдатаем, а вслед за этим и одним из тех немногих, кто удостоивался приветственной улыбки хозяина. Утро Влада начиналось с обхода редакционных кабинетов, где он рассовывал по отделам свежие переводы и заказанные накануне статьи, получал деньги за предыдущие публикации, договаривался о новой поденщине и с компанией жаждающих, а если таковых не находилось, в одиночку спешил в знакомое заведение.

В прохладной полутьме подвала изо дня в день повторялся один и тот же ритуал: гостеприимно оскалившись, дядя Саша молча наливал ему стакан мускателя до краев и заученным жестом выщелкивал конфету на закуску. Пей до дна!

Утренний мускатель был подарком, честью, знаком внимания со стороны хозяина к постоянному и желанному гостю. Напиток и впрямь стоил того, чтобы ублажать избранных. И пить эту золотистую жидкость следовало несомненно только с утра, когда обоняние, еще не замутившее сивушной мешаниной, было в состоянии ощутить всю знойную неповторимость ее букета: смесь сенокосных сумерек с чуть подслащенной горечью августовского полдня. Кавказ подо мною.

Первый стакан как бы закладывал надежный фундамент для последующих возлияний в разных сочетаниях и

пропорциях. Мало-помалу подвал раздвигался вширь и ввысь, полутьма рассеивалась за счет душевного восхищения, город за обросшим пылью окном отодвигался за пределы досягаемости, и посетители, заполнявшие постепенно пространство вокруг, казались ему теперь пришельцами из потустороннего мира.

В радужной карусели окружающего оживления Влад обычно выделял лишь слова и лица, пропуская остальное мимо внимания и памяти. И, как всегда, прежде других перед ним выявлялся кукольный профиль Поддубного:

— Тонем в пошлости, Владислав Алексеич, в мещанстве задыхаемся, — дергался он, перебрасывая стакан из руки в руку. — Репетируем „Гамлета”, понимаете, Владислав Алексеич, „Гамлета”! А Людка Сторожева на читке юбку порет, а ей, корове, Офелию играть. Я ей: „Мол, побойся Бога, Людочка, в такой момент, где же сопереживание, где проникновение в образ?” А ей хоть бы что: „Пошел ты, говорит, Паша, к такой-то матери, зарплату три месяца не платят, не то что жрать, выйти не в чем!” Это, Владислав Алексеич, мне — Гамлету — каково! Можете представить, что это будет за Офелия?..

Затем где-то пополудни, в час обеденного перерыва, у него над головой обязательно возникал низкий, с лентой голос Епанешникова:

— Видишь, вон в углу чмур карячится, ну, вон тот, у него еще глаза от спермы белые, в кителе „а ля Сталин”, не человек, заметь, а бездонная прорва, наш местный Гаргантюа, проел и пропил швейную фабрику, канатниковый завод, два совхоза, один укрупненный колхоз, радиомастерскую облпотребсоюза и как с гуся вода! Временно не у дел, состоит в номенклатурном резерве обкома партии, ждет своего часа. Говорят, начальство прочит его в директора танцевального ансамбля, благо, что там пропивать нечего, кроме перелицованных черке-

сок. Такие, брат, как ваньки-встаньки, никогда не падают, только покачиваются...

К концу рабочего дня неизменно появлялся черкесский классик Хусин Гашоков в чесучовой паре и с обкомовской, под крокодилову кожу, папочкой у бедра. Он брезгливо лавировал между стойками, стараясь не коснуться кого или чего-нибудь, что могло бы запятнать его чесучовые ризы или партийную непорочность, навеки запечатленную у него на изможденном до восковой бледности лице закоренелого онаниста.

Будучи непьющим, он вынужден был регулярно навещать сюда, чтобы всучить Владу подстрочник своего очередного опуса к очередной торжественной дате. Как правило, маститый мэтр не утруждал себя излишним творческим напряжением, предпочитая старательно варьировать сочинения, срифмованные им на заре его туманной комсомольской юности. Его система была не хитра, но безотказна: если, к примеру, требовалась торжественная ода по случаю годовщины Октябрьской революции, он брал две строфы стиха десятилетней давности, написанного в честь праздника Первого мая, добавлял к ним три четверостишия из своей же поэмки о героических буднях советских пограничников, завершая этот высокопарный винегрет концовкой, отхваченной ножницами от виршей в память Парижской коммуны или на смерть Ленина (Сталина, Пушкина, Джамбула и так далее — по настенному календарю). С помощью этого рукоделья основоположник родимой литературы не только обеспечил себе завидно безбедную жизнь, но и с молодых ногтей уверенно менял одну руководящую должность на другую, с годами все выше и влиятельней.

Холостяцкая квартира классика помещалась непосредственно над подвалом, что позволяло ему наступать Влада врасплох в любое время дня, наподобие чумы или стихийного бедствия.

— Товарищ Самсонов, в обкоме есть мнение поручить вам перевод моей поэмы о Зое Космодемьянской. Вы должны оправдать доверие партии, вам необходимо использовать весь свой талант, чтобы передать народу вершины черкесской поэзии. — Его восковое лицо торжественно каменело. — Вы переводите теперь Абдуллаха Охтова, я не могу сказать о нем ничего плохого, но в его творчестве еще имеются феодальные пережитки. В обкоме есть мнение...

В таком духе Гашоков мог нудить до бесконечности, не забывая при этом извлекать перед Владом из обкомовской папочки все новые и новые подстрочники. Словотечение это, казалось, не в состоянии были остановить никто и ничто, включая светопреставление, но когда вконец осоловевший Влад начинал терять последнюю надежду спастись, в подвале, будто сказочный вестник — спаситель, по обыкновению, появлялось другое черкесское светило — Абдуллах Охтов, степенный, в благообразной седине старик с повадками вкрадчивого царедворца.

Еще издалека он расцветал в сторону своего лютого врага улыбочивым дружелобием и беззащитной кротостью: точь-в-точь святочный Дед Мороз в пьяной компании.

— Саям алейкум, здравствуй, дорогой Хусин, дай тебе Бог здоровья! — паточно обволакивал он недруга. — Читал вчера твои стихи ко Дню танкиста, дорогой, читал и завидовал, это жемчужина черкесской поэзии, в семье читали — плакали, дорогой. Ты — наша гордость, Хусин!..

Вымучивая из себя ответное радушие, тот поспешно прятал в папочку листочки с подстрочниками, выуженные было оттуда в разговоре с Владом:

— Саям алейкум, Абдуллах, здравствуй, твоя похвала для меня дороже любых статей, я всегда считал тебя своим учителем. — И бочком, бочком, все также брезг-

ливо сторонясь людей и предметов, поспешал к выходу. — Рад тебе, Абдуллах, но у меня совещание в обкоме...

Старик по-прежнему дружелюбно светился ему вслед лучистым взглядом восточных глаз, но речь его уже предназначалась для Влада:

— Опять этот ублюдок, помесь шакала с лисой, хотел навязать тебе свой бездарный хлам? — Глядя на него издалека, могло показаться, что в эту минуту он расстается со своим лучшим другом. — Завалил редакции этой белибердой, импотент, чтоб ему жить на одну зарплату! Всех обкомом пугает, шантажист проклятый! — Выдержав позу ровно до того, как за Гашоковым захлопывалась дверь, он поворачивался к Владу и деловито осведомлялся: — Что у тебя с моими подстрочниками? Это тебе, дорогой, не День танкиста, это настоящая поэзия, без халтуры!..

Влад слушал вполуха, заранее зная, что за этим последует предложение новых подстрочников, сдобренное щедрым угощением. В хмельной прострации все вокруг виделось и слышалось ему, как через толстое стекло. Явь, словно ссохшийся грунт на старом холсте, постепенно растрескивалась в его сознании, но, когда беспмятство грозило замкнуться в нем, откуда-то из темной глубины второго плана этого почти немого для него кино к нему устремлялись недвижные глаза стеклянно непьянеющего Фазиля Абдулжалилова, и он сразу же приходил в себя, столько горечи и презрения маячило в них, в этих глазах.

В час послеобеденного затишья Влад отправлялся на служивший тут городским парком остров Кубани, где, расположившись в прибрежном подлеске, строчил халтуру в очередные номера местных газет и наскоро рифмовал переводы в том обязательном количестве, чтобы никого не обидеть.

Небо шелушилось над ним перистой известкой, река, вспениваясь на перекатах, скользила в распаде плоско-

горя, стекая в голубеющие вдаль степи, в кружеве ветвей и трав перекликалась теплотворная живность, и все это, цельно взятое, никак не сочеталось с тем, о чем складывалось у него на бумаге и что в повседневности суетно хлопотало вокруг него и в нем самом, будто плесенью оплетая светоносную ткань бытия.

Покончив с заданной писаниной, Влад снова возвращался к дяде Саше, чтобы после закрытия закончить дневную маету в компании временных собутыльников, доверив очередной шлюхе довести себя до ее гостеприимного ночлега.

По вечерам над ресторанами.

## 8

Сколько раз потом, в парижской промозглости, грезилось ему, как безоблачным летним днем он сходит на случайном полустанке с проходящего поезда и, не разбирая дороги, идет куда глаза глядят сквозь знойный простор и травяной стрекот к струящимся на горизонте селям. Это видение преследовало Влада, настигая его в самые неожиданные моменты и в самых неподходящих местах: днем и ночью, в поезде, в самолете, среди сна или разговоров, перед микрофоном собраний, съездов, пресс-конференций, в концерте или перед телевизором, но чаще всего в пьяном бреде, когда текущие химеры змеились вокруг него, а душа то возносилась в горние кущи, то низвергалась в спиральную темь. В такие минуты он благодарно затихал сердцем, стараясь подольше удержать в себе возникшую вдруг перед ним фата-моргану в тщетном ожидании, что она вот-вот в следующую секунду обернется явью. Остановись, мгновенье, ты прекрасно!

Но оно, увы, не останавливалось. Наваждение, словно наледь на стекле, испарялось, уступая место тоске и опу-

стошению. Куда, куда вы удалились, весны моей златые дни? За кудыкины горы. А ты думал куда?

9

Когда тебе двадцать три, а позади и огни, и воды, и первые медные трубы, то душа поневоле начинает стареть и томиться в тоске раньше времени. В редких просветах между суетой и выпивкой Влад, оставаясь наедине с собой, казнил себя тщетой своих забот, жалел растраченного на них времени, клялся самому себе разорвать этот заколдованный круг, но уже на следующее утро все начиналось сначала, по раз и навсегда заведенному порядку: Дом советов, подвал дяди Саши, остров, снова подвал и ночь в случайном вертеле.

Дни сливались в пеструю ленту с редкими пятнами засвеченных хмельным беспамятством кадров, которой не видно было конца и края: те же люди, те же разговоры, те же подстрочники, та же безотчетная, но изнуряющая хандра. То, что еще совсем недавно казалось ему издалека вереницей сплошных праздников — редакционная суета, верстка, правка, сигнальный экземпляр номера, пахнувший еще типографской краской, где под столбцами знакомых строчек, среди других волнующе маячит собственная фамилия, — обернулось для него теперь серыми буднями, мелкой нервотрепкой по поводу редакционных придинок, бездарной правки и грошового гоноара: тайна, перестав быть тайной, по законам убывающей любви, рассеивалась, вызывая в душе с течением времени лишь тошнотворную, изо дня в день, оскомины, словно от пресной жвачки.

Единственной отдушиной в этом однообразном круговороте оставался театр, куда, с легкой руки Поддубного, Влад заглянул однажды и вскоре незаметно для себя зачастил, по обыкновению просто так, без всякой

надобности, чтобы хоть чем-то заполнить набухавшую в нем гремучую пустоту.

Театр в городе был, что называется, последнего разбора, служа временным — на сезон-два — пристанищем для тех, кого исторгла из себя театральная периферия от Полоцка до Владивостока по славной сорок седьмой „ге” статье Трудового кодекса страны зрелого социализма, или тихой заводью для выходящих в актерский тираж пенсионеров. Комики-алкаши и трагики-гомосексуалисты, социальные герои — многоженцы в бегах от алиментов и увядающие травести, склонные к перемене мест на почве половой истерии, спившиеся декораторы и кассиры-рецидивисты с глазами загнанных серн оседали здесь в первые дни осени, чтобы, чаще всего уже весной, податься дальше, в поисках лучшей доли или более надежной глуши. Идут, как говорится, искать по белу свету, где оскорбленному есть чувству уголок.

Театр стена к стене соседствовал с областной Госбезопасностью, но это ободряющее соседство почему-то никак не способствовало его процветанию. Жизнь в нем двигалась от получки до получки, которая здесь называлась „дербанкой”, когда директор Кныш из бывших подполковников десантных войск, навеки пришибленных хрущевской демобилизацией, ссыпал в реквизитный цилиндр очередную выручку в купюрах достоинством не более полусотни и, запустив туда натренированным еще с курсантских времен жестом свою волосатую длань, обводил актерскую братию тоскующими с похмелья глазами: „Кому?” После чего главреж Романовский, полная, почти цирковая противоположность Кнышу — профессорское пенсне на остром, всегда вызывающе вздернутом к собеседнику профиле, — принимался поочередно выкликать фамилии, в строгом соответствии со штатным расписанием или близостью к нему — главрежу Романовскому — лично. Остатки и, разумеется, в более крупных ассигнациях шеф с мэтром по-братски

делили между собой. „Все поровну, все справедливо”, — как впоследствии говаривал раздутый буржуазной пропагандой поэт Булат Окуджава.

Первое, что отмечал здесь свежий посетитель, был легкий, но устойчивый запах отхожего места, слегка перебиваемый горечью гашеной хлорки и пряным настоем застоялого буфета: увы, эпохальные преобразования, явившие благородному человечеству облик нового мира, к сожалению, и, конечно же, только по недосмотру местных властей, не повлияли на улучшение системы местной канализации, которая так и осталась в городе на уровне примитивного феодализма.

Однажды случайно завернув сюда, Влад уже до седых волос не смог избыть этой удушливой смеси, навсегда отныне осевшей в нем, как знак и зов провинциальной Мельпомены. И не только провинциальной. Когда через несколько лет капризная авторская судьба вынесет его после шумной премьеры кланяться на столичные подмостки, к нему сквозь рукоплескания и спертую духоту зрительного зала пробьется из далекого далека тот въедливый запахок, с которого началось его знакомство с театральной изнанкой. Привкус первой любви, как известно, неистребим.

Уже в первое посещение Романовский, едва услышав фамилию гостя, требовательно уперся в него острым профилем и засверкал перед ним мутными стеклышками, зачастил телеграфной скороговоркой:

— Самсонов. Поэт. Журналист. Писатель. Наслышан. Возникает вопрос: где пьеса? Театр ждет современной темы. Читали вчерашнюю передовую в „Советской культуре”? Нашему зрителю нужен пример для подражания. В следующий раз жду вас с пьесой. Герои живут среди нас. Слушайте. Наблюдайте. Только помните, что подлинный соцреализм не в том, что есть, а в том, что должно быть. Улавливаете мысль? — И сразу, без перехода: — Триппером болели? — С видимым удовлетворением от

замешательства гостя, он пренебрежительно пожал плечами и устремился дальше, бросив на прощание через плечо: — Поэт. И не болел триппером. Удивительно!

С восхищением глядя тому вслед, Поддубный легонько подтолкнул Влада локтем в бок:

— Матерый человечиче, а? Потрясающее видение материала, чутье, как у Моцарта, вы ему понравились, Владислав Алексеич, о триппере он не у всякого спросит, значит, выделил, творческая, так сказать, провокация. — И сразу же просиял к нему всем лицом, требовательно вцепившись в его пиджачную пуговицу: — Давайте пьесу, Владислав Алексеич, могу даже сюжетец предложить, уверяю вас, пальчики оближете...

С этим Влад и ушел тогда из театра, а к вечеру того же дня, в редких промежутках между разговорами и выпивкой, у него в голове сложилось довольно сносное действо о некоем блудном сыне, который после пятнадцати лет безвестного отсутствия возвращается к овдовевшему за это время отцу, профессору-атомщику, занятому сверхсекретными изысканиями. Затем, в лучших традициях советской драматургии, блудный сын оказывается сукиным сыном, завербованным иностранной разведкой на почве морального разложения специально для того, чтобы выкрасть у любящего родителя, а заодно и у родимой страны тайные документы оборонного значения. В общем, все складывалось, как в хорошей сказке: чем дальше, тем страшнее.

По всем правилам заданной игры в пьесе фигурировала жена-отроковица из породы искательниц профессорских наследств, старая нянька, так сказать, глас народа, битком набитая трухой истертых поговорок, и талантливый аспирант, он же проникательный чекист, зорко охраняющий мир во всем мире. С активной помощью двух последних, то есть гласа народа и его карающего меча, коварный враг в конце концов обезвреживается, хищная отроковица духовно возрождается, отправляясь за-

калять вновь обретенное мировоззрение на казахскую целину, а окончательно прозревший ученый в финале выходит на авансцену с вдохновенным взглядом, устремленным в атомные дали человечества. Наш паровоз, вперед лети, в коммуне остановка!

Владу уже не забыть той давней недели горячечной гонки, в которой дни и ночи сливались в сплошной калейдоскоп лиц, сцен, пейзажей, сменявших друг друга на чистом листе бумаги. В сравнении с этой азартной игрой в словесные поддавки проза окружающего выглядела материей, не достойной усилий духа и игры воображения, как сало на крючке кажется всякой мыши важнее и увлекательнее изучения самой мышеловки. К тому же, ощущение авторской сопричастности к сферам, где, может быть, решаются судьбы государств и народов, облегчало ему переговоры с собственной совестью. Так что у возвышающего его обмана имелись и более реалистические мотивы.

После нескольких дней томительного ожидания вездесущий Пал Палыч внезапно настиг его где-то на полпути от редакции к дяде Саше:

— Вас ждут, Владислав Алексеич, ни пуха вам ни пера, но, судя по всему, будем репетировать. — Не в состоянии сдержать своего воодушевления, он мельтешил перед Владом, сиял, захлебывался в словах. — Я же говорил вам, что вы ему понравились, он сразу нащупал в вас театральную жилку, недаром он тогда о триппере с вами заговорил, по Фрейду работает, вам, может, покажется — пустяк, случайность, каприз гения, а в результате у нас в портфеле современная пьеса местного автора, теперь ему „заслуженного деятеля” на блюдечке поднесут, помяните мое слово, Владислав Алексеич!..

Романовский встретил его все с той же телеграфной безапелляционностью:

— Вы не Шекспир. И даже не Корнейчук. Но в вас что-то есть. Пьеса состоялась. Будем ставить. Но придется

поработать, молодой человек. Искусство — это пот. Прежде всего, хотя не всякий. Лошадь тоже потеет. Что толку. Творцы должны потеть половыми железами. Кстати, как у вас в этом отношении? — Тут он брезгливо поморщился. — Судя по пьесе, вяло. Постарайтесь наверстать в процессе репетиций. Читка — в следующий понедельник. В одиннадцать. Прошу без опозданий. У меня театр начинается с виселицы. Салют...

Главреж резко повернулся к гостю профилем и, словно древесный лист, ребром по ветру, понесся в полутьму фойе почти без шума и не отбрасывая от себя тени...

Приходилось Владу читать свои пьесы и после того, и на труппах куда погуще и посановнее, но эта первая его читка так и останется той единственной, о какой ему вообще захочется когда-нибудь вспоминать.

До понедельника Влад ходил сам не свой, даже пить бросил от волнения, в назначенный день встал спозаранку, бесцельно кружил по окраинам в ожидании урочного часа, в волнении же растерялся во времени, поэтому, когда он, вконец растерянный, добрался до места, все уже были в сборе.

Вступительное слово Романовского сразу определило уровень и заинтересованность собравшихся:

— Есть пьеса. Автор перед вами. Будем ставить. Прошу прослушать. Мнение высказывать не обязательно. Все равно ничего умного не придумаете. Людмила Сергеевна, рукодельем будете баловаться в кружке „Умелые руки“! Занятия по воскресеньям от пяти до семи. Ведищев, порядочные алкоголики к одиннадцати утра успевают не только похмелиться, но и протрезветь! Анна Ванна, Густав Саньч, может быть, вы отложите свою бухгалтерию до перерыва? Считать следует до базара, а не после. — И вдруг вскидываясь на шум в глубине сцены: — Что еще там за трудовой энтузиазм в бардаке? Заваливайтесь-ка снова спать. Сон пожарника — лучшая гарантия безопасности. Итак. Начинаем. Внимание. —

Стекляшки его пенсне, описав пикирующую дугу над головами слушателей, требовательно уперлись в гостя. — Прощу вас, дорогой мэтр!

Опомнился Влад только в перерыве, зажатый в угол социальным героем Ведищевым:

— Старик, это гениально! — Актер стиснул руку Влада, источая ему в лицо аромат ранней похмельки. — Какая экспрессия, какие типажи, прямо горьковский размах, удружил, брат, я тебе такие красочки к образу подкину, зритель под себя кипятком писать будет. Давай, знаешь, подпустим чего-нибудь эдакого, лирического, вроде „На заре ты ее не буди“, а? Понимаешь, брат, выхожу это я у тебя в конце первого акта, натурально „подшофе“, соображай, человек переживает, сажусь, понимаешь, за рояль, если у тебя нету, надо поставить, и так меланхолическим манером начинаю напевать, будто размышляю вслух. — У героя неожиданно оказался довольно приятный тенорок: — „На заре-е-е ты ея-я-я не-е-е буди, на заре-е-е она са-а-ладко-о так спит...“ Ух, сыграю!

За Ведищевым последовал „заслуженный артист“ Лялечкин, недавно сменивший трагическое амплу на роли „отцов благородных семейств“. Он отчаянно шепелявил, что в его новом качестве только придавало ему убедительности:

-- У ваш, батенька, актерские данные, хоть шегодня на щцену, но шледует поработать над дикшией. С дикшией у ваш шлабовато, ешли надумаете, я могу ш зами пожаниматьша. Дикшия в нашем деле — вше. — Он заговорщицки потянулся к уху Влада, отчего дряблая шея его напряглась и слегка побагровела. — Я вашего профессора шыграл бы, у меня появилишь мышли по роли, хотелошь бы многое обшудить ш вами, но, ражумеетша, в более творшешкой обштановке. Жена будет вешьма рада...

Влад беспомощно улыбался, одобрительно кивал, благодарно пожимал руки, в панике отмечая, что очередь

объясняться ему в любви не рдеет, а разрастается, и начал было терять всякую надежду вырваться, но положение спас директор театра Кныш. Бесцеремонно растолкав цепь вокруг гостя, он брезгливо, словно пыльную портьеру, отодвинул Лялечкина в сторону:

— Ладно, батя, будя, закругляйся, тебя вже со стула ложками вычерпывать надо, у нас на тебя вже боле года пенсионное дело закрыто, а ты опять людям глаза мазолить собрался, об ролях хлопочешь. — Шефа заметно развозило, поэтому он старался как можно устойчивее расставлять ноги, отчего его и без того приземистая фигура казалась почти квадратной. — Слухай сюда, Самсонов. Нехай их языками чешут, а ты айда ко мне, я с тобой в момент договор по всей форме составлю, зараз и подпишем, не отходя от кассы, как говорится...

Разумеется, прения высоких договаривающихся сторон, как и следовало ожидать, были продолжены в подвале у дяди Саши, откуда после закрытия они, нагруженные изрядным запасом спиртного и в сопровождении наиболее стойких собутельников, вернулись в ночной театр, где гульба по случаю приобщения неопита к тайнам сценического искусства продолжалась чуть не до третьих петухов.

Где-то за гранью, которая отделяет рядовую пьянку от вакханалии, Ведищев, взгромоздившись на директорский стол, принялся изображать „стриптиз в Париже“ (где он, конечно, отродясь не был), потерявший память Епанешников поочередно требовал от каждого ответа на вопрос, как его зовут и где он находится, а ногайский классик Абдулжалилов, благополучно пребывавший в начатом им еще полгода тому запое, по-собачьи вперялся угольным взглядом в распаренное лицо Кныша и заученно повторял время от времени: „Так точно, гражданин следовательно!“

Но бывший десантник, грузно расплываясь за столом, не обращал никакого внимания на происходящее, глу-

шил стакан за стаканом, а в коротких промежутках между выпивкой восторженно ревел в раскрытые настежь двери, в темноту фойе:

— Бросай яйца на сковородку, глаза сами вылезут!

И плакал навзрыд от распиравшего его восхищения.

## 10

Часто потом, на куда более крутых виражах судьбы, он задавался вопросом, кем и за что была от рождения дарована ему — нищему наследнику московской окраины — способность падать и подниматься вновь, цепко карабкаясь по отвесной спирали жизни, много раз соскальзывая вниз и снова начиная с нуля, чтобы подняться еще раз, уже витком выше к неведомой никому цели? Кто ответит?

Как-то в Германии, в гостях у принца Луи-Фердинанда, он, расчувствовавшись после нескольких кружек баварского, пооткровенничал с хозяином:

— Вот, Ваше Высочество, какие фокусы выделяет с нами история: вы, принц крови, потенциальный кайзер великого государства, встречаетесь за пивом с внуком русского крестьянина, простого хлебопашца.

Тот — высокий и крепкий еще старик с апоплексическим лицом старательно пьющего интеллигента — лишь добродушно хохотнул в ответ и дружески похлопал гостя по плечу:

— Пусть вас это не беспокоит, мой дорогой друг, все мы с этого начинали. Ваше здоровье!..

Может, это и есть ответ? Господи, как поздно мы начинаем о чем-то догадываться!

Слух об этой читке на труппе вызвал в редакционных кругах некоторое замешательство и даже, в известном смысле, переполох. Влад по простоте душевной и предположить не мог, сколько уязвленных самолюбий, нереализованных амбиций и скрытых комплексов разбередит он своим микроскопическим успехом! Издательское крыло Дома советов шуршало, словно растревоженный муравейник: как, почему, по какому праву, кто он такой, без году неделя в здешней литературе, не по чину, не по рангу, не по заслугам, и вообще надо проверить, что за птица, откуда взялся и чем дышит?

Заведующий промышленным отделом областной газеты Кунов — лысеющий карлик с вывернутыми чуть не наизнанку ноздрями, маститый, но так и не признанный драматург местного масштаба — на другой день после случившегося затащил Влада к себе в кабинет и, возбужденно бегая из угла в угол, с детской откровенностью обнажил перед ним свою израненную душу:

— Годами бьюсь головой об стену, забыл, когда в последний раз выпался, отбарабаню дневную лямку и — за стол, на одном кофе, как Бальзак, держусь, а его — это кофе — еще достать нужно, благо я на промышленности сижу, связи есть, а то бы совсем загнулся, только в этом году шестую пьесу заканчиваю и все на самые жгучие темы сегодняшнего дня — укрупнение колхозов, молодежь на производстве, целина, эх, да что там говорить, без дураков будет сказано, стою на переднем крае, как солдат по зову партии, а ты не успел с поезда сойти и, здрасте-пожалста, уже репетиции. — Гневный взор его заволокло слезами, подбородок предательски задрожал,

а из вывернутых почти наизнанку ноздрей, казалось, вот-вот полыхнет серное пламя. — Нехорошо, брат, нехорошо!

Эх, Кунов, Кунов, жалкая жертва неблагодарной Мельпомены, не помогут тебе твои бдения, актуальность тематики и верность партийным постановлениям, а непомерное для твоего больного сердца количество кофе раньше времени сведет тебя в гроб, так и не дав тебе вкусить сладкой отравы театральных оваций! Через несколько лет, завернув по старой памяти в эту чиновничью тмутаракань, Влад наткнется на городском кладбище на мраморную плиту его могилы с надписью от безутешной вдовы: „Какой светильник разума угас!“ Как видите, хотя и посмертно, но признание коснулось покойного своим волшебным крылом. Мир праху его!

Майданский приветливо померцал навстречу Владу печальными глазами, озабоченно осведомился:

— Аванс дали? Нет еще? В нашем деле написать это пара пустяков, напечатать еще легче, ты попробуй за это деньги получить. Тем более, в театре. Там, я слышал, закон джунглей: кто — кого, ты умри сегодня, я — завтра, кто был ничем, тот станет всем. — По обыкновению, массивное лицо его оставалось непроницаемым, и не понять было, шутит он или говорит всерьез. — Бери их за горло, дружище, они на ходу подметки рвут,хватишься — поздно будет.

Как всегда, из соседней комнаты на голоса выплыл Епанешников и сразу же осклабился, благоухая похмельным амбре:

— А, Шекспир Чехович, поздравляю, с утра ждем с нетерпением, с вас причитается, душа горит, и сердце, извините за выражение, песен просит. — Он деловито повернулся к ответсекретарю. — Даня, я с тобой в расчете, в наборе триста строк как одна копейка, моя совесть чиста, как слеза ребенка. Тебе тоже, кстати, не мешало бы

пробздеться, дорогой, делу — время, потехе — вечность, айда с нами, мэтр угощает...

У дяди Саши компанию уже ждали, как званых гостей. Едва завидев их, хозяин молча выставил на прилавок две литровых бутылки мускателя и царственно отмахнулся от протянутых ему купюр:

— Сегодня — даром.

Тосты потянулись вереницей, взаимопонимание нарастало по мере выпитого, каждый говорил с каждым и одновременно со всеми вместе, не слыша и не воспринимая один другого, да и не нуждаясь в этом. В общем гвалте заметно выделялся лишь хорошо поставленный баритон Ведищева:

— Искусство призвано возвышать, человек в театре должен забыть о личном и приобщиться к вечному. Мелочи жизни могут волновать только обывателей, тех самых гагар, которым недоступно, ибо рожденные ползать, как говорил поэт, летать не могут. Великая мысль, я вам должен сказать, даже для ученых. Красота, кто-то тоже написал, мир спасет, так сказать, красота искусства. Современный человек смотрит вперед, а не назад. У меня, может, тоже жена лесбиянка, я не жалею, не базарю на всех перекрестках: ратуйте, добрые люди! Мы, если по большому счету, эпоху на себе тащим. Куда, спрашиваешь? А куда притащим, там и останется. Наливай...

Очнулся Влад в незнакомой, полуосвещенной ночником комнате. Предельным усилием памяти он попытался было восстановить цепь событий минувшего дня, и что-то забрезжило уже, но тут же, будто спасительный ориентир во тьме, над ним возник голос Майданского:

— Чаю или похмелиться?

— Если не трудно, и то и другое, только в обратной очередности. — Цепь смыкалась, возвращая его к действительности. — Сколько сейчас?

— Ночь. Третий час.

- Чего не спишь?
- Жена у хахалы, дети у бабки, такая жизнь.
- У всех одинаковая, шеф.
- Если бы.
- Чего так?
- Тебе это трудно понять.
- Почему?
- Ты русский, а я — еврей, и этим все сказано.
- Я — русский, но ты — еврей — мое прямое начальство.
- Все верно, но если бы ты был на моем месте, тебе бы это меньше стоило, намного меньше, вот в чем разница.
- Где же выход?
- Выход есть, только у этого выхода много часовых во главе со Змеем-Горынычем. Помнишь, как в детской сказке говорится: „направо пойдешь, налево пойдешь” и так далее. — Мерцающие глаза его вдруг озорно засветились. — Хочешь байку на эту тему? Славная байка.
- Валяй, шеф...

## ВЕЧНЫЙ ЖИД В СТРАНЕ СОВЕТОВ

Жил-был, извини, так всегда начинается, один бедный еврей. Действительно бедный, потому что среди бедных евреев есть очень богатые люди. Жил он где-то между Бердянском и Пятихатками, в коммунальной квартире со своей женой, предположим, Розой и целым выводком детей, мал мала меньше. Сам понимаешь, жизнь его была полна неприятностей и долгов, а будущее не сулило ему ни повышения зарплаты, ни, тем более, выигрыша в лотерее. Как ты уже догадываешься, целыми днями в его доме стоял крик и причитания затурканной жены. От всего этого домашнего бедлама, а также от жизненных невзгод и безденежья у нашего Гриши, давай назовем

его так, хотя он вполне мог бы называться и Мишей, и Тишей, и вообще как нам и ему вздумается, отчаянно болела голова, а душа разрывалась от жалости, и печали, и невозможности что-либо поправить. Год был похож на год, день на день и час на час, как, извини, однояйцевые близнецы; по мере увеличения платы за электричество рождались новые дети, долги росли в обратной пропорции к доходам, наш Гриша безнадежно старел, и Роза, само собой, не становилась с годами красивее или добрее. Что же, согласись, остается делать человеку в его положении, если не мечтать? И он, бедолага, мечтал, упиваясь своими мечтами, как алкаш водярой или наркоман анашой. Правда, при этом Грише приходилось еще немножко и шить, чтобы прокормить свою ораву, но, тем не менее, и во время работы он не переставал отдаваться сладким мечтам, которые скрашивали его каторжную жизнь. Ему доставляло наслаждение постоянно находиться в том волшебном мире, где не оставалось места для мирской суеты и грубой прозы. В разгоряченной голове Гриши роились такие манящие видения, что возвращаться к пошлой действительности было бы с его стороны по крайней мере глупо. В мечтах он путешествовал по городам и весям экзотических стран, пересекал солнечные моря и океаны, изнывал от зноя в Сахаре и трясся от холода на Южном полюсе. В окружении красивых женщин он пил прохладное вино в притонах Сан-Франциско и делал крупные ставки в казино на Лазурном Берегу. В часы самопознания Гриша обсуждал вопросы жизни и смерти с Главным раввином, Папой Римским, Вселенским патриархом, индусскими браминами и другими заинтересованными лицами. Гриша поднимался в небеса и опускался на дно морское на пару с самим Жаком Кусто. Когда ему надоедало быть Гришей, он становился то белым Вальтером или Франсуа, то черным Боа Тумбой, то желтым Чаном, а то и гостем с „летающей тарелки” безо

всякого цвета и имени. По малейшему Гришиному капризу мир в его воображении принимал самые причудливые формы и очертания. Так и пребывал наш Гриша, или Миша, или Тиша под этим кайфом до поры до времени, до той самой поры, пока его, как говорится, жареный петух не клюнул в задницу, то есть когда жить стало совсем нечем. Огляделся он тогда и увидел вокруг себя тлен и запустение, нищету нищенскую, голь перекатную, кучу вечно голодных детей, давно немолодую жену, и сердце его возропало к Всевышнему: „Неужели, Господи, такое мое сиротское счастье, что суждено мне околевать в этой окаянной дыре?” От одной этой мысли Гриша уже готов был впасть в окончательное уныние, но отчаяние неожиданно вызвало в нем благородный протест. „Нет, — сказал он себе, — ни за что, никогда, ни за какие коврижки я не останусь здесь ни одного дня больше. Уйду, уйду, куда глаза глядят, лучше уж сдохнуть в дороге, чем в этой коммуналке!” Сказано — сделано. Спозаранку, чтобы не дай Бог не разбудить домашних или соседей, он поднялся, сложил в авоську кусок черного хлеба, луковицу, тряпочку с солью — больше, собственно, и складывать было нечего — и потихоньку вышел из дому. Дорогу, как сказано, осилит идущий. Шел он себе по этой самой дороге и радовался: солнышко светило, травка шелестела, птички верещали, всякая ползучая и прыгучая мелюзга под ногами путалась, живи — не хочу. „Господи, — радовался про себя Гриша, — как же это я до сих пор сидел, ушами хлопал, когда кругом благодать такая, сколько лет потерял!” К вечеру он подустал и решил закусить, чем Бог послал, а затем соснуть для пущей бодрости духа. Присмотрел стожок при дороге, устроился, насытился слегка своей нехитрой снедью и прилег на чем сидел, а во сне, известное дело, перевернулся на другой бок, чего утром сам не заметил, пошел себе дальше, не замечая, что возвращается обратно. То же солнышко светило, та же травка поигрывала, та же

мелюзга под ногами суетилась, но, что еще чуднее, дома, что встречались ему на пути, как две капли воды походили на вчерашние. И даже городишко на горизонте подозрительно смахивал на тот, из которого Гриша вчера ушел. „Надо же, — удивился путешественник, — куда ни ходи, все одно и то же, чего было только ноги бить!” Идет дальше, входит в город, смотрит, и впрямь, как в зеркале, — его местечко, а скоро и дом перед ним вырос — точь-в-точь его коммуналка. Навстречу ребятишки высыпали точь-в-точь его собственные, да еще кричат: „Папка, папка, где ты был так долго, мамка уже и сапоги твои выходные продала!” За ребятишками — женщина — копия его Розы: „Где ты шляешься, горе мое, — запричитала она, завидев Гришу, — мне не на что купить даже картошки!” И тут Гриша, или Тиша, или Миша окончательно капитулировал: „Стоило мне пускаться в такую даль, чтобы нарваться на то же самое? Дудки, с меня хватит, от добра добра не ищут, останусь-ка я здесь, а то еще помрешь в дороге, похоронить будет некому!” И Гриша остался в этом доме, и прожил в нем до глубокой старости, и можешь мне верить, можешь нет, но всю остальную часть жизни он тосковал по родине. Мораль, если хочешь, проста, как апельсин: в наше сугубо интернациональное время, тем более в нашей, лишенной расовых предрассудков стране, Вечный Жид уже не шляется по свету в поисках родины, а лишь тоскует по ней. Вот и все. Теперь ты можешь спать.

— Нет, шеф, я, пожалуй, пойду.

— Среди ночи?

— Не заблужусь. А за байку спасибо, на всякий случай запомню.

— Носи на здоровье, Самсонов, как говорится, прочитал сам, передай товарищу.

— У меня не задержится. До утра, шеф.

— Как хочешь, не держу, не маленький — без нянек обойдешься.

Провожая гостя до двери, хозяин искоса посвечивал в его сторону искательным взглядом, словно ожидая от него какого-то последнего, решающего слова, которое бы окончательно определило степень и прочность их отношений в будущем, но тот не откликнулся, и они расстались молча.

Влад нырнул в ночь, как в стоячую воду, и поплыл сквозь нее без направления и цели. Город спал, застегнувшись на все крючки и запоры, — тесный, приземистый, скрытный, равнодушный ко всему, что происходило за его пределами и вне его интересов. И если среди этой карточной россыпи глухих ставен где-то маячило светящееся пятно, можно было с уверенностью определить: или милиция, или госбезопасность, или, в лучшем случае, сторожевой пост складского помещения. „И куда ни пойдешь, — не выходила у него из головы байка Майданского, — везде одно и то же, не страна, а загон”.

## 12

Та ночь через много лет всплыла в его памяти, но уже в другой стране и при иных обстоятельствах...

Они сидели у камелька в загородном доме под Гамбургом, где хозяин, обременительно богатый и все изведавший за свои неполные семьдесят немец, печально глядя в затухающий огонь, рассказывал Владу долгую историю своей жизни, прожив которую, он наблюдал теперь как бы со стороны.

Господь, казалось, одарил его всем — здоровьем, деньгами, славой, любящей женой и красивыми детьми, но лишил главного — покоя. Того покоя, когда человек может поздним вечером безбоязненно лечь в собственную постель, чтобы утром спокойно проснуться для обычных дневных забот и волнений. К примеру, выйти из дому, заняться любимым делом, а после работы заглянуть к родственникам или знакомым, перекинуться словом с

соседом или лавочником, посидеть в ближайшем баре за кружкой пива или отправиться с женой в театр. Да мало ли что может захотеться человеку, если он свободен, живет на своей земле, в поте лица зарабатывает свой хлеб, а совесть его чиста и помыслы безмятежны.

Но дав ему все, Бог обошел его этими маленькими радостями, без которых жизнь человеческая оскудевает, словно морская вода, прошедшая сквозь опреснитель. Лучшие годы он прожил и продолжал жить дальше в, может быть, сладком, но, без сомнения, удушающем аду.

Его обкладывали, как зверя, — методично и мстительно, не давая ни отдыха, ни передышки. Ложась спать, он не был убежден, проснется ли живым, а просыпаясь утром, сомневался, дадут ли ему дожить до вечера. Он мог выбраться из дому только в сопровождении наемных „горилл” или под конвоем частной полиции. Когда он приезжал на работу или к родственникам, цепь вооруженной охраны разворачивалась в радиусе чуть ли не целого квартала. Театральное действо ему приходилось разглядывать из-за частокола полицейских затылков, а о том, чтобы запросто посидеть в пивном баре, не могло быть и речи, ибо в таком случае для обычных посетителей просто не осталось бы места.

Этого человека ненавидели за все, чем одарил его Бог, но кроме прочего и за то, что, имея столько, он еще и позволял себе говорить людям правду. Такой роскоши общество по своей человеческой слабости не прощает никому, тем более богачу, и оно мстило ему за эту роскошь со сладострастием оскорбленной кокотки.

А он, считая богатство даром свыше, щедро раздавал деньги, не заглядывая в душу или послужные списки просителей. Разорившиеся дельцы и соломенные вдовы, инвалиды и пионеры-кибуцники, эмигранты со всех концов света и политические неудачники, включая беглых коммунистов, тоскующих по социализму „с человеческим лицом”, — никто из них не получал у него отказа в

утешении или помощи. Но чем шире открывались его карманы и сердце для всех страждущих и промышляющих, тем яростнее накалялась вокруг него стена злобы и непонимания: бочка людской зависти, как известно, бездонна...

Камин угасал, пугливыми тенями растекаясь по стенам и предметам. В наплывающих сумерках лицо хозяина тускнело, отдалялось, меркло, оставляя гостя наедине с отрешенно звучащим голосом:

— О, если бы вы знали, Владислав, во что превратилась Германия сразу же после этой злосчастной войны! Города лежали в руинах, а в наших деревнях поля зарастали сорной травой. Миллионы немцев бродили по развалинам в поисках еды и топлива, стараясь не вспоминать о прошлом, но и не думая о будущем. Казалось, что эта страшная расплата за наши грехи будет продолжаться вечно. Я был тогда еще вполне молодым человеком, но если вы спросите меня, о чем я мечтал в те дни, я мог бы вам ответить, что почти ни о чем определенном. В те поры, помнится, меня преследовало одно и то же видение: ночной лес, и я иду сквозь него, а где-то впереди мерцает огонек одинокой сторожки, где, как мне грезится, меня ждут и где я найду, наконец, приют и надежду. Иногда по ночам мне это грезится и теперь. С вами случилось что-либо похожее, Владислав?..

Гость не решился сказать хозяину в тот сумеречный вечер, что в стране, где он вырос, и в тех лесах, через которые ему пришлось ходить, огонек впереди почти всегда сулил лишь опасность или полную гибель и что, едва завидя такой огонек, Влад бежал от него, как от чумы или пущей напасти. В наши чудные времена даже пословицы сами выворачиваются наизнанку: что немцу здорово, то русскому — смерть!

Перед самой премьерой Влада вызвали в обком партии. Предусмотрительность, с какой гостя встретила секретарша в отделе пропаганды, обнадеживала, но, привыкнув за годы толчеи в служебных кулуарах к ветреной изменчивости руководящих капризов, радоваться он не спешил. Кроме того, жизнь давно научила его золотому правилу всегда готовиться к худшему, чтобы потом не разочаровываться. Как говорится, уж не жду от жизни ничего я.

— Заходи, заходи, именинник. — Завотделом Сладков даже поднялся и вырулил ему навстречу, чего раньше еще не бывало. — Говорят, головокружение от успехов наблюдается, зазнался, нет времени к старшим товарищам зайти, посоветоваться! — Добродушное, слегка бабье лицо его улыбочиво растекалось, белесые глазки в частых складках анемичной кожи светились покровительственным расположением. — Как от милиции выручать, так к Алексей Федорычу, а как по душам поговорить, так к дяде Саше, вот она, людская благодарность!

— Я уж и дорогу туда забыл, Алексей Федорыч, — облегчаясь сердцем, пробовал отшутиться Влад, — вкуса не помню.

— Говори, говори, — беззвучно заколыхался тот, — думаешь, ты один такой умный, мы тоже не лыком шиты, у нас разведка работает, как часы. Ты, Самсонов, уже сегодня туда заглядывал, могу даже сказать, чего выпил и сколько. — Сладков прицелился в собеседника смеющимся взглядом, явно собираясь сразить его степенью своей осведомленности. — Двести мускателя и столько же изабеллы, итого — два стакана. Правильно?

Влада так и подмывало озорное желание осадить зава, посрамив его вездесущую разведку сообщением, что се-

годня он выпил уже не два, а четыре стакана, но на всякий случай поостерегся, как бы его хохма не обернулась себе дороже, предпочел сдаться:

— Ваша взяла.

— То-то, — самодовольно откинулся тот на спинку кресла, — родина видит, родина знает. Ладно, шутки в сторону. В одиннадцать ноль-ноль тебя примет Василий Никифорович. Не подкачай, у него, по-моему, на тебя виды, поменьше разговаривай, побольше слушай, от молчания еще никто не умирал, фантазии свои оставь при себе, не забывай, что разговариваешь с первым секретарем областного комитета партии, это я тебе, как отец, говорю. Понял? Тогда пошли...

Тесна земля, Алексей Федорович, тесна земля: через несколько быстротекущих лет судьба снова сведет вас в другом российском захолустье — в Калуге, где после разных ведомственных превратностей ты осядешь директором областного издательства и однажды, выпустив на свою голову в свет скандальный сборник, плод любви несчастной дружины непризнанных гениев столичной литературы, поднятый затем на щит реакционными кругами догнивающего (но до сих пор почему-то все еще не догнившего) Запада, подпишешь окончательный приговор своей несостоявшейся номенклатурной карьере. Так проходит земная слава!..

Расстояние из одного крыла здания в другое — противоположное — было подобно сужающемуся тоннелю: по мере хода шаги становились тише, голоса приглушеннее, освещение сумрачней. Там царь Кащей, там златом пахнет, русалка на ветвях сидит.

Русалка и впрямь выплыла им навстречу, едва они появились в приемной первого секретаря:

— Здравствуйте, товарищи, — открывая перед ними дверь в тамбур кабинета, она вильнула перед ними хвостом серебристого платья, — Василий Никифорович вас ждет.

Под ее волоокиим взглядом и подхваченный волной исходящих от нее русалочьих запахов, Влад и скользнул следом за Сладковым в открытую настежь дверь, одобрительно отметив про себя, что вкус у начальства по этой части, видимо, имеется.

Размеры кабинета, как, впрочем, все присутственные места в городе, находились в обратной пропорции к более чем скромной областной территории, состоявшей из трех крошечных районов, что, тем не менее, не умаляло патриотических амбиций местной администрации. В самой его глубине, на дистанции, достаточной, чтобы всяк сюда входящий сразу почувствовал разницу между собой и государством в лице очередного хозяина, располагалось нечто похожее на станок для настольного тенниса, за которым восседал (именно восседал, а не сидел) как бы в некоей туманной дали вождь области Василий Никифорович Фирсов — роговые очки на бульдожьих расплюснутом носу, короткая, в бульдожьих же складках шея, женоподобный бюст под чесучовым кителем — сосредоточенно углубленный в изучение разложенных перед ним и, судя по его сосредоточенности, весьма важных бумаг.

Выждав паузу, в течение которой, в строгом соответствии с общепринятой традицией, приглашенные должны были успеть оценить значительность оказанной им чести, Фирсов наконец поднял от бумаг лобастую голову, отрешенным взором скользнул по вошедшим и жестко уперся во Влада:

— Не по таланту пьете, товарищ Самсонов. — Он решительно захлопнул папку перед собой, слегка придавив ее тяжелой ладонью. — Да, да, не по таланту. Не знаю, как там у вас с книгой стихов, а вот книгу протоколов, — указательный палец его постучал по папке, — хоть сейчас в печать, тут все ваши художества в милицейском стиле изложены, лучше некуда, кому другому с такой творческой натурой сидеть бы уже не пересидеть. Да вот и у

товарищей из комитета, — кивок куда-то в угол от себя, — на вас материалов больше, чем достаточно...

Только тут оторопевший от такого начала Влад выделил для себя цыганистого обличья полковника, безучастно маячившего в простенке между дальних от двери окон. Полковник сидел там на краешке стула, положив руки на колени, с одобрением кивал в такт хозяйской речи, но голоса не подавал в ожидании знака или очереди. Казалось, они разыгрывают сейчас здесь какой-то заранее отрепетированный спектакль. „Чего-то затевают, — пронеслось в нем, — неспроста это”.

А вслух сложилось:

— Вам виднее, только...

— Ладно, не дал ему договорить Фирсов, видно удовлетворенный его первым замешательством, — садитесь, разговаривать будем. — Зайчики его очков снова скользнули в сторону полковника. — Давай-ка, подсаживайся поближе, Иван Григорьевич, вместе посоветуемся, как парню жить-быть дальше, у тебя опыт, дай Бог всякому, пускай парень послушает. — Выждав, пока тот подсаживался, он опять подступил к Владу. — Мы тут обменялись на бюро, есть мнение двигать молодежь на руководящую работу. Пора тебе, товарищ Самсонов, за ум братья, — незаметно переходя на „ты”, он этим как бы уже приобщал собеседника к ордену, сонму избранных, тайная тайных общества, что, наверное, по его мнению, тот обязан был оценить и принять к руководству, — погулял, покуражился и доволен. Думаем выдвинуть тебя заведующим лекторской группой обкома комсомола. — И пристально проники в него, словно бы оценивая произведенное впечатление. — Пойдешь?

— Только я ведь не комсомолец, — откровенность приманки располагала его к осторожности, — не вступал еще.

— Это не твоя забота. — Он коротко переглянулся с полковником, лицевые складки его тронуло нечто вроде

улыбки. — Как это там в твоей епархии говорят, Иван Григорьич? — Женоподобный бюст Фирсова беззвучно заколыхался, колыхание это, наподобие морской волны, тут же передалось собеседникам, и те, в свою очередь, заколыхались вместе с ним, объединенные в этот момент дареным только им, избранным, взаимопониманием. — Справишься, поддержим, дальше пойдешь, если что, посоветоваться надо, не стесняйся, заходи, меня нет — к Алексей Федорычу, к Ивану Григорьичу тоже не мешает почаще заглядывать. На этом, думаю, — выразительно блеснув очками в сторону полковника, он снова постучал указательным пальцем по крышке папки, — пока поставим точку, но не совсем, забудешь — освежим в памяти, приведем в чувство. Понял? Лады. Твое мнение, Алексей Федорыч?..

Влад ликующе вибрировал: Фортуна во весь горизонт распушила перед ним свой радужный хвост. Золотая труба удачи выводила у него в голове солнечные мелодии. Ковровая дорожка в кабинете, ведущая от стола к двери, виделась ему сейчас лишь началом того победного пути, продолжение и конец которого терялись где-то в заоблачной дымке: лови момент, малыш, не упускай случая, снова живем! И хотя наличие коварной папочки под тяжелой ладонью областного вождя омрачило полную безмятежность предстоящего взлета, жизнь в перспективе сулила с лихвой возместить эту досадную издержку роста. Нам нет преград на море и на суше!..

Прощаясь, вождь поднялся, что само по себе уже было большой честью для всякого смертного в пределах этого кабинета, и протянул Владу короткопалую руку:

— В двадцать три года, Самсонов, я еще у станка вкалывал, а ты уже в партийной печати сотрудничаешь, но заруби: кому много дано, с того много и спрашивается, подведешь — на себя пеняй.

И осел на место, сразу же монументально окаменев женоподобной грудью, хоть бери его в портретную раму

или бюстгальтеры примеряй: государственная гора приготовилась встретить очередного изнывающего в приемной Магомета.

Влада всегда озадачивало искусство власть имущих производить на собеседника впечатление значительности и силы. В разговоре с ними ему всегда казалось, что каждый из них знает что-то такое, чего ему, не вхожому в их магический круг, знать не дано и не положено. Он никак не мог взять в толк, как, каким образом, какими средствами достигают они подобного эффекта. Через десять лет случайно на Цветном бульваре в Москве Владу доведется встретить того же Фирсова, и он не найдет в этом жалком пенсионере, доживающем свой век в столичной коммуналке и давно забытом даже собственными детьми, ничего, что напомнило бы ему того монументального владыку, чьего движения бровей было когда-то достаточно, чтобы решить его, Владову, судьбу по своему усмотрению. И только ли одну Владову! Обрадованно узнав бывшего подопечного, тот будет долго обеими руками трясти его руку, заискивающе заглядывать в глаза, зазывать в гости, а в конце концов не выдержав, расплчется у него на плече. (Лишь до крови пообломав бока в сановных коридорах и съев с иными из них не один пуд соли, он с течением времени поймет, что их сила не в них самих, а в мистике той взошедшей на страхе власти, которую они, сидя на своих местах, представляют. Она отражается в них, наполняя их тем иллюзорным, но тем не менее впечатляющим содержанием, какое улетучивается из них, едва в них отпадает нужда. Иди, пали в белый свет как в копеечку!..)

Первый, с кем Влад столкнулся, выходя из обкома, был Епанешников. К Владову удивлению, красочный рассказ о только что случившейся аудиенции не вызвал у того ответного восторга.

— Да, Владислав Алексеич свет Самсонов, — насмешливо пожевал тот губами, — далеко пойдешь, если тебя

белая горячка не остановит. — И вдруг отвердел ликом и уже без обычного своего ерничанья спросил, будто ударил наотмашь: — А зачем?

14

Поклон тебе, Леня, за урок, хотя и не сразу он тогда отрезвел от твоего отпора, долго еще затем продирался сквозь обиду и раздражение на всех и вся, но вскоре опаматовался и, оглядываясь впоследствии назад, не раз мысленно благодарил тебя за науку, которая сгоди-лась ему и на чужбине, где уже не партийные бонзы советской провинции и не по должности, а вполне респектабельные европейские божки местной интеллектуальной мафии и по искреннему убеждению сулили русско-му неопиту золотые горы с кисельными берегами впридачу за ту же, примерно, цену: промолчи, слукавь, не вмешивайся. Только, видно, не в коня корм, глаз у него так устроен, не к синице в руке, а к журавлю в небе тянется.

Поклон тебе еще раз, Леня Епанешников!

15

В день премьеры с утра все в театре ходило ходуном. Кныш, трезвый и принаряженный, с озабоченным видом курсировал в обком и обратно, загадочно поглядывая на всех и усмехаясь. Улучив свободную минуту, он затащил Влада в кабинет и пошел на него полковничьим живото-м:

— Слухай сюда, Алексеич, ты ишшо под стол пешком ходил, когда я с парашютом на немецкие штыки прыгал, как отец тебе говорю, ты меня хучь сегодня послухай: до вечера ни-ни, ни капли чтобы в рот и не через клизму

в задницу. Все будут, вся головка, на тебя большущий глаз положен, ты теперь, как сапер: чуть в сторону и кранты тебе, а если не дурак будешь, сразу — в дамки. Ясна дурьей твоей голове моя диспозиция?

И хотя эта самая „диспозиция” была Владу еще яснее, чем директору, клятвы ему хватило только до встречи с Ведищевым.

— А, именинник, — едва завидев его, заорал тот, — сегодня-то с тебя вдвойне причитается, вся пьеса на мне, хочу — казню, хочу — милую, айда к Сашку, начнем помолась!

— Да ведь тебе играть!

— Запомни, трезвый я не работаю, трезвый я отдыхаю, хотя, честно тебе сказать, отдыхать мне некогда, себе дороже. — Отрезая ему пути для отступления, тот подталкивал и подталкивал его к выходу. — Понимаешь, — толковал ему актер по дороге, — в трезвой игре огня нет, вдохновения, так сказать, искры природы не чувствуется, сила духа оскудевает. Трезвый творец это бесплодная смоковница, евнух и даже хуже — пидарас воюющий. Помню, как-то принял я восемьсот без закуски перед выходом, вышел, слова, понимаешь, не помню, что играем, между прочим, тоже, но когда дали занавес, зал лежал, а главреж, сука, рот бы я его мотал, руки мне на сцену прибежал целовать, ну, сам понимаешь, я ему так поцеловал промеж рогов, что его потом водой отливали, в общем, уволили меня тогда по сорок седьмой ге, без права работать в театре, только в этой тмутаракани и оклемался...

У дяди Саши все раскручивалось, как по заезженной пластинке: конечно же, в темном углу торчали аспидно черные глаза Абдулжалилова, затем появился Епанешников, как черт из-под стойки выскочил Пал Палыч, даже неизменные Гашоков с Охтовым наперевес со своими подстрочниками по очереди сменили друг друга у их столика.

Кончилось тем, что на обратной дороге в театр Ведищев во все горло изображал, как он будет сегодня вечером „класть зал” своим исполнением „На заре ты ее не буди”, Пал Палыч нежным тенорком подпевал ему, а тянувшийся за ними следом Епанешников нудил у них за спиной:

— Жрецы херовые, не жрецы, а жеребцы, пить да баб харить, вот и все ваше призвание. Нажрались в день премьеры, пижоны вшивые, до вечера не дотянули, теперь на банкете вам даже лимонаду нельзя давать, вы от собственной мочи захмелеете. Боже мой, что за поколение, что за нравы, что за мужские правила, наконец!..

Кныш, выкатившийся им навстречу, даже дар речи потерял, только руками махал перед собой, как бы пытаясь отвести от себя кошмарное наваждение, а случившийся тут же Романовский презрительно визверился к ним профилем, втянул в себя исходящие от них запахи и презрительно скрестил руки на груди:

— Так. — Сквозь его медальность отчетливо проглядывалось холодное бешенство. — Вы, Ведищев, завтра же увольняетесь без выходного пособия, теперь вам прямая дорога в сельский клуб билетером, больше вы ни на что не способны. — Он клюнул глазом в сторону директора. — До спектакля два часа, срочно тащите этого недоделанного Мочалова в баню, а вы, — это уже касалось Влада, — Шекспир районного масштаба, завтра со мной в обком, единственное, что я мог бы сейчас сделать, это нарвать вам уши.

И здесь Влад почувствовал, как поднимается в нем та темная всеподавляющая ярость, от которой у него всегда, сколько он себя помнил, темнело в глазах и жарко перехватывало дыхание. В такие мгновения он переставал владеть собой, и горе тому, кто тогда вставал у него на пути:

— Слушай ты, областной Станиславский...

Но тот, уже, видно, сообразивший, чем этот разговор может для него кончиться, мгновенно улетучился, бросив на ходу уже откуда-то из глубины фойе:

— Хорошо, поговорим в обкоме...

С этим самым Романом Николаевичем его еще сведет судьба, и не раз, хотя жизнь у них сложится по-разному, тот кончит театральную свою судьбу нелепо и жалко, чуть ли не попавшись на мелкой краже в майкопской драме, у них еще будут и неожиданные ссоры и куда более неожиданные сближения, но, тем не менее, этого человека он всегда будет вспоминать добрым словом: он все-таки получил от него больше, чем потерял.

Из бани Ведищева привезли более или менее на ногах. Кныш возился с ним не хуже хорошей няньки: закрыл его у себя в кабинете, поил чаем, достал для него в обкомовском буфете холодного нарзана, кормил бутербродами с икрой, бегал вокруг него и все причитал, причитал жалобно:

— Как же тебя, Миша, угораздило, ты же меня, лучшего своего друга, под монастырь подводишь? Сколько разов я тебе говорил, отыграл свое, хоть залейся, я сам по этой части мастер, но племьера же, начальство явится, куда годится, скажи? Непорядок это, Миша, а все начнут, тогда хоть театр этот занюханный разгоняй. Сыграешь сегодня, все тебе спишется, никуда я тебя не отпущу, кто мне передовые роли играть будет. Ромка, что ли, с его рожей? Я у начальства в доверии, не отдам на распыл, выручу, только ты мне сегодня выручи, не подкачай.

Тот блаженно мычал в ответ, потягивая чаек под обкомовские бутерброды, и не понять было, чему он больше радуется — даровой закуске или избавлению от завтрашнего рокового для него свидания с отделом кадров.

Но театральная Фортуна оказалась гораздо изобретательнее директорского рвения. Где-то за полчаса до начала, когда тревоги Кныша окончательно поулеглись, на

пороге кабинета, словно призрак в лунную ночь, вырос взмоchаленный помреж Пыжков — тщедушный очкарик из недоучившихся студентов — и плачуше возопил:

— У Лялечкина геморрой в тяжелой форме! Он двигаться не может! Что делать, Дмитрий Степаныч!

Это было слишком даже для бывшего десантника. С завывающим ревом Александра Матросова, решившего закрыть собою амбразуру фашистского дота, он бросился к двери:

— Еморой, говоришь, в тяжелой хворме, говоришь, говоришь, двигаться не может! Я ему такую свечку в задницу запузырю, что он у меня не двигаться — прыгать будет и на стометровку побежит, что тебе твой Куц! Он у меня, козел, раком играть будет, мать твою так, в отца, в бога и в три погибели!

Их вместе вынесло из кабинета с такой ураганной стремительностью, что можно было подумать, будто это именно о них был написан знаменитый, но весьма печальный роман „Унесенные ветром”.

— С меня этого сумасшедшего дома тоже хватит, — вставая, отнесся Влад к все еще блаженствующему в чайной нирване Ведищеву, — пойду прогуляюсь перед игрищем.

Театр фасадом выходил на городской пяточок, служивший местом вечерних гуляний, где, как на небесах, разрешались браки и случки, разводы и расставания, новые встречи и новые последствия таких встреч.

Плотный людской поток бесцельно, на первый взгляд, тек вокруг чахлого скверика, но опытные глаз и ухо сразу улавливали в этом живом монолите сложность его подспудной работы: что-то похожее на кружение муравейника, в котором все вместе кажется бессодержательным, а каждое движение в отдельности имеет для посвященного конкретные смысл и значение. Это были одновременно смотрины, выставка мод, атлетические состязания, выборы мисс Черкесск, детективные поиски,

театр, полет в открытом пространстве, замкнутое уединение, чистое искусство и даже, если хотите, тараканы бега. Сколько раненых самолюбий, несбывшихся надежд, несостоявшихся самоутверждений и растоптанных гордостей погребалось здесь каждый вечер под собственными обломками! Да минет меня чаша сия!

Влад по привычке втек в этот круговорот и мгновенно растворился в нем, включаясь в его магическую игру. Сегодня в ней он чувствовал себя если и не основным призером, то, во всяком случае, одним из них: над главной аллеей, по которой двигался поток, был перекинут рекламный транспарант: „Владислав Самсонов. Волчья тропа. Психологическая драма”...

Постой, постой, мой мальчик, задержи дыхание и набери побольше воздуха, чтобы встретить ее сейчас на чистом листе бумаги, как ты встретил ее тогда, там, на городском пяточке!..

Она увиделась ему в скрещении света и тени — игры вечерних фонарей и листвы деревьев, случайно выхватывающей из толпы первые попавшие в их фокус лица. На вид ей было не больше двадцати, хотя потом, когда руки их встретились, она сказала ему, что она — старая женщина и что ей уже целых двадцать три года.

Это маленькое и невольное кокетство было, если ему сейчас не изменяет вкус или память, единственной фальшивой нотой в ее поведении по отношению к нему за те немногие часы, какие они провели в этот — и, увы, последний — вечер вместе.

Для своего возраста она выглядела несколько полной, но в ее манере двигаться, говорить, искоса поглядывая на собеседника с необидной усмешечкой из-под полуопущенных век, сквозило что-то такое притягательное, от чего у Влада при всяком ее слове-взгляде гулко опадало сердце.

— Меня зовут Рая Лагучева, — все с тою же усмешечкой предупредила она его вопрос, — а вас я знаю, поэтому считайте, что мы уже знакомы.

От некоторой растерянности ее началом, он не нашел ничего лучшего, чем спросить ее об отце:

— Лагучев? Это не тот, что у нас заведует горочистойкой?

И только прежняя утвердительная усмешечка была ему ответом.

Затем оказалось, что Рая с подругами как раз собралась на его премьеру, что стихи его, из тех, которые ей доводилось читать, ей в общем (это ее „в общем” его слегка укололо) нравятся, что она учится в московском университете на истфаке, а сюда лишь приезжает на каникулы и что, если у него есть время и желание, они могли бы встретиться сразу после спектакля и поговорить обо всем подробнее.

Разумеется, Влад отвечал девушке в том же духе, только в обратном порядке, то есть, что времени и желания, чтобы встретиться с ней, у него хоть отбавляй, что стихи свои ему нравятся тоже лишь в общем (здесь он откровенно слукавил из одного только желания ей понравиться), что мог бы даже ради продолжения вечера с ней не пойти на собственную премьеру и что если она этого хочет (чего она, конечно же, не захотела, горячо запротестовав), то он к ее услугам. В конце концов они расстались только в фойе, откуда она отправилась в зал, а он, окрыленный, за кулисы, чтобы там в окружении сочувствующей труппы ждать своей авторской участи.

Но того, что творилось на сцене, Влад не мог себе вообразить даже в своих самых худших предположениях. Так и не протрезвевший окончательно Ведищев вместо авторского текста нес со сцены такую несусветную ахинею, и нес ее с таким ужасающим завыванием, что от стыда и обиды Владу каждую минуту хотелось плакать, выскочить на сцену, чтобы бить мерзавца, пойти в буфет,

напиться до бесчувствия или, на худой конец, провалиться сквозь землю.

Партнеры, впрочем, выглядели ничуть не лучше. Лялечкин с искаженным болью лицом, стараясь как можно меньше двигаться, путал все мизансцены и шепелявил так тихо, что половину его отсебятины вообще не было слышно в зале, причем при одном взгляде на него угадывалось, что такая геморроидальная развалина не то что атомной бомбы, а вообще ничего, кроме манной каши, изобрести не может. Героиня — Сторожева, — перед самым спектаклем расставшаяся с очередным любовником и, как всегда, демонически переживавшая очередной разрыв, вообще не соображала, на каком она свете находится, и лишь надрывно стонала в паузах между репликами, какие тоже не имели никакого отношения к каноническому тексту. Положение пытался как-то спасти чекист-аспирант Пал Палыч, но делал он это так беспомощно и бездарно, что вызывал у всех одну только жалость, а в это время — ОНА сидела в зале! О, если б знал, что так бывает, когда пускался на дебют!

К его удивлению, стоявший рядом с ним помреж Пышков, удовлетворенно потирая руки, дышал ему в ухо запахом гнилых зубов:

— Алексеич, а? Что творят, черти полосатые? Мишка еще гримировался, лыка не вязал, а смотри, что творит! Что значит — талант, не пил бы он по-черному, давно бы в Москве гремел! А Людка, Людка, Алексеич, ведь сам своими руками перед выходом от йода молоком отпайвал, целый пузырек махнула, а будто ни в одном глазу! Богиня! Ермолова, как пить дать! А Пал Палыч, а Пал Палыч, а, Алексеич, моторный актер, в любом спектакле незаменим! И старик тоже, хоть с геморроем, а тянет, тянет, Алексеич? А ведь у него там в заднице целая груша висит, сам видал, когда возил к доктору. Васька, занавес, мать твою так!

Аплодисменты начались уже в первом акте и шли по нарастающей до самого конца, пока не обратились в настоящую овацию. Но по мере их нарастания Влад вдруг почувствовал, как в нем закипает опустошающая ярость, от которой тихо кружилась голова и холодели кончики пальцев. Ему тогда еще не дано было понять источника ее происхождения, но у него возникло такое ощущение, будто его мелко надули, заставив сделать какую-то непростительную гнусность, а теперь вот хотят заплатить за эту гнусность шумной, но пустой дешевкой.

Она — эта ярость — не оставляла его и на сцене перед аплодирующим залом, и потом на банкете, когда все наперебой лезли к нему чокаться или целоваться, включая самого Василия Никифоровича, который даже позволил себе фамильярно расслабиться перед ним:

— Эх, Владислав Алексеич, по правде говоря, я ведь тоже в молодости баловался, иные говорят, что и надежды подавал, но партийная работа это вам не фунт изюму, всего человека от человека требует, да...

А его первый протезер и нынешний ненавистник, заочник Литинститута, поэт-переводчик Седугин сам подошел к нему со стаканом лимонада:

— Давай, хоть этим чокнемся, — он страдал застарелой язвой, отчего изможденное лицо его всегда выражало брезгливое презрение к роду человеческому, — все-таки как-никак ты мой крестник.

И, подхваченный снедавшей его ненавистью, отошел, подсвечивая во все стороны своей язвенной улыбочкой.

Эх, Седугин, Седугин, твоя ненависть разъест тебя до того, что ты откажешься от услуг ненавистного тебе соседа, который захочет вызвать врача в минуту смертельного для тебя приступа, и ты сойдешь в могилу, не оставив по себе ни любви друзей, ни памяти врагов. И кроме Влада, по твоему мнению, лютейшего твоего недруга, некому во всем городе будет сказать над открытой еще

твоей могилой доброго о тебе слова. Если бы только узнал об этом, ты мог бы воскреснуть, чтобы опротестовать такое кощунство. Но он сказал, прощаясь с тобой: спи спокойно, дорогой друг! Значит, спи.

Влада, кстати, всегда поражала в некоторых людях их беспричинная ненависть к нему. Порою он ощущал ее без слов, почти физически: в случайной компании за столом, в кабинете какого-нибудь начальника, который, казалось, и видел-то его впервые в жизни, в поезде, в магазине, в театре, в самых, в общем, неожиданных местах. Это преследовало его с детства, но и дожив до седых волос, он так и не смог разобраться в ее природе и происхождении. Ну да и Бог с ней — с этой ненавистью, от нее еще никто не умер, хотя жить без нее ему было бы много легче...

Но все это восстановилось в нем позже, задним числом, а тогда, на самом банкете, происходящее несло мимо него, не отзываясь в его душе или сердце ни одним отзвуком: всем своим естеством он рвался туда, где сейчас ожидало его вдруг возникшее у него в жизни существо, которое, может быть, сумеет найти так необходимые ему в этот вечер слова.

И она нашла для него эти слова. И еще очень много других слов, но тоже необходимых ему в этот вечер. И тени их, в общем-то, качались на пороге...

Они расстались только до завтра.

Когда Влад вспоминал о женщинах в своей жизни, о которых ему вообще хотелось вспоминать, он вновь обращался к тому сумрачному вечеру в доме под Гамбургом, где его гостеприимный хозяин, стареющий, но все еще сохранявший эластичность и красоту спортсмена,

рассказывая гостю о себе, вспоминал о начале собственного миллиардного дела:

— До войны, мой дорогой друг, наша семья имела небольшую типографию, но, чтобы снова получить право на нее, я должен был пройти комиссию по денацификации. Слава Богу, у нас в семье не было человека, который бы когда-либо связывался с этой шайкой, мы сумели остаться в стороне от всеобщего безумия. Но война только что кончилась, и союзники требовали от немцев, желавших получить права на свои предприятия, большего — участия в Соппротивлении или хотя бы статуса гонимого. Поэтому когда я пришел к английскому коменданту за лицензией, он спросил меня:

— Вас преследовали при нацизме?

Я ответил, не задумываясь:

— Конечно.

— Кто?

— Женщины.

. Англичанин оказался с чувством юмора, он расхохотался и немедля выдал мне эту проклятую лицензию...

К счастью или к сожалению, но Влада женщины не преследовали никогда, во всяком случае те, кого положила руку на сердце можно было назвать женщинами.

## 17

Она не пришла ни завтра, ни послезавтра, ни, тем более, на третий день. Он отправлял ей умоляющие письма, она не отвечала. Он засылал к ней гонцов, они уходили ни с чем. Он пытался искать ее сам, но ему это не удавалось, хотя весь город можно было обойти из конца в конец и еще в один конец в течение примерно двух часов. Она, что называется, исчезла, как сон, как утренний туман.

Казалось бы, о чем особенно тужить, провел несколько часов с молодой женщиной, которую видел в первый и в последний раз в жизни, мало ли их у него перебывало? Но чувство невозвратимой потери не оставляло его, несло в пространство перед собой с единственной целью во что бы то ни стало увидеть, услышать, прикоснуться еще один, хотя бы единственный раз, заворачивало по всем мыслимым и немыслимым местам, где бы он мог, по его предположениям, настичь ее, чтобы попытаться объяснить или объясниться. Но все оказалось тщетным: я звал тебя, но ты не обернулась, я звал тебя, но ты не снизошла.

И тогда впервые в жизни, хотя признаки этого намечались и раньше, — легкое дуновение некоей ауры или, скорее, сладостной немочи, как бы у бездны на краю, когда окружающее отодвигается за пределы физической осязаемости, а собственное тело и дух приобретают гигантские размеры и кажется — вот-вот из ушей брызнет кровь. Выдержать такое состояние достаточно длительный срок человеку не под силу, и человек пробует укротить себя самого любимыми подсобными средствами. В России для этого другого средства, кроме водочного забытья, нет.

И ничего не стало вокруг. Листва митьковских тополей сомкнулась над ним и понесла его в своей зеленой колыбели через молочные реки и кисельные берега Сокольников:

- Влади-и-и-к!..
- Прощай, ма-а-ть!
- Куда ты, горе мое-е-е?
- За кудыкины горы, мать, за кудыкины горы, больше некуда мне.
- А где они, горе мое?
- Еще сам не знаю, мать, еще сам не ведаю.
- Вернешься ли, голова забубенная?
- Если голову не сложу, мать, если голову не сложу...

Первое, что Влад увидел, когда пришел в себя, было склоненное над ним насмешливое лицо Епанешникова:

— Очухался? Давно пора. Восьмой день гудишь. Тоже мне, Печорин херов! Первый раз живую черкешенку пощупал и сразу с копыт, а зачем она тебе, сам не знаешь. Ее полобкома с горкомом впридачу гоняло, там уже и берегов не видно, ее папашка, тварь номенклатурная, нарочно в Москву сплавил, к сынку министра станко-строения подложил, потому как здесь на нее охотников давно нету. Ну, ну, не лезь в бутылку, ты еще из нее не вылез, и слушай, когда тебе старшие говорят. Терпи, но слушай — пригодится на старости лет. Теперь по делу. Хозяйка твоя со страху настучала в обком, хотели было тебя уже в больницу, да мы с Майданским на себя взяли, так что, если подведешь, табачок врозь. А теперь поднимайся, пойдем попаримся и ко мне — чай пить. У меня и переночуешь, а завтра посмотрим, утро вечера мудреней. По коням!..

Явь возвращалась к Владу сквозь свинцовую тяжесть головной боли. Город, через который они шли, выглядел чужим и громоздким, словно заброшенные театральные выгородки, всякий случайный взгляд или улыбка у них по пути дразнились злорадством и, казалось, предназначались лично ему — Владу.

Еще несколько дней плавал он в бредовом аду долгого похмелья, текучие видения калейдоскопически сменяли друг друга, кружили его по лабиринтам горячки, пока мир со всем своим содержимым и звучащим встал перед ним на все четыре ноги. Блажен, кто испытал.

Только после этого Епанешников потащил Влада в редакцию, где Майданский встретил его так, будто они виделись лишь вчера и с тех пор ничего особенного не случилось:

— А, на ловца и зверь! Здорово, Владик. С утра из Союза писателей звонили — тебя ищут: надо Абдуллалилова в больницу отправлять, а он засел у матери в

ауле и — ни в какую. Силой брать не хотят, чтобы в народе нездоровых настроений не разводило, а подобра он не хочет. Тебя спрашивает, с тобой, говорит, согласен. — Он впервые взглянул на Влада, и тот прочел в его усталых глазах откровенную укоризну. — Не знаю уж, на чем вы сошлись, но сам посмотришь, чем это кончается. — И опустил тяжелую голову к верстке. — Леня, поезжай с ним, а то они там вдвоем по новому заходу начнут. Берите машину и — айда. Пока.

Вскоре редакционный газик тянул их по безлесым плоскогорьям в сторону ногайской столицы — аула Икон-Халк. Вокруг, насколько хватало глаз и воображения, не проглядывалось ничего, на чем можно было бы задержать взгляд: одна лишь волнообразная цепь пологих бугров, кое-где в желтых разломах эрозии и сквозь них — к тусклому горизонту — крученая плеть грейдера. За весь путь, километров эдак тридцать с лишним, ни одна живая тварь, как Влад ни вглядывался, не перебежала им дорогу. Пустыня внемлет Богу.

— Понимаешь, — словоохотливо рассказывал ему по пути Епанешников, — занятный это тип — Абдулжалилов. Кем он только ни перебивал в области: вторым секретарем обкома комсомола, зав. военным отделом обкома партии, редактором газеты, помощником председателя облисполкома, секретарем Союза писателей несколько раз. Трезвый — ты к нему не подступишься: педант, пунктуален до болезненности, тарабарщину неслышательную знает назубок, произносить ее умеет с эталом, я бы даже сказал, шиком. Без „товарища” ни шагу и всех на „вы”. Просохнет — сам увидишь, ты еще с ним дерьма наглотаешься, он не из благородных, все забудет, как будто и не было. Но собьется с круга — сразу человеком запахнет, и ведь действительно не без таланта. К фокусам его здесь попривыкли, просохнет, снова в кабинет определяют. У него это, говорят, еще до войны началось, он тогда с последней волной, уже в тридцать

восьмом попал, когда в комсомоле работал. Известно, какой ценой, но после Ежова сумел выскочить. Вот тогда первый раз и сорвался с винта. Пойми меня правильно, я лично к нему хорошо отношусь, только ты не заблуждайся, не строй иллюзий, он сломан, уже без хребта, а это значит, тварь ползучая, не более того...

Селение, которое вынеслось им навстречу из-за очередного бугра, совсем не походило на аул в классическом смысле этого слова: никаких тебе саклей, лепящихся к горе наподобие ласточкиных гнезд. Влад увидел скорее довольно унылого вида предгорную станицу, чем что-либо похожее на горское жильё: пыльное скопление однообразных хат под шифером и железом с несколькими каменными постройками в центре. Черкесск в миниатюре.

При всей невзрачности здешних построек дом матери ногайского классика оказался из самых неказистых: однокомнатный скворечник под старым, в ржавых потеках шифером, на пороге которого маячила старуха в платке и, держа над слезящимися глазами козырек ладони, всматривалась в них, словно с другого берега.

Она молча поклонилась им первая и молча же пропустила их мимо себя в дом. В ее окаменелости сквозило такое черное отчаяние, что, проходя рядом с ней, Влад отвернулся. „Господи, — мгновенно пронеслось в нем, — и моя бы вот так!“

В единственной комнате этого скудного жилья, в углу, на чем-то вроде топчана, с сомкнутыми глазами, сжавшись, будто мерзнувший ребенок, в комок, лежал Абдулжалилов, не двигаясь и вообще не подавая признаков жизни. Это был уже не человек, а человеческая тень, источавшая животное зловоние и теплившаяся одной лишь горячечной тоской.

— Фазиль, — тихонько позвал Епанешников, — мы за тобой, тебя дома ждут. Фазиль!

После недолгого молчания тот разлепил гноящиеся глаза, остановился на Владе, губы его раздвинулись, обнажая провал желтозубого рта:

— А, это ты...

— Я за тобой, — как бы боясь спугнуть его хрупкое пробуждение, Влад говорил не двигаясь, — возвращаться пора.

— Хорошо, хорошо... Если ты говоришь...

Он был так по-детски жалок, этот вывернутый на чуждую ему изнанку и раздавленный чужой слабостью горец, что Влад не сдержал подступивших к горлу спазм, заплакал, но опять-таки не столько от сочувствия, сколько от бессильной ярости, хотя и здесь не понял, за что и на что.

„Какого черта, — только и отложилось в нем, — отчего все это?“

— Ладно, ладно, — снисходительно заворчал Епанешников, — будет сентименты разводить. Давай его загружать. У меня еще воскресная полоса на столе.

По дороге забившийся в угол Абдулжалилов напряженно молчал и, только поймав на себе чей-то взгляд, пытался улыбнуться в ответ — слабо и благодарно.

Они завезли ногайца к нему домой, где их так же молча как и мать в ауле, приняла нестарая еще и довольно миловидная татарка, вызывающе не скрывавшая своего глубочайшего презрения и к ним, и к родному мужу, и, едва позволив гостям сложить его на продавленный диван в прихожей, с грохотом захлопнула за ними дверь. Старый муж, пьяный муж.

— Вот стерва, — в сердцах сплюнул, выходя во двор, Епанешников, — а стоит ему очухаться, она ему ноги на ночь моет, а если ему блажь в голову вдарит, то и юшку выпьет. Что за сволочная порода — человек, особенно — женщина...

В редакции Майданский встретил его внезапной новостью:

— Сверху приказано взять тебя пока к нам, так сказать, на стажировку, с дальнейшими перспективами. Цитирую по памяти. Поздравляю с прибытием на нашу каторгу, дорогой товарищ. Иди, оформляйся к кадровику и к Лёне на культуру вместо мальчика. Адью. С этого закрутилась его вторая газетная жизнь.

## 18

Как-то на Сорок второй улице в Нью-Йорке в сквере на лавочке лежал точь-в-точь в абдулжалиловской позе черный того же, примерно, возраста. Он явно доходил, во всяком случае, выглядел на последнем пределе. Рядом с лавочкой, под его бессильно свисающей рукой, серел пакет с торчащим из него горлышком бутылки.

Мимо тек, разливался во все стороны, в том числе и в этот сквер, огромный многомиллионный город, для которого этого черного уже просто не существовало.

Цивилизация приняла этих пришельцев, вырвав их из естественной для них среды, но не дала им взамен ничего, кроме дешевого забвения.

## 19

Голос Гашокова в телефонной трубке на этот раз вибрировал с особой значительностью:

— Товарищ Самсонов? Здравствуйте. Гашоков беспокоит. В обкоме есть мнение включить вашу книгу стихов в план издательства на следующий год. Мне поручено...

Остальное до Влада доносилось, словно сквозь подушку, хотя тот что-то еще пытался нудить насчет доверия партии, воспитания растущих талантов и, конечно же, своих новых подстрочников. Но какое теперь это могло

иметь значение? Он готов был сейчас не только перевести весь гашоковский бред от начала до конца, но и насочинять за того впятеро больше, лишь бы услышать еще раз подтверждение уже сказанного.

О, эта первая книга, любовь и проклятие всех начинающих! При всей обычной ее немощности она вбирает в себя столько душевных сил, страданий и сердечного горения, что в зрелом возрасте всего этого с лихвою достало бы на целое собрание сочинений с приложениями. Нет таких унижений (во всяком случае любому автору впоследствии так кажется), такого горя (об этом говорить не приходится!), такой жестокости (а это уж само собой), каких не вынес бы автор ради того, чтобы подержать в руках пахнущий типографией экземпляр собственного сочинения и впервые в жизни начертать на нем свой первый автограф. Безумству, так сказать, храбрых поем мы песню. Им, гагарам, недоступно.

Наметанный глаз Епанешникова мгновенно по лицу подчиненного определил важность полученного им сообщения:

— Чего там у тебя?

Влад не произнес — выдохнул:

— Включили.

— Поздравляю, — сразу догадался Епанешников, — Седугину обеспечено прободение. Такого у нас отродясь еще не бывало, чтобы русский автор получил приз в виде книжки стихов. Ты, мэтр, в этом смысле черкесский Колумб. — Он повернулся к двери. — Даня, Дани-и-ил!

Из соседней комнаты выпросталась лобастая голова Майданского:

— Ну, чего стряслось?

— Вот, полюбуйся, — Епанешникова прямо-таки распирало торжествующее злорадство, — опять всем нам нос утер. Включили в издательский план, можешь себе представить, что будет с Седугиным? Бедняга гнется здесь десятый год, все пороги обил, все передние обползал, Фир-

сова завалил челобитными, из Литинститута рекомендацию имеет, и хоть бы что, как заколодило, нет бумаги, говорят. А вот для этого варяжского гостя, оказывается, есть, ну не чудеса ли, Данька? Видно, этот гусь явно родился в чесучовой паре. Это дело мы не можем оставить без последствий, закрывай, Даня, лавочку, все равно номер готов. Труби, труба!..

По случаю жаркого послеобеденного времени подвал был пуст и прохладен, словно заброшенный склеп. Догадливый дядя Саша, скользнув по гостям оттаявшим взглядом, выставил сразу литровую марочной, присовокупив к ней уже от себя тарелку с сыром и зеленью:

— Кушайте, гости дорогие...

Пожалуй, впервые они пили здесь, не торопясь, не подгоняя друг друга тостами, мирно смакуя как запах вина, так и вкус закуски. Душный город солнечно заглядывал к ним через запыленные окна сверху, отчего трапеза ощущалась ими еще более внятно и благостно.

Кончается лафа, ребята, — печально сетовал Майданский, — и у меня для вас пренеприятное известие: к нам едет новый редактор. — Несколько месяцев в газете царил разгульная атмосфера междувластия. — Наша разведка показывает такую раскладку: фамилия — Попутько, зовут — Андрей Лаврентьевич, по всему судя, из обрусевших хохлов, только что кончил вепеша в Москве. Итак, что мы имеем: первое — чужак, второе — хохол, третье — из вепеша. Подвожу итоги: дело дрянь.

— Может, все еще образуется, — подал голос Епанешников, — этих из вепеша, бывает, с полдороги сманивают.

— Ребята, этот доедет, — еще печальнее продолжил тот, — чует мое еврейское сердце.

Епанешников не выдержал характера, съязвил:

— Сколько раз оно тебя обманывало, Даня.

— На этот раз нет.

— Не скажи.

— У него здесь баба...

Воцарилось красноречивое молчание, и Бог знает, как долго бы оно длилось, если бы его не прервало громкое низвержение в эту винную преисподнюю разбойно пьяного Ведищева:

— Бандиты, — с порога возгласил он, наподобие столбового и сторукого чудища заполняя собою помещение, — пидарасы вонючие, лучшего друга обошли, не позвали. Чуть что, Ведищев спасай, Миша выручи, а как праздник, так по междусобойчикам разбегаются, где правда, кому верить! Знаю, знаю, — замахал он на них руками, хотя никто не собирался ему ничего сообщать, — Михаил Ведищев все знает, у Михаила Ведищева везде глаза и уши и еще кое-что. Я, как узнал от Верки из издательства, сразу к вам кинулся, а вас уже и след простыл, паскудники. Я вот по дороге сюда один на радостях четыре стакана принял, от обиды — без закуси. Нет правды на земле, сказал поэт, но нет ее и далее...

С нашествием Ведищева ни о каком задушевном застолье нечего было и думать. Началась обычная в таких случаях вакханалия, вызвавшая к жизни покорных ей духов в лице Поддубного и прочей компании. Последний, по обыкновению, появлялся как бы из пустоты, благоухая во все стороны запахом дешевого одеколona. Способность появляться именно таким образом являла его особую привилегию, персональное свойство, претензию на оригинальность, а, может быть, даже природный дар.

— Поздравляю, поздравляю, — сразу ввинтился он в разговор, — приятно, когда преуспевают порядочные люди, а то ведь кругом или держиморды, или мещане, слова осмысленного не услышишь. Поневоле, как Диоген из бочки, пойдешь с фонарем по городу искать, извините, человека. — Он пил наравне со всеми, но никогда не пьянел, только болотные глазки его стекленели, да заострялся и без того остренький носик. — Кстати, Влади-

слав Алексеич, давно хотел поговорить с вами о ваших стихах. У меня зреет идея вечеров вашей поэзии под девизом — „Поэзия в массы”. Не правда ли, в этом что-то есть, коллега?

Но, перебив Ведищева в самый разгар его словоизвержений, Пал Палыч тем самым, незаметно для себя, зашел в заминированную зону, а когда заметил, было уже поздно.

— Захлопни капот, бездарь, — моментально взвинтился тот, — что ты понимаешь в большой поэзии! Поэзия это, — он взвел к потолку сумеречные от пьяного безумия глаза, — та же добыча, можно, сказать, золота или, может, какого другого благородного металла, горы приходится дерьма переворачивать, пока до жемчужного зерна доберешься. Вот знал я, к примеру, одного поэта из Сызрани или из Сарапула, не помню уж, но это и не важно. Нет, точно из Сарапула, Гущин его фамилия, Вениамином звали, Веней попросту, мы с ним накоротке были, так этот Веня, хотя вроде и Вася, впрочем, и это не важно, так вот он мог тыщу пятьсот принять без закуси и читать. И как читать, доложу я вам! А ты тут лезешь, Пашка, со своим мусором, ты бы лучше за женой своей смотрел, опять с моей спуталась...

Остановись, Ведищев, ты ужасно! Он выдумал тебя от начала до конца, он составил тебя, словно монстра, го-мункулуса, робота, из целой кучи мелкого актерского хлама, набранного им в скитаниях по городам и весям страны перезревшего социализма в поисках преимущественно литературной поденщины. Сгинь, Ведищев, с глаз его, ибо ты фантом, а фантомы должны знать свое место, но с Пал Палычем мы еще разберемся...

Пьянка раскручивалась с быстротой сорванного с тормозов и пущенного под гору тяжеловесного состава, грозя вскоре похоронить под собой всех участников, что, наверное, и случилось бы, если бы в самый ее разгар в подвале не появился еще один посетитель.

В самом его появлении не было ничего сверхъестественного, хотя визиты новичков-одиночек воспринимались здесь как известного рода бестактность, граничащая с плохим тоном, но слишком уж вызывающе бросилась всем в глаза его трезвая начальственная вальяжность, чтобы посетитель этот мог остаться незамеченным или оставленным без внимания.

Он был высок, осанист, хорошо упитан, но без излишней грузности, и чем-то напоминал викинга из недавнего исторического фильма, только в отлично сшитом штучном костюме и при галстуке.

Посетитель с любопытством осмотрелся, хмыкнул многозначительно, насмешливыми глазами навывкате выделил из общей сутолоки именно их компанию и барственно подплыл к ней, игнорируя всех остальных:

— Здравствуйте, товарищи, — посетитель буквально излучался снисходительным добродушием, — я — ваш новый редактор, Попутько Андрей Лаврентьевич. Давайте знакомиться...

Так Влад встретился со своим новым шефом.

## 20

Давно канули в вечность те блаженные времена, когда он с замиранием сердца ждал выхода своей новой книги, когда казалось, что стоит ей выйти, как у погрязшего в неведении человечества наконец-то откроются глаза и оно, это человечество, начнет слезно благодарить автора за совет и науку; когда читатель представлялся ему не в виде некоей абстрактной величины мистического нечто, критической фикции, а вживе, во плоти и крови, вроде соседа по квартире или попутчика в общественном транспорте.

Теперь они захлестывают его — эти первые экземпляры собственных книг. Под самыми немислимыми об-

ложками и на самых разных языках, но уже не приносят с собой в жизнь ничего, кроме досады и скуки. Мир вокруг давно оглох и ослеп, не желая читать и слушать витий и почище него. В любом захудалом супермаркете рядом с бойкой распродажей устаревшей моды бюстгалтеров беспорядочной грудой навалены книги, которых еще не касалась рука человека.

Книга давно перестала здесь быть делом избранных. Пишут все, от захудалых телевизионных обозревателей до консержек, и будьте уверены, что чем хуже окажется очередное сочинение, тем больше шансов имеет оно на шумный успех.

К тому же для него выход каждой новой книги — это еще и бомба с зажженным фитилем: десятки ядовитейших перьев готовы наброситься на нее не читая, только потому, что автор ее осмеливается нарушать детские правила их огнеопасной игры в политические прятки.

Его теперешняя молитва: Господи, спаси меня от новой книги!

## 21

А уже на следующий день новый шеф вызвал его к себе.

— Я тут полистал ваше личное дело, — добродушие в нем явно преобладало над всеми другими качествами, — с товарищами в обкоме посоветовался, и есть мнение, что хватит вам ходить в детских штанишках отдела культуры, пора попробовать себя в партийном разрезе. Завтра в станице Преградной районная партконференция, отправляйтесь-ка туда вместе с Николаем Георгиевичем. И еще вот что, — деловито определил шеф, — меня не интересуют пустые бутылки моих подчиненных, меня интересует только их деловая отдача, остальное — ваше личное хозяйство, — и снова добродушно рассла-

бился. — Знаете, как говорил Хаим из Шепетовки, когда хоронил тещу: сначала дело, потом — удовольствие. Идите-ка прямо к Николаю Георгиевичу, договаривайтесь о деталях, он человек опытный, у него есть чему поучиться.

Что правда, то правда, подумал про себя Влад, но прекратиться не стал, следуя на этот раз золотому правилу не спорить с начальством, тем более новым. Завпартотделом Николай Георгиевич Пономарев, или попросту Коля, был алкашом-одиночкой, предпочитаая принципиально индивидуальную пьянку всем остальным. С младых ногтей пройдя хорошую военную школу, зав даже в питейном деле проявлял свою офицерскую косточку. Где бы, к примеру, ни заставало его черное беспамятство — в кабинете, в забегаловке или под забором, — он никогда не забывал снять с себя сапоги и повесить на них портянки. Военная выучка сказывалась и в его статьях, походивших более на армейские рапорты, чем на газетное чтиво.

Когда Влад заглянул к нему, тот еще оказался в состоянии шевелить языком. И зашевелил:

— Значится, уже под меня копаешь, голубь, востер ты, брат, востер, я смотрю, осадить бы не мешало. — Лиловый его нос принялся усиленно багроветь. — Ты еще „папа” „мама” палочками выводил, когда я уже партотделом в корпусной газете заведовал. Бывало, приедешь в часть, а там из командного состава один ефрейтор, и тот косою. Берешь, конечно, все в свои руки. Полк, кричишь, слушай мою команду: „За Родину!”, „За Сталина!” — Он вдруг рывком выбросил себя из кресла, чтобы, видимо, наглядно продемонстрировать новичку степень тогдашнего своего порыва, но слабое пьяное тело его не выдержало внезапной перегрузки и снова вязко потекло на место. — Ладно, завтра в шесть ноль-ноль у автобусной остановки. Отправка в шесть тридцать. Задача ясна?..

Утром на автобусной станции Влад нашел Пономарева опять-таки чуть теплым. Но и в затуманенном мозгу завпартотделом спасительный механизм расхожих стереотипов срабатывал безотказно:

— Хвалю, — он невидящим взглядом скользнул по циферблату над кассой, — точность — закон строевой службы. — Хотя Влад опоздал ровно на двадцать минут. — Значится, так. Садимся — на служебные, контроль беру на себя: ответственное партийно-государственное задание. В случае чего, поиграешь блокнотиком для остротки. Проверено действует без осечки. Пятьдесят хрустов чистой экономии. Билеты под отчет нам обеспечит товарищ из районного комитета, который нас встретит. — Он вдруг, остервенясь, напрягся. — Я за пятьдесят хрустов полдня кропаю, у меня они не ворованные, чтобы этому жулью за билет отдавать. За мной! — И уже кому-то впереди себя. — Посторонитесь, товарищ, мы — на задание...

В дороге он сладко похрапывал, просыпаясь лишь для того, чтобы покоситься в сторону Влада бессмысленным оком и членораздельно сложить:

— Запишите... — после чего, икнув, он снова сладко засыпал.

Что записать, Пономарев не уточнял, но судя по той почтительной тишине, которая сразу вслед за этим воцарялась в автобусе, магическое слово производило впечатление. Затем сзади заводилось одобрителное перешептывание:

— Строга-а-ай.

— Потачки не даст.

— Во всяком деле порядок должен быть.

— С нашим братом иначе никак...

На автостанции в Преградной они вывалились прямо в объятия „товарища из районного комитета партии”.

— Здоров, Никола, сколько лет, сколько зим! — „Товарища”, приземистого карлу с лицом боксера-перестар-

ка, бил хмельной восторг. — С полгода, считай, к нам носа не показываешь, может, принимаем плохо? Виноваты — исправимся, гражданин начальник. И на старуху бывает прореха, хе-хе-хе. — Гости еще не успели опамятоваться с дороги, а он уже по-хозяйски за-талкивал их в случившуюся тут же „Волгу”. — На этот раз лицом в грязь не ударим, начальство распорядилось принять по первому классу, а наше дело солдатское: приказано исполняй. — Он воссел рядом с шофером. — К тете Клаше! — И повернулся к гостям, отчего воротник его насквозь пропотевшей и густо обсыпанной перхотью гимнастерки „а-ля Сталин” утонул в складках индюшачьей кожи. — Матерьялы я для вас подготовил, все в полном ажуре: доклад, прения, резолюция, выборы руководящих органов. Работайте постахановски, отдыхайте еще лучше, я вам только птичьего молока не приготовил, но если захочется — до стану, кур подою, хе-хе-хе.

— Может сначала на конференцию, — заикнулся было несколько озадаченный Влад, — послушать, с людьми поговорить?

Между его спутниками последовало многозначительное переглядывание, после чего Пономарев примирительно ослабил прокуренными зубами:

— Молодой еще, только-только стажировку начал, поживет с наше, поварится в партийном котле, поумнеет. Верно говорю, Самсонов?

Они дружно рассмеялись, и, неожиданно для самого себя, Влад присоединился к ним, как бы включаясь этим в безвыходный загон их круговой поруки. Падать, так падать!

Из-за поворота дороги перед ними открылась уютная лощинка над рекой, посреди которой, наподобие карточных домиков на зеленом сукне, высилось несколько финских коттеджей, притенённых шапками маячивших вокруг них деревьев.

— Приехали, — подмигнул в сторону спутников райкомовец. — Ты здесь у нас еще не был, Никола? — И, не ожидая ответа, пояснил: — Весной поставили, по указанию из области, для дорогих, так сказать, посетителей.

В одном из этих коттеджей гостей встретила средних лет женщина в белом халате и, скользя по ним откровенно оценивающим взглядом, радушно поинтересовалась:

— В баньку или сначала кушать будете?

— Чего я там не видел, — как от зубной боли поморщился Пономарев, — в баньке этой?..

Там стол был яств. Такого стола в скудной деликатесами жизни своей Влад еще не видывал, да и впоследствии, во времена куда более обильные, видывать доводилось не часто.

— Да, — восхищенно вздохнул Пономарев, жадно обзревая открывшееся ему застольное великолепие, — разблюдовка первый класс, есть разгуляться где на воле. Кони сытые бьют копытами, как в песне поется, встретим мы по-сталински врага!

Трудно сказать, чего тут только не было! Эскадра марочных бутылок плыла им навстречу в сопровождении тарелок и ваз, в которых всеми цветами радуги светилась, блистала, переливалась снедь в самых разнообразных количествах и видах: икра в трех цветах соседствовала здесь с лоснящейся собственным соком семгой, а та, в свою очередь, со всевозможными мясами и ветчинами, оттененными дарами земли — от сортовых помидоров и огурцов до персиков и винограда включительно. Пир победителей.

Но не прошло и часа, как весь этот дорогостоящий наторморт обернулся мешаниной огрызков, окурков и битой посуды, среди которой два осоловевших от даровой жратвы и выпивки друга предавались сентиментальным воспоминаниям:

— А помнишь, Коля?

— Помню, Евсей, помню.

— Какая жизнь была, Коля, какая жизнь!

— Не говори, Евсейка, плакать хочется.

— А ты поплачь, Коля, поплачь, облегчает. Я, честным делом, люблю иной раз всплакнуть.

— Эх, Евсеюшка!..

— И не говори, дорогой...

Сквозь теплый туман к Владу еще долго пробивались их всхлипы и междометия, пока хмельное забытие окончательно не сморило его под горестное причитание райкомовца:

— Коля, родимый, мы им доклады, выступления пишем, сволочам, они бы хоть читать нашу писанину научились по-человечески!..

Пробуждение Влада было внезапным, но тягостным: в голове гудели чугунные колокола. Над ним сочувственно склонялось знакомое лицо женщины в халате:

— Велено в это время разбудить вас, а то к последнему автобусу опоздаете.

К удивлению Влада, Понамарев оказался на ногах, был быстр, собран, бодро излучал из себя энергию и деловитость.

— По коням, Самсонов. К ночи полоса должна быть в наборе, кровь из носу или голова с плеч.

В дороге он внимательно с карандашом в руках прошелся по материалам конференции: что-то подчеркнул, сократил, вычеркнул, а прощаясь на автовокзале в Черкесске, дружески подмигнул спутнику:

— Порядок в танковых войсках. Иди, спи, в типографию я сам обернусь. Завтра читай свое произведение в номере.

— Как в типографию, — вновь удивился Влад, — ведь еще и рукописи нет?

Тот лишь снисходительно усмехнулся в ответ, отечески похлопав его по плечу:

— Эх ты, молодой еще, небитый, немятый, непуганный, учишь у меня, старика, покуда я жив. Я, брат, когда аврал, прямо на линотип диктую, где же ее теперь взять, рукопись-то? Пить надо было меньше. Иди, иди, спи.

И они разошлись по сторонам: Влад к себе, а Пономарев в типографию.

Скандал на следующий день разразился небывалый.

Где-то около полудня в отдел влетел взволнованный сверх всякой меры Майданский:

— Самсонов, к шефу, одна нога здесь, другая — там.

По одному тому, что ответсекретарь назвал его по фамилии, Влад почувствовал дуновение беды, поэтому по пути к редактору готовил себя, по обыкновению, к худшему, но случившееся оказалось и того хуже.

— Мне интересно знать, товарищ Пономарев, чем вы там в Преградной занимались с Самсоновым? — От редакторского добродушия не осталось и следа: красный и распаренный, словно после бани, он махал около носа стоявшего перед ним навьгтяжку завпартотделом сложенной вчетверо газетой. — Вы меня весьма обяжете, если сообщите, хотя бы в порядке обмена информацией. А, вот и второй мыслитель! — мгновенно вскинулся он на вошедшего Влада. — Может, вы раскроете тайну этого мадридского двора и расскажете нам кое-какие подробности со вчерашней партконференции? Наверное, вы слышали там много нового: мнения отдельных товарищей, выступления с мест, настроения делегатов, а? — Он остановился и широко расставив ноги вытянулся перед Владом во весь свой могучий рост. — Чего молчите?

— Да я, собственно, — затянул было Влад, но тут же осекся под уничтожающим взглядом редактора, — чего уж там, Андрей Лаврентьич... Выпили малость.

Тот даже застонал от негодования:

— Выпили! Вы только послушайте его, они выпили! Да вы мне хоть залейтесь этой дрянью! Можете, если хотите, вместо воды употреблять, ноги мыть в ней, в этой

гадости, но не до того же, чтобы печатать отчеты с конференции, которая не состоялась. — Его трясло. — Понимаете, не состоялась, — и почти в голос, — пере-не-сли-и! Хватит с меня. Чтобы духу вашего завтра в газете не было! И не надейтесь на доброго дядю из обкома, никакой обком не заставит меня держать вас, я до Цека дойду! Не нужно мне в редакции растущих талантов в постоянной белой горячке! Обойдусь! Я вам, негодьям, такое в трудовую книжку на прощание впечатаю, что вы меня по гроб не забудете и детям передадите. А сейчас — вон отсюда!..

Закрутилась шумная административная карусель, которая, пошвыряв Влада по приемным и кабинетам областных инстанций, остановилась в Союзе писателей — у Гашокова:

— Мне поручено, — с достоинством приступил он, но не выдержал тона, выдал мстительную свою злопамятность, заспешил, заторопился, захлебываясь собственной слюной, информировать вас о невозможности дальнейшего вашего использования в нашей области по литературной специальности. — И вперился в него задроченными глазами, проверяя произведенное впечатление. — Идите на завод, в колхоз, на производство, поживите с народом.

Нет, Влад больше не хотел этого слышать. Мутная волна ярости обожгла ему горло, застучала в висках и обжигающе накрыла с головой:

— Теперь буду говорить я, понял, гнида, а ты сиди и слушай меня внимательно. Запомни сам и передай своим занюханым начальникам: я на всех на вас хер положил с большим прибором. Так и передай. Передай еще, что если вы все один раз сходите как следует по-большому, то от вас ничего не останется. Понял, червь могильный? Еще передай, что вы все мне настолько омерзительны, что я даже ненавижу вас не в состоянии, вы не люди, вы — моль. И еще персонально тебе на прощание, Гашо-

ков, запомни, что ты гнусный и наглый графоман и никакая сила не поможет тебе сделаться поэтом, хоть издай ты двадцать томов, твоими вшивыми виршами даже задницу никто не захочет вытирать. А теперь сиди и думай над тем, что я тебе сообщил, Гашоков. Обдумай — повесься...

И с грохотом захлопнул за собой дверь, одним махом отключая от себя потекший было следом за ним гашоковский визг.

## 22

Так закипает в человеке ярость, которая затем становится частью его души, источником силы, слухом сердца и цветом глаз. С годами она — эта ярость — отложит в нем и дар прозрения человеческой порчи, хотя едва ли кому-нибудь нужно много ума или прозорливости, чтобы прочесть на лице ближнего основные письмена его помыслов. Недаром же русские говорят: „Бог шельму метит“, а французы добавляют: „После сорока лет каждый отвечает за свое лицо“. Поэтому когда какой-либо косоглазый и заросший шерстью до самых ушей Шариков от литературы изо всех сил пытается изображать из себя человека, потрясая окружающих рассказами о „колчаковских фронтах“, распознать в нем его собачью натуру не составляет большого труда, да будь благословенна праведная ярость. И Христос гнал кнутом торгующих из Храма. Сказано же: хватаюсь я за саблю с надеждою в глазах.

## 23

Утром, побросав в чемодан нехитрые свои пожитки и рассчитавшись с хозяйкой, Влад уезжал из Черкесска.

По дороге в пригород, где он рассчитывал воспользоваться попутной машиной, чтобы добраться до железнодорожной станции в Невинномыске, путь ему неожиданно заступил Поддубный:

— Уезжаете? — Впервые за месяцы их знакомства Влад видел Пал Палыча тихим и растерянным, и эта разительная перемена вдруг обнажила в нем совсем другого, неведомого до сих пор Владу человека, будто ряженого переодели. — Опять тощица зеленая начинается, хоть вешайся, я только-только отогрелся около вас от всего этого, — он кивнул куда-то себе за спину, — кладбища, а теперь снова с ними. Один Ведищев чего стоит! Вы не обижайтесь, — отсутствующий взгляд его смущенно скользнул в сторону, — я ведь знал, что у вас с моей благоверной, так сказать, роман случился, ну, может, не роман, но все-таки. Так я не в претензии, Владислав Алексеич, уж лучше с порядочным человеком, чем со всякими там. — Он не договорил, махнул рукой, отвернулся. — Дайте я вас хоть обниму на дорогу, что ли. Не поминайте лихом Пал Палыча Поддубного.

Тот долго мял Влада легкими своими ладошками, потом оттолкнулся от него обеими руками, словно от падающего предмета, уже не оборачиваясь более, потянулся прочь.

И это тебе урок, Владислав Алексеич, и это носи на здоровье!

За городом Влада подобрала первая же попутка. Когда старенькая полуторка переехала мост через Кубань, город впервые открылся ему из конца в конец во всю длину противоположного берега. Отсюда, из-за моста, это беспорядочное нагромождение белых хат; увенчанное бледно-голубым тортом Дома советов, с голубой же маковкой церкви на самой ближней окраине и с зеленой стрелкой реки у своего подножия виделось даже красивым. Отныне там, среди этих хат, оставалась часть его

жизни, чего уже нельзя было вычеркнуть из собственной судьбы.

Не раз он будет еще возвращаться сюда в поисках утраченного времени и всякий раз убеждаться, что утраченное не возвращается, что ничего невозможно унести с собой, кроме памяти, и что легче сохранять в себе боль этой памяти, чем пытаться воскресить перед глазами прошлое. Что было, то было, того уж не вернешь.

Пух кружевных облаков плыл над городом, небо просвечивало сквозь них наподобие холста, загрунтованного желтком и синькой, горизонты набухали возникающими сумерками, и все это спасительным куполом возносилось над землей, над тысячами таких же вот городков провинциальной России и над этим, лежавшим сейчас на том берегу, — тоже. Будь же ты благословен во веки веков, со всем, что в тебе существует — плохим или хорошим, — Черкесск! И еще: прости, прощай и помни обо мне.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### 1

Париж, Париж, как много в этом слове для сердца русского слилось! И вот под крылом самолета потекли его дальние пригороды с их почти невсамделишными разноцветьем и аккуратностью, походившими скорее на архитектурный макет, чем на обжитое пространство. Так вот она, земля, где ему придется жить, а, может быть, в урочное время и успокоиться!

— Просьба пристегнуть ремни, — неслось в микрофон из кабины пилота, — и не курить!

Прошло всего три с небольшим часа, которых достало, чтобы выхватить его — семя, зерно, росток зябких широт России — и сбросить в куда более уютную почву Европы в мстительной надежде, что он мгновенно сохнет в этой гнилой благодати, не успев даже пустить корня. Честно говоря, ему заранее было известно, что о нем думают и каких последствий ожидают от его выезда те, кто этот выезд спланировал и разрешил, у него было время взвесить все „за” и „против”, но по мере снижения машины яростная уверенность в себе, сложившаяся в нем в дни, когда им решалась собственная судьба, стремительно улетучивалась, словно газ из поврежденного азростата. В страхе перед неизвестностью душа его заходила в тоске и томлении.

В этом состоянии страха и неуверенности Влад ступил на бетон Орли, ехал на автобусе до аэровокзала, вошел под его своды, и только тут, увидев в свете фотовспы-

шек за стеклом зала ожидания летящие к нему лица сестры и племянника, неожиданно выпрямился, будто обрел почву под ногами:

— Выстоим.

## 2

Помнится, в это утро было очень много солнца. Оно текло сквозь листву тополей, ослепляя витрины и окна, струилось по крышам домов и проводам над ними, резко било в глаза, отчего все вокруг выглядело зыбко и приблизительно, как в незаконченной акварели.

Влад проснулся чуть свет в состоянии той напряженной взволнованности, которая овладевает человеком в предвкушении встречи, которую он ждал и к которой готовился много лет. Гостиница, где он снял роскошный двухкомнатный номер (разумеется, по случаю, только на ночь или, вернее, до приезда первого же иностранца), окнами выходивший на бывшую Рождественку, был залит такой сияющей благодатью, что от нее временами хотелось зажмуриться, как от наваждения.

Остро ощущая себя, свое тело, эластичную упругость кожи, он долго, с наслаждением плескался в ванной размером с его черкесскую комнату, после чего и тоже с тем же наслаждением надевал белье, рубашку, костюм, носки, завязывал шнурки ботинок — все новое, купленное перед отъездом из Ставрополя специально для этого дня, на последний его тамошний гонорар за переводную книжку, поэтому, когда вышел на улицу, чувствовал себя, словно заново родившимся. Как фигурально выражался через много лет все тот же, закупленный на корню коварными империалистами и вражеским издательством „Посев“, Булат Окуджава: „Еще моя походка мне не была смешна, еще подметки не пооторвались...”

И конечно же пешком, через весь пронизанный солнцем и листвою город по Рождественке и Цветному бульвару к Садовому кольцу и далее без остановок до Красных ворот, оттуда вниз — к Комсомольской площади, а от нее на Красносельскую, где, по сути, начинался тот самый район, в котором, наверное, не только каждый дом, но и всякое дерево оставалось частью его не такого уж далекого в те годы детства и памятной вехой последующей судьбы.

На углу Митьковской и Старослободской Влад очутился в самом начале рабочего дня, когда мимо него протекла, прошла, продефилировала большая половина его соседей и знакомых. И он, словно победитель на смотре, принимал этот невольный парад собственного прошлого, почти задыхаясь от горделивого волнения. Никто из них не узнал его, да он и не спешил с этим, ему хотелось растянуть этот свой самый главный в жизни праздник, неторопливо, по глотку, по капле испить чашу своей победы. Его Аустерлиц должен был сиять с утра до вечера.

Но недаром говорят, что человек предполагает, а Бог или Судьба (на выбор!) вносят в эти предположения кое-какие поправки. И поправки, внесенные в этот день в планы Влада, к вечеру почти карикатурно преобразили его первоначальный замысел.

Решив скоротать время до конца дня, когда все в доме и по соседству окажутся в сборе, он двинулся напрямиком в Сокольнический парк, где ноги сами завернули его под гостеприимный тент пустынного в такой ранний час летнего буфета, откуда лишь где-то в полдень он подался дальше, уже еле ворочая языком и конечностями.

Легкая листва берез, кленов и лип скользила над его головой следом за солнцем и облаками, земля катилась под ним, неизвестно куда, душа рвалась вперед с ними наперегонки, и по сравнению с этой благодатной невесомостью его утренние поползновения, его недавняя побе-

длительность и его наступающий Аустерлиц выглядели сейчас детской блажью, в общем-то не имеющей отношения ни к нему, ни к тому, чего он в действительности хотел или ожидал от жизни.

Очутившись у знакомого пруда, памятного ему первыми заплывами и долгим детством, он опустился на прибрежную траву, и тинистая вода вошла в него, как входит в живую душу боль или боль прошлого. И здесь, среди травы-муравы и жидких, словно маскировочных, кустиков перед ним обозначилась крепенькая фигура в кургузой кепочке, точь-в-точь гриб-боровик, только, как в Рязани, — с глазами, которых, известное дело, едят, а они глядят.

Гриб дружелюбно повернулся к Владу широким, чуть рябоватым лицом и, посмеиваясь белесыми глазами, кивнул на газетку перед собой:

— Не желаешь, браток, за компанию?

На газетке у него, будто на скатерти-самобранке, в симметричном порядке располагалась закуска, скромность которой искупалась мастерством приготовления. Лук был нарезан аккуратной лесенкой, разваленная надвое селедка радовала глаз изяществом укладки, ливерная колбаса и хлеб теснились вокруг еще непечатой четвертинки, наподобие высоких полукружий, соседствующих с усеченной кверху колонной. Живой натюрморт выглядел так аппетитно, что Влад не сдержался, похвалил:

— Как в ресторане, брат.

— Да я и есть повар, — словоохотливо подхватил тот, — хоть и не в ресторане кручусь — в столовке, но толк в своем деле знаю. Составь компанию, браток, не люблю в одиночку.

Влад придвинулся к газете, спросил:

— Дома-то не пьется, что ли?

— Дом-то у меня, братишка, с воробьиный нос, негде там пить. — Он ловко разлил четвертинку по бумажным

стаканчикам. — Ну, давай, как теперь говорят, со свиданьем. — Выпил, крикнул и, ловко соорудив себе бутерброд из хлеба с селедкой, отправил его себе в рот. — Хорошо пошла, как говорится, бери, браток, закусывай, в этом деле закусить — большое дело, поговорить тоже не мешает, а дома, с кем мне там говорить, жена на работе, а матери с отцом помирать пора, не до разговоров. Я сам, братишка, из Тульской области, места у нас сквозняковые, скудные, одна голь перекатная перебивается с хлеба на квас безо всякой радости. Правда, шахты имеются, только и там, если по правде, не уголь, а глина горячая, больше золы, чем пламени, местный называется. Пацаном я армии ждал, как престольного праздника, лишь бы из деревни выбраться, из навозного омута этого. Ну, сам понимаешь, срок пришел, забрали. Городские ребята на стенку лезли от службы нашей армейской, а по мне, поверишь, как в раю, нигде так не жил: три раза постель дают, постель чистая, в жизни на такой не спал, обмундирование опять же. Втянулся я в эту жизнь — за уши не оттянешь, как вспомню про деревню — дрожь берет, голова от страха кружится, так боюсь, не вернули бы. Старался, правда, службу исполнять по уставному порядку, а то и сверх того, ну, и, сам понимаешь, начальство отметило, две лычки за службу схватил, значки, благодарности всякие, срок на кухне заканчивал, помповора, все честь по чести, а как мобилизовался, получил чистый паспорт, дудки, думаю, пусть за меня козлы в колхозе вкалывают, у них рога длинные, а мне этот колхоз до фени, я жить хочу, я куда не жил совсем. В общем, демобилизовался и — в Москву, спервоначалу на стройке устроился, комнату в бараке получил, стариков выписал, бабу нашел, дальше — больше, теперь в столовой там же на стройке, живем — не тужим, дай Бог всякому, тесновато, правда, комната у меня — одна койка да тумбочка помещается, как спать, так старики под кроватью, а мы с женой сверху. Да, брат, в тесноте — не

в обиде, старикам, правда, тяжело приходится, сам понимаешь, мы ж с бабой еще молодые, дурная кровь играет...

Под дельную закуску и неторопливый разговор четвертинки, появляясь словно по щучьему велению, чередовались одна за другой, типографская скатерть-самобранка постепенно превращалась в некое подобие небольшой панорамы поверженной французами Москвы, небо над Владом сначала сделалось с овчинку, а потом, в какое-то неуловимое для него мгновение, беспamięтно сомкнулось совсем. Спи спокойно, дорогой товарищ!

Из кромешной тьмы забытья его вывели чьи-то, смутно кружившие над ним голоса: один — мужской, еще ломающийся, другой — явно девичий, с грудным выпевом:

- Еще один.
- Надо его разбудить.
- Кому он мешает!
- Ведь ограбят!
- Ладно, попробую...

В желтеющем свете убывающего дня перед Владом, как бы сквозь залитое дождем стекло, растекаясь, выявились лица, одно из которых — с едва пробивающимся пухом будущей бороды сразу требовательно выдвинулось к нему:

- Гражданин, спать в парке строго запрещено.
- Да, да, я сейчас.
- Вас могут убить или ограбить.
- Все в порядке, ребята, — реальность, словно негатив в закрепителе, медленно густела в нем, пока не отстоялась окончательно, — пьяных, ребята, нет.

Только теперь он увидел их цельно — этих двух, судя по всему, старшеклассников с красными повязками бригадмилцев на рукавах. Парнишка с широким лицом, по-совиному стянутом к носу, убедившись во Владовом пробуждении, официально нахохлился:

- Предъявите документы, гражданин.

Напарница его с толстой, пегого цвета косой, перекинутой через плечо на грудь, и носом картошечкой взглянула было на парня с умоляющей укоризной, но тот суровым взглядом искоса осадил ее и вновь требовательно уперся в нарушителя:

— Порядок, есть порядок.

Специально для таких случаев Влад хранил при себе свое давно просроченное удостоверение внештатного корреспондента радио по Черкесской области. Этой, обтянутой кожей картонки хватило, чтобы парень смешался, но терять лица перед спутницей все-таки не захотел, посетовал раздосадованно:

— Других воспитываете, а сами нарушаете...

И они подались от него вдоль берега, но напоследок он успел перехватить на себе то, почти восхищенное любопытство, которым коротко одарила его юная бригадмилка, прежде чем она покорно потянулась следом за своим напарником: нет жертвы, на которую бы не решилась женщина в России ради пишущего божества, божества порою даже самого пустого и мизерного. Да и только ли женщина?

Пространство вокруг Влада сократилось до размеров его собственной головы, которая жила сейчас сама по себе, вне соприкосновения с внешним миром, где что-либо происходило или могло происходить: вместо певучих труб Аустерлица в ней отныне протяжно гудели похоронные колокола.

От мужичка-боровичка не то что след простыл, самый дух выветрился, расправив после себя и траву-мураву, и жидкие, вроде маскировочных, кустики. Дай тебе Бог, служивый, и впредь почаще сотрясать, покуда можешь, скрипучий потолок над головами своих стариков! Им не привыкать, потерпят, чего не потерпишь во имя продолжения семейного рода?

И хотя предстоящий триумф уже не представлялся Владу таким праздничным, как этим утром, он заставил

себя встать, слегка почиститься и двинуть обратно, тем же маршрутом, к дому на Митьковской. „Господи, — тяжело ворочалось в нем по дороге, — чем все это только кончится!”

Лишь потом, спустя время, по соседским смешкам и намекам до него дошло и походя уязвило, впрочем, ненадолго, что иные все-таки утром узнали его, только по врожденной сокольнической привычке поостерегались, виду не подали, мало ли чего в чужой семье случается: свою жизнь при себе держи, в чужую не лезь, можно головы не сносить. Поэтому едва он, кое-как дотавив себя до памятного угла, нарядил первого же пацана вызывать ему его старинного дружка Володьку Гуревича, как из ворот отчего дома, будто лишь и ждала сигнала, вынеслась, наподобие внезапно запущенной стрелы, светло-головая девчушка лет пятнадцати, круглое лицо которой, слегка тронутое тенью родимого пятна между краем щеки и шеей, слепо и торжествующе устремлялось к нему, словно бабочка на огонь.

Кому тогда дано было знать, что этот ее вещий полет навстречу ему вберет в себя их разобщенное прошлое и общее будущее, чтобы однажды слить их разные судьбы в одну и сделать их долгую жизнь уже нерасторжимой.

— Правда, это ты, — торжествующее лицо ее заполнило его целиком, Владик, правда?

— Здравствуй, — пшеничные волосы сестры текли у него под рукой, — здравствуй, Катя...

Наверное, неутолимая жажда родства, кровной связи, сопричастности к чему-то более прочному, чем собственная жизнь, живет в человеке помимо его воли, преодолевая в конце концов все другие формы взаимоотношений. Так судьба одной, отдельно взятой особи как бы соединяет собою некий обруч некоего, никому не ведомого магического круга, составляющего цельное тело бытия. Видно, поэтому, добровольно исторгнув себя однажды из этого круга, он, вечный беглец и пасынок, из

всех своих бегств и сиротств неизменно возвращался упорной памятью сюда, на эту московскую окраину и в эту безвылазную нищету. Выходит, любовь к родному пепелищу в нас намного сильнее нас самих.

Все последующее закрутилось с такой ошеломляющей быстротой, что даже теперь, через много лет, память выхватывает оттуда лишь отдельные видения, в которых запечатлелись отдельные лица, голоса, движения...

Сначала они с Гуревичем нагружались в ближайшем магазине всякой всячиной, в которой преобладали бутылки разной емкости и цвета. Из магазина детский дружок увлек его за собой к общему их приятелю Володьке Шилову, живущему на одной лестничной площадке с Владовой родней, откуда его, уже чуть теплого, буквально перенесли домой.

Потом он лежал на знакомом ему с самого младенчества продавленном диване, потолок карусельно кружился над ним, а мать, сидя с ним рядом, гладила его по голове, баюкающе приговаривая:

— Эх ты, Владька, Владька, голова садовая, чего ты все мечешься, чего по свету ищешь, сидел бы себе дома, как люди, вон смотри, как дружки твои, работают честь по чести, с родителями живут, ты же у нас головастый, не хуже бы мог, сколько мне долдонили: пропал, мол, твой непутевый, мол, давно по тюрьмам сгинул, а ты вон, в какие люди вышел, хотя, по правде сказать, жил бы дома, матери твоей куда спокойнее, старая я уже, помирать скоро, кому глаза закрыть будет, вон и дед Савелий, ненаглядный твой, перед смертью все плакал: Владьку бы повидать, так не мучился бы...

Плакалась она скорее по привычке, чем всерьез. Он-то знал, понимал, чувствовал, что в той гонке за неподатливым призраком, какую вела эта одряхлевшая девочка всю свою сознательную жизнь, нынешний Влад подарил ей первый реванш, приз за долготерпение, журавля в не-

бе, что день и ночь грезился ей годы и годы. Святая простота!

Тетка, не в пример золовке, и не пыталась скрывать горделивой радости, споро хлопотала вокруг стола, громко выговаривая в сторону распахнутой на кухню двери:

— Лешка не дожил, увидел бы сынка не хуже других, а выпить никому не грех, авось на свои. Правду говорят: пьяный проспится, дурак — никогда, пьян да умен — сто угодьев в нем, сейчас закусишь, как рукой снимет, не то что у других неделями не просыпаются, с одного завода на другой бегают. Вставай, Владик, сейчас дружки явятся, из соседей тоже кое-кто придет, вон уже Володька Целиковский под окнами бродит, приглашения ждет. Дядю Володю-то Целиковского помнишь? Только уж не тот нынче, не узнаешь, родная жена с детьми и те отреклись, чего теперь с него взять, с алкаша чахоточного...

Уже после, в беспорядочном застолье, Влад выделил среди других его изможденное лицо и лишь по твердой посадке головы узнал в нем того самого размашистого красавца, номенклатурного шофера, в хrome с головы до ног, пережившего за свою недолгую карьеру полдюжины наркомов и не менее дюжины их заместителей. Обтрепанный и жалкий во хмелю, тот теперь смотрел на него собачьими глазами, словно тщился молча передать ему свое теперешнее состояние:

— Было, Владик, было да сплыло, былъем поросло, пеплом присыпано и нечего ворошить попусту, один прах позади, да и впереди — прах.

Влад попытался было тоже молча, одними глазами одарить его хотя бы частицей своей надежды, но собачий взгляд Целиковского оставался к его зову слепым и безответным...

Среди пьяного гвалта, где никто уже не видел и не слышал друг друга, Влада потянуло в ночь, в звездную тишину двора, и он вышел, но едва парадное осталось за

ним, как от темневшего напротив деревянного флигеля отделилась и поплыла, пересекая ему дорогу, щуплая, почти невесомая фигурка, которая по приближении оказалась старухой Шоколинис. Минуя его и скрываясь в глубине двора, старуха незряче смотрела впереди себя, но Влад был готов биться об заклад, что она не только видела и узнала его, но специально ждала, пока он выйдет, чтобы вот так — незряче и молча — проплыть мимо него, как бы напоминая ему о чем-то или от чего-то предостерегая. „Жива еще, — оторопел он, поворачивая назад, — всех, видно, решила пережить?“

Утром Влад проснулся на том же диване, знакомые ему с раннего детства предметы размещались на тех же местах и в том же порядке, в комнате так же, как в прошлом, пахло глаженным бельем и отживающим деревом, и ему вдруг показалось, что он никогда и никуда не уходил отсюда, а все случившееся с ним за эти годы — лишь нелепый и наконец расточившийся сон.

### 3

Влад теперь мог наконец оценить свое недавнее прошлое, как бы глядя на него с некоего перевала: что из того, чем при рождении одарила его судьба, он успел растерять, что приобрел в прожитом опыте и каков же все-таки итог этой отпущенной ему на земле первой четверти века? О потерянном не то что жалеть — даже вспоминать не хотелось, а к приобретенному он не ведал еще как подступиться, в результате, по зрелом размышлении, не оставалось ничего, кроме жизненной цепкости и желания самоутвердиться любой ценой. Баланс для него получался, прямо скажем, неутешительный, во всяком случае, в сравнении с его благими намерениями. Правда, он чувствовал, что где-то, в самой потаенной глубине его души, вызывает, наподобие шаровой молнии, нечто такое, от-

чего однажды, если ее вовремя коснуться, его может взорвать изнутри яростной лавой обжигающих слов и неповторимых образов. Оставаясь наедине с собой, вслушиваясь в себя, он зачастую улавливал звучащие в нем голоса, которые еще не сливались ни во что целое, но уже требовательно зывали к нему, к его ответу, хотя слов он пока не разбирал, а потому и чем ответить не находил. Следом за головами являлись лица, и тоже не цельным обликом, а частью — профилем, овалом, выражением глаз, чтобы тотчас исчезнуть, не запечатлевшись в памяти. Порою, вне всякой связи друг с другом, возникали отдельные видения, сколки минувшего: одинокая женщина с кружкой воды, протянутой ему в знойный полдень в заброшенном рыбацьем балагане на берегу Каспия; заезженная пластинка с песенкой Герцога из „Риголетто” в завьюженной палатке над Меймичей; стог у железнодорожного полотна под Шексной и собачий скулеж около самого его лица, от которого смертно холодело сердце; барак в зимней Игарке, где недавний лагерный доходяга с вороньим чубом наискосок через высокий лоб читает ему диковинные, никогда не слышанные им дотоле стихи. Стоп!

Жизнь снова, в какой уже раз, перекрецивала судьбу Влада с судьбою этого, по сути, едва знакомого ему человека. И он снова пошел туда в памятный дом среди Сретенских переулков, чтобы снова услышать слова, от которых обливается сердце, но благостно, хотя и болезненно очищается душа.

Влад долго звонил у знакомой двери, пока ему открыла заспанная баба в расхристанном халате:

— К писателю, что ли? — Мутное ее злорадство еле продиралось сквозь запухшие веки. — Входи, коли добудишься, третью неделю гудит, до зеленых чертей, видать, допился, сам с собой разговаривает. — Он шагнул в тем-

ноту коридора, подхваченный запахом ее нечистого тела и похмельного дыхания. — Тоже мне, писатели, ети вашу мать...

Когда Влад без стука толкнул впереди себя незапертую дверь, хозяин пластом лежал на своей тахте-матраце, недвижно глядя в потолок над собой, и потрескавшиеся губы его при этом беззвучно шевелились. Появлению Влада он, как обычно, не удивился, лишь скосил горячие глаза в сторону гостя, трудно сложил:

— Принеси чего-нибудь, малыш, душа горит, такая мука, что не приведи Господь... Никудышный я сейчас собеседник...

Влад, конечно, не заставил себя уговаривать, одна нога здесь, другая — там, обернулся, тот, отмахнувшись от стакана, жадно глотнул прямо из горлышка и мгновенно ожил, будто Даров Святых причастился, сел, коротко помотал чубатой головой, обласкал повеселевшим взглядом:

— Ну, зачем опять пожаловал, малыш, в град престольный? — Тот оживал, расправлялся, будто парус, вдруг подхвативший целительный ветер. — Решил снова штурмом брать? Не рановато ли? Выкладывай, в два ума решать будем.

В сбивчивом и долгом объяснении Влад рассказал хозяину о своих последних одиссеях, кончая разговором с Гашоковым и возвращением домой, не скрыв и о голосах, лицах, предчувствиях, посещавших его с недавнего времени.

Хозяин слушал, не перебивая, но все веселел и веселел глазами, а когда гость умолк, откинулся головой к стене, всмотрелся в него как бы с некоторого расстояния, предложил с одобрительным вызовом:

— Попробуй теперь определить одним-единственным словом, что же ты вынес из всего этого?

Влад ответил не задумываясь, настолько это было в нем выношено:

— Ярость.

— Это хорошо, но для настоящей литературы недостаточно.

— Что же, по-твоему, мне еще не хватает?

— Милосердия, — и печально погас. — Без милосердия нет подлинной литературы, есть только или талантливые упражнения, или разрушительное словоблудие. Слово при всей своей кажущейся безобидности способно как убивать, так и возрождать к жизни, в самом буквальном смысле. Один несостоявшийся поэт кропает дрянную книжицу по политэкономии, казалось бы, забыть и наплевать, а в мире до сих пор, во имя этого бреда гибнут миллионы. Другой шиз на недолгом тюремном досуге от нечего делать перекладывает на бумагу собственные галлюцинации, а в результате — вторая мировая война со всеми известными тебе прелестями. Или вот тебе из другой оперы. — Он схватил бутылку, сделал большой глоток, живо вскочил, метнулся к книжной полке, привычно выхватил томик из старого пушкинского собрания, но даже не раскрыл его, а лишь взмахнул им над взлохмаченной головой. — Прости за банальность, но тут, что ни возьми, все об одном: милость к падшим! Чувствуешь, мольба какая, полет какой, это нам, брат, на века подарено, это нас из полутатарского скопища в народ превратило, людьми сделало! Причем, заметь, перед этим сказано: „...что в наш жестокий век...“! И чем жесточе, тем милости больше требуется. Вспомни, рассказывал ты мне в прошлый раз жизнь свою горемычную, а ведь выжил, выжил ведь, хотя не волчья в тебе порода, значит, не зубами выжил? Тогда чем, ответь? Я сам за тебя отвечу: милосердием людским, вот чем. Кто нас тогда в Игарке пригрел, забыл? А кто он нам, татарин этот, — сват, брат, дальний или ближний родственник? Мне теперь молокососы наши новые, что из приблатненного жаргона язык норовят сделать, Селина в нос суют. Разуть бы им глаза от онанизма да прочесть бы

толком Селина этого самого, у него вся душа в крови, от жалости жестокими словами только прикрывается, чтобы не видно было, что кожи нет, а ведь человеку с совестью и понятием все равно видно. В свои времена наши умники чахоточные от злобы на весь свет даже Достоевского „жестоким талантом” ославили, а все потому, что по писарской своей сущности ни читать, ни чувствовать до гробовой доски не научились, только расплодили на века подобную себе писарскую саранчу, попробуй ее теперь выведи! „Жестокий талант”! Да какому-нибудь конфетному Тургеневу или вшивому Буревестнику с его нищими на двадцать томов хоть каплю такой-то вот „жестокости”, может, чего стоящее и оставили бы после себя, а то ведь слезливый хлам один, каким свое звериное равнодушие на людях маскировали. Взялись, лешие, замумукать, засатинить русскую литературу да, слава Богу, не вышло, на пушкинской закваске поднялась, дерьмом уже не испортишь, разве что вонь вокруг разведешь, но только до первого ветра. — Он вдруг остановился около гостя, с изучающей внимательностью посмотрел на него сверху вниз. — В тебе что-то все-таки есть, малыш, коли начинаешь слышать себя, значит, книга в тебе зреет, может быть, настоящая книга, которую всю жизнь пишут, отряхнуться бы только тебе от суеты этой околотелитурной. Я вот на двадцать лет старше тебя, а до сих пор все еще наугад иду, кажется, недавно вроде нащупал жилу, пока клеится понемногу, а все равно боюсь: вдруг завтра опять пустая порода пойдет, где тогда искать, времени-то у меня в обрез осталось. — После очередного долгого глотка его подхватила новая мысль, и он неожиданно заторопился: — Вот что, малыш, хочу я тебе показать одно чудо-юдо, не бойся, это здесь же во дворе, есть тут один занятный парень, муж дворничихи нашей, Серафимы, сама она пьянь несусветная, пропадает неделями, он за нее вкальвает да еще и за детьми смотрит, ребята эти неизвестно от кого и все с изъянцем,

один немой, другой глухой, третий вроде и то и другое, а парень этот, Валерием зовут, между прочим, эмгеу по журналистике кончил, пристроился временно техническим редактором в каком-то „нии”, утром ее работу делает, днем свою, а вечером с ребятами, ну, и, сам понимаешь, пописывает. Думаешь, урод какой, импотент или не в себе? Будь уверен, все у парня на месте, а голова, дай Бог всякому. В общем, посмотришь да и к нашему разговору отличная иллюстрация. Только прости, брат, придется еще за бутылкой смотаться, какой у людей разговор может быть всухую?..

Пересекши двор, они спустились в полуподвал у ворот, окнами выходящий в переулок. Дверь оказалась настежь, но распахнутая полутьма ни звуком не отозвалась на их появление.

— Валерий! — позвал с порога Владов спутник. — Валерий Ильич, гостей принимаешь?

Лишь после этого за смутно маячившей в глубине помещения дощатой перегородкой возникло какое-то движение, затем оттуда, сквозь полумрак прихожей, навстречу им выдвинулось молодое лицо в темной, на старинный манер лопатистой бороде:

— Вы, Юрий Осипыч? — Карие, по-иконописному широко расставленные, глаза его заметно косили. — Заходите, заходите, я тут соснул малость, разморило, жара, знаете ли. — Только тут он заметил Влада, осекся вопросительно. — Здравствуйте?

— Знакомься, — подтолкнул тот к нему Влада, устремляясь к столу, — молодой поэт-переводчик Владислав Самсонов, промышлял по этой части на Северном Кавказе, теперь оседает у нас в белокаменной. — По всему чувствовалось, что он привык здесь вести себя запросто: похозяйски распорядился посудой, достал соль и нарезал хлеб. — Хотя сам-то он москвич урожденный, зачем ему оседать, скорее, возвращение блудного сына, так сказать. Ну, со знакомством!

Влад с нарастающей тревогой следил за своим приятелем. Он по себе знал состояние, когда среди черного беспомыслия человек вдруг от рюмки-другой приходит в себя и даже начинает говорить и действовать на первый взгляд вполне осмысленно, но это обманчивое просветление выветривается так же внезапно, как и возникает, чего нужно было ожидать в любую минуту и здесь.

— Понимаешь, Валерий, — сознание стремительно оставляло его, глаза гасли, лицо мертвенно заострилось, — я за этим парнем давно слежу, что-то в нем брезжит, не знаю еще что именно, но что-то в нем проклевывается, глядишь, и выкрикнет что-нибудь членораздельное, гул от него идет, а это в нашем деле главное. — Он все еще пытался уравнивать тяжелеющую голову, но подчинялась она ему вяло, то и дело упираясь подбородком в грудь. — Нет, ей-Богу, Валера, нашего полку кадр... Впрочем, сам понимаешь... Я только минуточку... Прикорну и опять в боевой форме... Ей-Богу, Валера...

Его окончательно сморило, он всей грудью навалился на стол и боком, боком принялся было сползать вниз, но хозяин тоже оказался начеку, вовремя поддержал друга, обхватил за талию, приподнял, привалил к себе и бережно, словно боясь разбудить по пути, повел за перегородку, где еще некоторое время возился с ним, размещая и уговаривая:

— Ложись, ложись, Юрий Осипыч, здесь у меня прохладно, хорошие сны сниться будут, проснешься, опять за жизнь поговорим, ты здесь у меня, как у Христа за пазухой, ничего не бойся, если чего понадобится, спроси, из-под земли достану. Спи...

Вскоре парень бесшумно выскользнул из-за перегородки, сел напротив Влада, искоса засветился в его сторону:

— Я, знаете ли, среди пьяни вырос, сам пьянь несусветная, хоть и с высшим образованием, казалось бы, что мне Юрий Осипыч, одним больше, одним меньше, какая разница, все там будем, как говорится, но вот его мне,

именно его, жалко. Ему ведь на десятерых отпущено, да еще на каких десятерых, это понимать надо! Не человек — сосуд драгоценный, извините за пышность, но другой метафоры не подберу. Расплескивается во все стороны: нате, берите, а кому брать-то, все собственной мочой довольны, посмеиваются: своего, мол, хватает, в своих, мол, мыслях, как в репье, запутались. — Разлив остатки, он доверительно наклонился к гостю. — Дурачье, конечно, ни ухом ни рылом, а те, — он со значением кивнул куда-то поверх себя, — с него глаз не спускают, за каждым чихом следят, знают, сукины дети, с чем дело имеют. Они ведь с ним вот уже лет тридцать в кошки-мышки играют, убить не торопятся, приручить хотят, уж больно соблазн велик — такого человека на поводок взять, большой профит иметь можно, только не по зубам им золотой орешек этот, он вроде и катится во все стороны, а поди-ка его — раскуси... Вас как по бабушке-то? Впрочем, мы, кажется, однолетки, можно и без величаний, попросту. Согласны?

Они проговорили до темноты. И чем больше слушал Влад своего нового знакомого, тем объемнее открывались перед ним мир и круг интересов, о которых он до сих пор не имел никакого представления. Оказывается, существовала среда, не имевшая соприкосновения ни с какой другой, где каждый жил сам по себе и подчинялся лишь своим личным законам, в которой считались с ценностями, о каких он раньше слыхом не слыхивал, и куда был вхож всякий, у кого имелось хоть что-то за душой. К концу разговора его собственные успехи и претензии показались Владу такими смешными и ничтожными, что он постеснялся даже упомянуть о них.

Прощаясь у ворот, Влад скорее по инерции, чем из любопытства спросил Валерия:

— А где же ваши все, у вас, я слышал, семья?

— Жена в бегах, а детишек я к бабушке на лето отправил.

— И, предупреждая, видно, уже привычное для него лю-

бопытство, пояснил: — У каждого свой крест, Влад, это — мой. Донесу ли, вот вопрос?

С этим Влад и двинулся в ночь, почти физически ощущая спиною его долгий, как бы изучающий взгляд.

#### 4

Сомкнулась связь времен, а сомкнувшись, покатилась чертовым колесом вокруг одной и той же оси: вверх — вниз, вверх — вниз, вверх — вниз, только успевай воздух вбирать, когда падает и взмывает сердце, сквозь которое, как нить через ушко иглы, текла то остро отчетливая, а то засвеченная хмельным беспамятством хрупкая пленка быстротекущих лет...

В тусклом свете промозглой осени, словно абрис в недопроявленном негативе, маячит опрокинутое навзничь восковое лицо матери в обрамлении жухлых цветов и обивочного кумача с вопросительным недоумением в бескровных губах, как бы вопрошающих: „И это все?“ Разве затем она, то и дело попадая из огня да в полымя, отчаянно рвалась сквозь затерянность и голодуху, обманутые претензии, быстротечное замужество, бдение в тюремных приемных, войну, служебные унижения, бегство сына и негаданную встречу с ним, вновь затеплившую в ней былые и уже, казалось, сбывшиеся надежды, чтобы вот так нелепо и круто сорваться в бездонную пропасть между станционной платформой и утренней электричкой? Равнодушная к ее застывшему недоумению земная явь колобродит вокруг нее, спеша избыть из себя плоть и дух очередной своей странницы: пожила и — будет, дай другим пожить!

Среди суетной пестроты того дня в памяти чаще всего всплывает весь в мокрой листве под ногами сквер у церкви в Сокольниках, где они сидят с двоюродным братом, слесарем паровозного депо, Славкой за початой

уже бутылкой перцовки, внезапно застигнутые возникшим около них молоденьким, в необжитой еще им форме постовым:

— Нарушаете, граждане, не положено, — васильковые глаза его на веснушчатом курносом лице напрягаются, изображая строгость, — придется в отделение пройти.

— Мать померла, старшой, — Влад даже не пытается оправдываться, — поминаем.

Строгость в васильковых глазах постового мгновенно гаснет, сменяясь растерянностью, он заметно силится сложить какие-то подобающие случаю слова, но, так и не сложив, безнадежно машет рукой и отходит от них, медленно удаляясь по засыпанной мокрыми листьями садовой аллее...

Дни смерти и похорон матери вобрали в себя множество лиц, разговоров, красок, но до сих пор, когда он вспоминает обо всем тогда случившемся, в нем всплывает одно и то же: ее восковое лицо в обрамлении жухлых цветов и обойного кумача, осенний сквер у церкви в Сокольниках, удушливый вкус перцовки и молоденький постовой с васильковыми глазами на веснушчатом лице в перспективе засыпанной мокрыми листьями аллеи...

Следом за этим, из последующей круговерти повседневности, выявляется летнее утро в тополином пуху, когда, впервые после бегства из дому, судьба вновь сводит его с младшим из Дуровых — Борисом, тем самым плаксивым карапузом, которого он в детские свои годы покровительственно защищал от дразнилок дворовой шпаны. Плечистый красавец в мундире старшего лейтенанта инженерных войск заступает Владу дорогу при выходе из ворот, светясь в его сторону знакомой ему с детских лет беспомощной и чуть виноватой улыбкой.

— Здравствуй, Владик, — трясет он его руку двумя своими, — мне бабушка писала, что ты вернулся, я толь-

ко вчера из отпуска, сегодня хотел зайти. — И без перехода, словно извиняясь: — Вот знакомься, моя жена.

Лениво скользнув по нему сверху вниз, та протягивает Владу руку, и с кокетливой шутливостью слегка приседает:

— Зина.

Вороное крыло прически наискосок от виска до подбородка. Чуть вздернутый нос. Зеленые, с голубым отливом глаза, встретившись с которыми, подмывает зажмуриться. И это, теперь вошедшее в него навсегда, выражение насмешливой снисходительности в уголках уверенных губ. Подхваченная пламенем цветастого штапеля, она как бы струится в тополином снегопаде, грозя растаять, раствориться, исчезнуть в одно мгновение, как сон, как утренний туман: остановись, мгновенье!

— Здоров, Боря, извини, сейчас некогда, спешу, у нас в Союзе писателей заседание правления, — несет его без руля и ветрил сквозь сладостное сердцебиение и колокольный звон в голове, — собираюсь в Швецию с делегацией, вечером у меня встреча с читателями, загляни завтра, лучше с утра, вечером мне на прием в польское посольство.

Какое уже там заседание в Союзе писателей, к которому он даже отношения не имеет, какая Швеция, куда его никто не приглашал и приглашать не собирался, какая встреча, если круг преданных ему читателей замыкается в четырех стенах Дома советов черкесского захолустья, и какой прием, когда он отродясь слыхом не слыхал, где оно — это самое польское посольство находится. Но ложь сама по себе, помимо его воли, громоздится одна на другую, не в состоянии остановиться и пересилить себя. В нем вдруг как бы просыпается тот нищий и неказистый мальчик его детства, который натужно изгаляется перед соседской девчонкой, спеша доказать ей, что он не такой, как все, что он особенный и что она должна это оценить и выделить его из числа других.

Господи, если бы стыд мог испепелять, то при одном воспоминании о той, первой их встрече он должен был давно обратиться в горстку летучего праха!..

Зина, Зина, вот так мы и встретились с тобой, как говорится, на заре туманной молодости, чтобы, растянув на долгие годы бездумное действие нашего шумного соседства, бездарно и забывчиво скомкать его ослепительный конец: увяданьем осени охвачен!..

Потом Казань, где зеркально повторяется клубок знакомых ему черкесских страстей, только разбухший до республиканских размеров: те же подстрочники, те же разговоры, та же карусельная, с кратковременными просветами пьянка.

Но есть в этом городе что-то такое, что отличает его от великого множества медвежьих углов страны, вызывая в душе заезжего гостя чувство соприкосновения с чем-то давно забытым или виденным когда-то во сне. Город будто грезил наяву временами времен, прорываясь в текущее полувременем вязью кириллицы из-под облупленной штукатурки заброшенных церквей, лабазной плесенью вдоль прибрежных спусков, волглым дыханием речной громады за отдаленными крышами — весь в мазках и росчерках лозунгов, проводов, телевизионных антенн, казавшихся здесь случайным хламом или паутиной занесенной сюда капризным ветром эпохи.

Едва заканчивается в городе рабочий день, гостиница, насквозь пропахшая тряпичным тленом и приторным запахом кухни, постепенно, но уверенно наполняется почти непрерывным пьяным кружением, не стихающим здесь даже за полночь. Командированные, толкачи, гастролеры-эстрадники, барыги с юга, разъездные пропагандисты, проезжие офицеры и студенты-заочники, отработав свой дневной или вечерний урок, принимаются заливать вынужденное безделье с городскими шлюхами или в сбитых наспех компаниях: в России, как известно, праздная душа жаждет растворения в воздухах.

Лихорадочная эта гульба, наподобие бездонной воронки, втягивает в свой водоворот все живое вокруг себя, неотвратимым потоком докатываясь в конце концов и до его двери.

— Здравствуй, дарагой, — после короткого стука просовывается к нему в номер голова соседа — сухумского виноторговца Саша Ласуриа, — заходи ко мне, гостем будешь, хорошие люди собрались, не пожалеешь.

Для хлебосольного абхазца его гостиничная обитель служит и домом, и канцелярией, и перевалочной базой, превращенной по вечерам в гостеприимную харчевню. Здесь он почти безвыездно живет месяцами, здесь заключает сделки и хранит товар, здесь щедро прожигает шальную выручку с местной знатью и случайными собутельниками. И редкое застолье обходится без Влада, от которого с первого дня знакомства хозяин жаждет заполучить стихотворную эпитафию на могилу погибшего в уличной резне младшего брата.

— Понимаешь, — всякий раз, упившись, жалобно каючит он перед гостем, — такой замечательный мальчик, красивый, как бог, умный, как академик, плавал, как рыба, бегал, как олень, гордость и утешение семьи, только жить начинал, а они его, как барашка, свалили, шакалы сухумские! — И по-собачьи заглядывает ему в глаза. — Напиши, дарагой, ничего не пожалею, озолочу, век Сашу Ласуриа помнить будешь, только напиши так, чтобы и через сто, и через тысячу лет люди читали, такой человек был!

Но, к своему удивлению, на этот раз Влад застает у соседа лишь одного-единственного гостя. Тот грузно растекается в кресле, взбывчив навстречу им массивную, с нездоровой одутловатостью и в сивой гриве голову, будто заранее готовый к неминуемому нападению.

— Заходи, заходи, — подталкивает Влада хозяин, нетерпеливо вибрируя у него за спиной, — знакомься, дарагой, это Василий Иосифович. — Он выдерживает ко-

роткую паузу и тихо, словно боясь кого-то спугнуть, выдыхает: — Сталин...

Когда, спустя годы, жизнь сведет Влада в Принстоне за одним обеденным столом с родной сестрой этого сановитого пропойцы, он вновь мысленно подивится тем неисповедимым путям, какие выпали ему в его скитаниях по земле. Мог ли Влад — потомок нищих хлебопашцев и путейских люмпенов — представить себе в начале земной своей дороги, что ее головокружительные зигзаги когда-нибудь сведут его с людьми, чьи имена, вне зависимости от их обладателей, давно сделались частью мировой истории, но которые вблизи окажутся такими же маленькими и несчастными, как и он сам! Лицом к лицу — лица не увидеть...

В конце концов знойная чача делает свое дело: недвижимая глыба в кресле оживает, отечное лицо напряженно твердеет, ожившие глаза наливаются кровью:

— Сволочи, — хрипло рычит гость, жадно втянув в себя воздух после очередного стакана, — негодяи позорные, отравили вождя, жидовня пархатая, и концы в воду, а меня в эту дыру, чтобы рот заткнуть, только я вас, рвань косопузая, и отсюда достану, мне терять нечего, у меня на вас найдется удавочка, не скроетесь! — Волосатые кулаки его с силой опускаются на подлокотники кресла. — Будьте вы прокляты, козлы вонючие, он вас, шкуры, в люди вывел, из грязи поднял, уму-разуму научил, а вы ему, суки, яду! — И вдруг беспамятно упирается в переносицу Влада. — Ты кто такой? Встать!

— Это свой, Василий Иосифович, поэт, стихи пишет, сосед мой, рядом живет, — торопится Саша, незаметно подталкивая Влада к двери, — надежный человек, познакомиться хотел, очень уважает. — Он преданно облучает гостя кофейными глазами, пятится спиной к выходу, настойчиво вытесняя Влада в коридор. — Будьте, как дома, батоно\*, я только на минуточку.

---

\* Батоно — почтительное обращение (груз.).

Он тихонько прикрывает за собой дверь, а вслед им тянется пропитой хрип гостя:

— Поэт! Видал я поэтов! У меня эти поэты сапоги лизали, петухами кукарекали, в чем мать родила краковяк изображали, я их — этих поэтов — среди дня раком ставил, суки позорные, Матусовские, бля, Долматовские, Склифасовские, в рот я их мотал, попрытались теперь, как тараканы, не нужен стал, паразиты!..

В коридоре Саша виновато переминается с ноги на ногу, неуверенно оправдывается:

— Большой человек, как лев в клетке, на авиазаводе военпредом, каждая сямка унижает, разве это жизнь, вот и пьет человек по-черному, себя не помнит, ты, дарагой, извини его, не он хамит, чача хамит. — Он снова заискивающе заглядывает Владу в глаза. — Не забудешь про брата, а? Тоже хороший человек был, большой человек, пускай сто лет помнят, какого человека дали зарезать, напиши, дарагой, слово Саши Ласуриа, озолочу!..

С этим Влад и уходит к себе, чтобы наедине с собой снова и снова попытаться докопаться до сути этих, внезапно настигавших его, вроде бы случайных, но вещей встреч. И снова бередящие детские вопросы удушливой петлей захлестываются вокруг него: как, отчего, почему?

Почему брошенный в водоворот капризной истории безвестный грузинский мальчик, безоглядно презрев, отринув в себе все Божеские и человеческие законы, рвется сквозь нищенскую нищету и тенета охраны, вероломство и грабежи, кровь вчерашних друзей и лезть живущих врагов, чтобы на вершине власти и могущества околеть в собственной блевотине за бронированными дверями своего загородного особняка под гибельным грузом страха и одиночества? Отчего один из сыновей мальчика, скорее, пасынок, плод единственной в его жизни любви, отрезанный лопотью во вновь обретенном семействе, бросится в немецком плену на колочую про-

волоку запретной зоны концлагеря, так и не дождавшись отцовского прощения, а второй всеобщий баловень, красавец и ловелас, осыпанный чинами и милостями дворцовых подхалимов, после смерти отца сполна вкусит из тюремной чаши и в конце концов свалится с перепоя под казанским забором, забытый даже собственными родственниками. И как стрясется, что дочери этого царя царей, затравленной стукачами и соглядатаями, придется искать своей доли на заморской чужбине, где она постарается стереть в себе самую память о своем прошлом. Вот так, господа хорошие, вот так. И от судьбы спасенья нет...

Затем в нем всплывает Зеленый базар краснодарской осенью. Будто в зыбком мареве сновидения перед ним плавно кружатся жухлые листья платанов на фоне добела облившего неба. Базар, как развороченный улей, гудит и мается в бестолковом кружении людей, скота и подвод. У коновязей, сбиваясь в ряд, пофыркивают лошади, и острый запах конских яблок под их копытами смешивается в стоячем воздухе с пряной смесью лежалого сена и гниющей бахчи.

У ворот базара, равнодушный к обтекающей его со всех сторон сутолоке, будто черный камень среди пестрого потока, торчит слепец, заученно выводя под гармошку:

Прощай, Маруся дорогая,  
Прощай, отец родимый мой,  
Ведь вас я больше не увижу,  
Лежу с разбитой головой...

Вторую неделю Влад спозаранку топчется около винной палатки, потягивая кислый, свежего урожая, рислинг, которым поит желанного покупателя бывший приятель по колхозной одиссее Хачик Алиханян — однорукый армянин с молящими глазами загнанного оленя. Влад заворачивает в этот город между двумя переводными халтурами в Средней Азии, подхваченный недель-

ным, начатым еще во Фрунзе запоем, в надежде взять реванш за унижение своего бегства отсюда, но вдруг оказывается, что после пяти минувших с тех пор лет здесь уже не с кем сводить счеты, некого удивлять и некому плакаться. Иных уж нет, а те далече. Ляля, где ты, не забывай меня!

Терпкая жидкость ввинчивается в него, исподволь ввинчивая его самого в гулкий омут горячечного делирия. Со дня на день все чаще среди базарной толпы начинают прорезываться лица и голоса, еще недавно осевшие где-то на дне памяти. То в проеме винного прилавка вместо молчаливого, улыбчивого Хачика появляется медальное, с седеющим чубом поперек лба лицо „и примкнувшего к ним” Шепилова: „Мы, кажется, с вами встречались во Фрунзе, Владислав Алексеич, не правда ли?” То вырывает из людского водоворота его фрунзенский собутыльник, заезжий актер Володя Гусаров, суетится, подмигивает доверительно: „А знаешь, старик, ведь мой папа убил Михозэlsa, давай выпьем по этому случаю!” То ни с того ни с сего, будто нечистый дух из сказочной бутылки, перед ним выявляется испитой старик с кроличьими глазами. „Ты какой-то имэшь право здэсь пит без мена, — неуверенно хорохорится старик, — я заместитл Кальнина, Прэдсэдатл Презыдыум Вэрховый Совет Кыргызсск ессесесере!”

Следом за этим, все убыстряя и убыстряя ход, его подхватывает бредовая карусель, унося свою новую жертву сквозь текущий кошмар беспамятства к белому дню тяжкого пробуждения...

Голубоватый, в ржавых потеках потолок заслоняется вдруг возникающим над ним старушечьим лицом:

— Очухался, соколик, слава Богу, почитай, неделю на привязи с чертями хороводы водишь, пора и честь знать. — Белые пряди свисают из-под санитарной косынки вдоль обтянутых пергаментной кожей скул. — Вста-

вай, соколик, не разлеживайся, скорее встанешь, скорее выпишут.

Но до выписки, предреченной старухой нянькой, ему еще доведется протянуть в больничных коридорах свои полгода принудительного лечения, наложенного на него судом за, как написано было в судебном решении, „оскорбление действием должностного лица при исполнении служебных обязанностей”. Да, видно, не в добрый час подвернулся ты под его яростную руку, товарищ первый секретарь краснодарского крайкома комсомола губастый верзила Вася Качанов! Значит, нашел он-таки тогда, с кем в этом городе счеты свести за давнюю свою обиду!

Знаменитая Столбовая, место вынужденной остановки, запомнится ему лишь тем, что однажды, сквозь щель ограды прогулочного двора, мимо него промелькнет одутловатое, в коконе вязаного платка лицо Катьки-дурочки, его бывшей соседки по квартире на Митьковской. Промелькнет, чтобы тут же исчезнуть, слиться с вереницей себе подобных, но самим своим призрачным появлением как бы смыкая еще один виток спирали, по которой он столько лет карабкается неведомо во имя чего и зачем. Всякое знание умножает печали.

Только ранней весной, когда первая ростепель примется стачивать с крыш и дорог зимнюю наледь, Влад вернется в самсоновскую берлогу в Сокольниках, где найдет ожидавшую его открытку из издательства „Молодая гвардия”: „Просьба зайти в отдел Литературы народов СССР для переговоров”.

Подпись, по обыкновению, была неразборчива.

Помнится, уже в ту первую их встречу, наскоро окончив с делом (речь шла о какой-то киргизской книж-

ке, выходявшей здесь в переводе Влада), они в последующем разговоре прониклись взаимной приязнью. Гостя располагала в собеседнике та доверительная простота, с которой тот делился с ним, более или менее случайным посетителем, своими первыми впечатлениями о столице, куда лишь недавно перебрался из Калуги, где тянул лямку в местной молодежной газете, а того, видно, в свою очередь, Владово редкое теперь среди окружающих умение слушать и неизменно удивляться.

— В провинции, конечно, проще, — тот словно раздумывал вслух, взыскующе посвечивая на него выпуклыми, желудевого цвета глазами из-под высокого, в ранних залысинах лба, первым парнем на деревне всегда легче стать, чем вторым в городе, но эта легкость засасывает, сам не заметишь, как превратишься в калужского Безыменского, болванчика для областных президиумов. — Собеседник чуть заметно подмигнул, как бы приглашая его в сообщники. — Москва слезам не верит, будем штурмом брать, штурмом не получится — измором возьмем, отступать все равно некуда, позади — Калуга. — И вдруг вспыхнул, загорелся внезапной решимостью: — Кстати, не хотите сегодня вечером ко мне заглянуть, посидим, выпьем, поговорим за жизнь, стихи читаем, я вам кое-что из своего даже спою, говорят, слушать можно. Берите адрес, это в двух шагах от метро...

Казалось бы, ничего в этот вечер особенного не произошло, застолье, как застолье, лишь по-семейному упорядоченное, но после обещанных песенок хозяина, эдакого раздумчивого речитатива под гитару, что-то в нем тогда определилось, встало на свои места, будто сквозь бурное мелководье верховья реки, когда его, ослепленного стихией, в животной жажде спастись несло без руля и ветрил, неизвестно в каком направлении, он выплыл наконец на ее глубинный простор, откуда земная явь вдруг разомкнулась перед ним во все стороны света.

Все вроде бы в тех песнях звучало и выглядело до примитивности незамысловатым, тоска вечной девочки о вечно голубом шарике-мечте, встреча с никем нагаданной женщиной, которая „на той же улице живет”, упрямый огонек среди непогод судьбы, но их, этих песенок, колдовская стихия самой простотой своей внутренней логики в тот вечер как бы вывела Влада за пределы его представлений о насущном и дозволенном в литературе, властно раздвинув кольцо неприкасаемых табу и обязательных запретов, которые вот так, лицом к лицу оказались невосмделишными, как чудища в детском спектакле.

Даже потом, спустя годы, еще и еще раз вслушиваясь в знакомые слова, уже в записях и переложениях, Влад всегда поражался их самовоспроизводящейся новизне: они неизменно возвращались к нему в прежнем качестве, как тот шарик, что до скончания веков обречен оставаться голубым...

Так и запечатлелось с тех пор: весенний вечер, Москва-река в синих сумерках за окном, гитарные струны в ломких пальцах хозяина и ликующее чувство свободного парения над всем сущим и над самим собой. Бездна соблазном сладостно беспредельного полета поманила Влада, и он, не оглядываясь более, двинулся к этой бездне следом за своим новым поводырем. Где ж ему было знать тогда, что на полдороге поводырь не выдержит, ослабнет духом и свернет на безопасную обочину, оставив ему вместо путевода облегающее волшебство своих песен...

Влад тянулся за ним, словно нитка за иголкой, по всем литературным торжищам и коридорам от „Литгазеты” до Союза писателей, стараясь шагать по-саперному — след в след, не отставая, но и не рискуя забегать вперед, что, кстати сказать, ему было и не по силам. С жадностью и любопытством он изучал за спиной у вожака уже освоенное пространство, вслушивался, вдумывался,

вался, запоминал, не оставлял без внимания даже самые пустячные мелочи, а затем двигался дальше, в покровительственной тени идущего впереди. Этот путь стоил ему, при его врожденной гордыне, многих обид и унижений, но, положив для себя однажды попытаться дойти до сути вещей, он, давясь от яростных слез, поступался собою ради (пусть тщетной, пусть иллюзорной) возможности достичь поставленной цели.

Среда, в которой он волею судеб наконец оказался и к которой так долго и с таким упорством стремился, удивила его прежде всего тем, что жила, существовала, функционировала вне какой-либо зависимости от окружающей ее реальной действительности, как совершенно непроницаемое для породившей ее почвы автономное тело. Естество живой яви отражалось в нем словно в фокусе множества кривых зеркал, обезображенное до неузнаваемости набором искаженных повторений, порождало здесь в людях такое состояние ума и души, что временами Владу казалось, будто его нежданно-негаданно занесло в водоворот некоего фантастического маскарада, где каждый обманывает прежде всего самого себя, а потом уже, все вместе, — друг друга.

Иному неискушенному новичку инопланетяне, наверное, увиделись бы куда более простыми и объяснимыми, чем обитатели этой, почти противоестественной камеры-обскуры, хотя большинство из них — этих ее обитателей — прошло, что называется, огни, и воды, и медные трубы, и кое-что еще, о чем, тем паче к ночи, иному и вспоминать не захочется. Бывшие чекисты и вчерашние лагерники, „завязавшие” блатари и графоманствующие оперуполномоченные, рабоче-крестьянские выдвиженцы и отставные партработники, подающие надежды нимфетки и стареющие потаскухи, стукачи, расстриги, службисты — они несли в себе многое знание падших ангелов, но оно, это знание, не умножало их печали или прозорливости, а лишь облегчало им умение лгать и притворя-

ться друг перед другом, не становясь при этом сколько-нибудь счастливее.

Здесь отпрыск вельможной фамилии, чуть не с пятнадцатого века торчавшей в „бархатной книге”, мог свалиться в инфаркте после получения не той совдеповской побрякушки, на которую он рассчитывал, а почтенный прозаик, оттянув два десятка лет по колымским командировкам и чудом уцелев, перво-наперво, уже с порога, спросить у ошарашенной его появлением жены: „Мне из секции не звонили?” Здесь поэт с европейским именем запивал мертвую только потому, что его не избрали в правление, а два побитых молю версификатора забивали друг друга до полусмерти в споре, кто из них первый стихотворец России. Здесь маститые литературоведы с мировой скорбью на сократовском челе становились смертельными врагами, не поделив места на очередном планерном заседании, а военные романисты из вчерашних окопников плакали навзрыд, будто малые дети, не попав, после унижительных хлопот, в список туристической группы, отбывавшей в Венгрию или Болгарию. Тень Орвелла — печального рыцаря безумной эпохи — витала над этой средой без каких-либо шансов когда-нибудь раствориться или исчезнуть. Оставь надежды, всяк сюда входящий!

Горький океан огромной страны яростно бушевал вокруг, порою даже проникая под здешнюю кровлю, то моровым ветром ежовщины, то гарью большой войны, то мутным похмельем запоздалых реабилитаций, но обжигающие волны его, едва коснувшись гладкой поверхности, откатывались назад, не в состоянии изменить или хотя бы поколебать ее внутреннего монолита. Внешняя явь, сколь бы зримой она ни была, не вызывала здесь особого интереса (и чем зримее, тем меньше!), а лишь скоропреходящую досаду.

Тем более не вызывала здесь интереса прожитая Владом жизнь. Слушая его, окружающие, даже из тех, кто

поспособнее и посовестливее, только снисходительно посмеивались или сочувствовали, относясь к услышанному, как к уходящей в небытие экзотике: довелось, мол, парню хлебнуть, но ведь когда это было, да и было ли вообще!

— Тоже мне проблемы! — говорил ему в таких случаях один подающий надежды молодой критик, недавний золотой медалист школы для дефективных. — Нищий с нищей переспал, бродяжка бродяжке исповедовалась! Девятнадцатый век, а мы, слава Богу, в космическую эпоху живем, учись вон у Икса, какие пласты поднимает: коренная перестройка сельского хозяйства, реформа школьного образования, перевод качества борьбы с религией в духовный план, и без оглядки режет правду в лицо, говорят в Цека за голову хватаются.

— Чего ж тогда печатают?

— Темный ты еще, Самсонов, многого не понимаешь. — „Профессорские” очки на угреватом носу критика вызывающе вздергивались. — Учись, приглядывайся, а не задавай глупых вопросов. Будешь умных людей слушать, поймешь.

Но Влад не понимал. И не хотел, отказывался понимать, почему в доступной ему западной литературе, созданной в мире, где эта самая „космическая эпоха” казалось бы, автоматизировала все чуть ли не вплоть до деторождаемости, герои — издольщики и ростовщики, бродяги и проститутки, клерки и прогоревшие банкиры, рыбаки, шоферы, люмпены — терзались извечными людскими страстями: любовью, смертью, завистью, милосердием, тайной рождения и смыслом жизни, а тут, в стране, где народ (и народы!) годами и годами захлебывался в крови и блевотине, где для половины населения новые кирзовые сапоги были неслыханной роскошью, а для еще большей половины отхожим местом служил собственный участок, где водопровод, „сработанный еще рабами Рима”, даже в областном центре

считался привилегией, а мотоколяска оставалась пределом мечтаний любого инвалида, на страницах книг (к тому же лучших!), в спектаклях и фильмах (к тому же талантливых!) лицедействовали отважные председатели колхозов, заседающие, вопреки начальству, свои поля рожью, а не ананасами, героические изобретатели — враги рутины и бюрократизма, комплексующие стюардессы и кинорежиссеры, физики и лирики с проблемами мюмезонов и сложных аллитераций на задумчивом челе? „Какие, к черту, физики, — хотелось кричать ему благим матом, — какие лирики, какой к евоной матушке „мюмезон“, когда большинство из вас — авторов и исполнителей — каждое утро выстраивается в очередь у коммунальных клозетов с куском „Правды“ в руках для подтирки! Окститесь, окаянные, разуйте глаза и оглянитесь вокруг себя, заживо ведь гниваете!”

Все чаще и чаще яростное недоумение заливало его: как это получалось у стариков, что маленькие и сами сознававшие свою малость чернильные души, вроде Башмачкина, из Богом забытых департаментов, под пером разрастались до гигантских размеров, оставаясь в памяти поколений живым укором и поучением, а в обступавшей его литературе полные генералы и сановники высшего ранга титаническими усилиями нынешних сочинителей превращаются в ряженных в ослепительные мундиры титулярных советников? Лишь спустя много лет до него дошло, что этим читатель обязан плодам всенародного просвещения: Башмачкины больше не желают быть героями литературы, они взялись ее делать.

И конечно же, взявшись за перо, они, по мере увеличения личной продуктивности, свято уверовали в свою исключительность, дающую им право взирать на окружающее и его обитателей, как на объект для самоутверждения или материального обогащения. Мир в их сознании четко делился по водоразделу „они” и „мы”, то есть те, кто прозябает в колхозах, тянет лямку на произ-

водстве, просиживает стулья в присутственных местах, штурмуя по утрам транспортные средства, а вечером выстаивая в очередях, и те, которые считали себя вправе воссоздавать их жизнь на бумаге по своему произволу и усмотрению, заливая совесть горячительными напитками под дефицитную закуску из закрытых распределителей. Гусь свинье не товарищ.

Влад чувствовал себя здесь случайным гостем, чужаком, иностранцем, занесенным сюда попутным ветром капризной удачи, тоскливо изнывал, пытался внутренне сопротивляться общей инерции, но когда становилось невмоготу от этой ярмарки тщеславия и самодовольства, он безоглядно устремлялся в сладкую пропасть пьяного забытья, откуда навстречу ему выносились, будто фантом за фантомом, отстоявшиеся потом в памяти видения...

Сквозь похмельное пробуждение распахивалась перед ним залитая ослепительным светом августовского утра аудитория МГУ на Моховой, в глубине которой маячило неизменно смеющееся, в рыжей щетине лицо чеха Франтишека, бежавшего из туристической группы вместе со своим запившим гидом Славкой Сарычевым, непризнанным стихотворцем и давним собутыльником Влада по литературной богеме.

— О-го-го-го! — приветствовал его пробуждение не знающий ни слова по-русски беглый чех и подмигивал ему, выпрастывая откуда-то из-под ног едва початую четвертинку. — Хо-хо!..

Чернильный рассвет ранней зимы линял над ним в окнах загроможденного допотопной фауной зала Зоологического музея, где в укромном месте за скелетом динозавра старик сторож угощал его очищенным по собственному рецепту формалином под валидол вместо закуски.

— Ох, крепка, — выщедив свою долю, мотал сивой головой сторож, — поссать пойдешь — сапоги прожигает...

В лабиринте автомобильного затора, сквозь выюжную замая мокрого снега скользила от подъезда школы-студии МХАТа хрупкая девочка в мальчишеской шапке — Люда Гаврилова — с умоляющим криком на горячих гудбах:

— Не трожьте его, я его знаю, я отвезу его домой, ради Бога, отпустите человека, отпустите же!..

Страхивая с себя мучительное наваждение и приходя в память, Влад принимался поспешно освобождаться от распиравших его слов и видений и бумага корчилась у него под рукой под их лихорадочным напором. „Наконец-то, наконец-то, — грезилось ему, — вот оно — настоящее, теперь само пошло, не остановишь!”

Но, видно, в обманчивой легкости, с какой выстраивались у него строчки, таился коварный подвох, если всякий раз, когда он отдавал их на суд вновь обретенному другу, тот, небрежно листая рукопись, морщился:

— Ну, сам посуди, Влад, кому это нужно? — Желтые, с темным отливом глаза его светились досадой. — Опять какие-то Богом забытые типы, ни то ни се, сплошной горьковский маскарад, не более того, только еще на церковный лад, брось ты эту свою ахиною, возьми за настоящую тему, смотри вон Г. в новой вещи какой пласт поднял — молодежь после двадцатого съезда, или возьми нашего с тобой приятеля Борю М., о предвоенных мальчишках, завтрашних фронтовиках замечательную вещь выдал, Гаустовский, говорят, плакал, а это на, бери, спрячь и больше никому не показывай.

Влад выходил от друга, и небо над ним выглядело в овчинку, и солнце казалось черным. „Что же тогда делать мне, если они есть — эти люди? — изводился он горьким недоумением. — Я с ними жил, ел, пил, спал, работал, их миллионы, им нет никакого дела до двадцатого съезда или духовного кризиса интеллигентных мальчиков, у них просто нет времени, чтобы об этом думать, они заняты одной-единственной заботой от колыбели до

гробовой доски: как прожить, прокормиться, просуществовать, неужели их судьба не представляет никакого интереса и не стоит слез Паустовского?”

Нет, с этим Влад смириться не мог, не хотел! Смириться с этим означало для него предать тех, кто остался у него за спиной, продолжая отчаянно выживать в том мире, где день начинался с мыслью о куске хлеба, а ночь с надежды на милость Всевышнего.

И Влад писал, писал и писал. И только о них.

## 6

Пройдет достаточно много лет, в течение которых медленно, но неумолимо забудутся, истлеют на полках, пойдут под картонажный нож пухлые фолианты об идейно комплексующих мальчиках, находящихся в конце концов внутреннее удовлетворение в общественно полезном труде, об одиночках-изобретателях, преодолевающих бюрократическую косность, о радикальных хозяйственниках — победителях советского бездорожья и разгильдяйства, а его, осмеянные и обруганные даже самыми близкими ему людьми, неказистые опусы с их „горьковским, только на церковный лад маскарадом” будут заново и заново возрождаться во множестве изданий, захватывая в поле своего притяжения все новых и новых читателей. Кто ответит, в чем здесь секрет? Сам он и не может ответить на этот вопрос до сих пор.

С тем давним своим другом ему придется встречаться еще не раз, но знакомые песни, не теряя своего печального обаяния, уже не вызовут в нем того захватывающего дух ощущения раскрепощенного полета, какое охватило его тогда на Фрунзенской набережной в тот первый вечер их неожиданного знакомства. Мир вокруг нас катастрофически линяет, и голубой шарик на этом стерильном фоне начинает казаться тем, чем он

является на самом деле — просто детским шариком, а не знаком судьбы.

„Боже мой, — тоскливо возопит Влад, — ради того ли мы когда-то нач нали и к тому ли рвались, чтобы прийти к такому концу, а жизнь-то наша ведь на исходе, на излете, на последнем, можно сказать, издыхании. Люди добрые, караул!”

Такие дела, дорогой, такие дела, из песни, как ни крути, ненаглядный, слова не выкинешь. Как труп в пустыне я лежал.

## 7

С утра как заколодило. Слова под рукой теряли цвет и объем, фразы беспомощно рассыпались, диалог развивался через пень колоду. То, что вчера еще выглядело таким легким, почти летучим и податливым, сегодня отвердело, высохло, стало мертвым. Казалось, бумага корчится у него под рукой, отказываясь воспринимать словесную шелуху. Нетерпеливое желание высказаться обо всем, что плавилось в нем, не находило выхода, словно запекаясь полым шлаком в горловине кратера клокочущая внутри лава. „Господи, — тягостно мутило его, — неужели выдохся, ведь толком и начать-то не успел?”

Осторожный стук в дверь несколько облегчил Влада, обещая временную, но, может быть, спасительную передышку:

— Чего стучать, открыто!

Мгновенно на пороге объявился молодой человек в импортном плащике по моде — до колен, при фирменном галстучке на резинке, над которым светилося дружелюбной, чуть ли даже не умильной улыбкой тугое, курносое, с ямочкой в безволосом подбородке лицо:

— Здравствуйте, товарищ Самсонов, — распахнув настежь дверь, он так и остался стоять на пороге, — я из „Литгазеты”, Валерий Алексеич Косолапов вызывает вас по срочному делу. — Говорил он слишком заученно, намеренно громко, скорее, не хозяину, а кому-то у себя за спиной в кухне. — Я на машине.

Ситуация представилась Владу вполне прозрачной, удушливый холодок подкатил к горлу, но, стараясь оттянуть время, чтобы успокоиться, он принялся отвечать короткими фразами, все удлинняя их по мере обретения полной ясности:

— Закройте сначала дверь. Мои соседи все равно не знают, кто такой Косолапов. Это во-первых. Во-вторых, Валерий Алексеич приезжает в редакцию к одиннадцати. Сейчас половина десятого. В-третьих, я не такая фигура, чтобы главный редактор „Литгазеты” чуть свет присылал за мною нарочного, а в-четвертых, я знаю в редакции всех и каждого, включая кошек, вас мне там встречать не приходилось. Давайте начистоту, я не мальчик — не разревусь.

Тот послушно закрыл за собой дверь и, умоляюще скрестив на груди короткопалые руки, потек мольбой и елеем:

— Вы не подумайте ничего плохого, товарищ Самсонов, теперь другие времена, мы восстановили социалистическую законность, опять же принципы товарища Дзержинского, руководство хочет побеседовать с вами по-дружески, как старший товарищ, как отец, без всяких формальностей, за стаканом чаю...

— Чай не водка, сами знаете, — входя в роль, подыграл ему Влад, — много не выпьешь, чего нам с вами в прятки играть, ехать-то все равно придется?

Тот потупил глаза, вздохнул соболезнующе:

— Придется.

У ворот их ждала новенькая, с иголки „Победа”. По дороге спутник не переставал оправдываться и уговаривать его:

— С беззаконием у нас теперь покончено раз и навсегда, товарищ Самсонов, все старье вычищено под корень, из старшего поколения остались только честные, незапятнанные работники: учить нас — молодежь, передавать нам, так сказать, опыт. Возьмите, к примеру, меня, я сам еще недавно в обкоме комсомола сектором внешкольной работы заведовал, но партия приказала в органы, а я — солдат партии, товарищ Самсонов. И таких, как я, у нас в организации теперь большинство. У нас другие методы, мы не караем, мы — воспитываем. Что говорить, сейчас сами увидите...

Воспринимая парня вполуха, Влад неотрывно смотрел на бритый, в первой седине затылок шофера, надменная молчаливость которого едва заметно — зоркими поворотами головы из стороны в сторону, покачиванием округлых плеч в такт виражам машины, легкими, будто невзначай, покашливаниями — выражала откровенное презрение к тому, о чем толковал Владу его спутник. Видно, за свою жизнь этот сидящий чекист перевозил у себя за спиной столько всякого народу и переслушал столько всяческих речей и заклинаний, что никакие нововведения были уже не в состоянии поколебать его уверенности в жалкой тщете каких-либо разрушительных попыток: мы были, мы есть, мы будем!

Если бы у Влада спросили, что более всего бросилось ему в глаза в здании, куда его привезли, он, не задумываясь, ответил бы: „Бесшумность”. Равнодушный ко всему, похожий на глухонемого, часовой, внимательно изучив удостоверение парня, бесшумно отсалютовал, бесшумный лифт бесшумно поднял их на четвертый этаж, по бесшумным, благодаря цельному ковру, коридорам они дошли до двери, как две капли воды похожей на все остальные, спутник бесшумно потянул ее на

себя, сунул в открывшийся просвет голову и сразу же отпрянул назад, коротким кивком приглашая Влада войти, а сам оставаясь в коридоре.

Кабинет оказался довольно скромным, с двумя канцелярскими столами, расставленными буквой „Г”, и большим окном, выходящим в затененный соседними зданиями двор, отчего все здесь выглядело сумрачно и уныло.

— Здравствуйте, здравствуйте, Владислав Алексеевич, — из-за стола, стоявшего торцом к двери, навстречу ему выкатился небольшого роста рыжеватый крепыш лет сорока пяти в ладно скроенном двубортном костюме, — давненько хотел с вами познакомиться, да все, знаете, дела, дела, работа у нас, сами знаете, круглые сутки без выходных и праздников. — Он тоже, как и его подчиненный, прямо-таки излучался доброжелательным радушием. — Наслышан, Владислав Алексеевич, наслышан, слухом, надеюсь, догадываетесь, — доверительно подмигнул он, — земля полнится. — Подхватив Влада под локоток, он повлек его к стулу за столом у окна. — Давайте знакомиться, Бардин Михаил Иванович. — И, дружески заглядывая в глаза. — Чаю? — Но тут же подмигнул вновь, все с тою же доверительностью, явно подчеркивая этим степень своей осведомленности. — Или, как там теперь говорят, чай — не водка, много не выпьешь? — В этот момент у него даже лицо осунулось от душевного сокрушения. — Рад бы в рай вместе с вами, Владислав Алексеич, но у меня закон: на работе — ни-ни. Вот как-нибудь на досуге, в хорошей компании, а то и тет-а-тет, как говорится, соберемся и разопьем бутылочку-другую армянского, а сейчас давайте займемся делом. — Но и в его деловитости сквозил все тот же игривый душок. — Мы, Владислав Алексеич, хотели посоветоваться с вами, есть мнение организовать при Московском отделении Союза писателей молодежное объединение, что вы думаете по этому поводу?

Влад с самого начала решил принять навязанный ему тон, чтобы укрепить в собеседнике уверенность в безошибочности примененного к новичку метода.

— Есть мнение, говорите? — дурачась, осклабился он.  
— Это у кого же?

— У нас, Владислав Алексеич, у нас, в Комитете государственной безопасности. Ну-с?

— Зубатов когда-то тоже пытался, — по-прежнему дурашливо отшутился Влад, — к сожалению, не вышло.

— Мы всерьез, Владислав Алексеич.

— Да ведь он тоже не в бирюльки играл.

— Вы, я гляжу, шутник, Владислав Алексеич. — Лицо у него сделалось словно у обиженного ребенка. — По-вашему, конечно, мы все здесь звери и бюрократы, только и думаем, как бы кого поймать и посадить, а у нас тоже обо всем душа болит. Вы что же считаете, мы не видим недостатков, безобразий, упущений всяческих? Видим и боремся с ними, вот вы нам и помогите, Владислав Алексеич, — отвердевший взгляд его пристально уперся в переносицу собеседника, — ведь вы же советский человек?..

Возникшая вслед за этим мимолетная пауза вобрала в себя долгие перипетии их мысленного ристалища:

„Вот приходится с тобой возиться, разговоры разговаривать, рвань несчастная, ничего не поделаешь, такие времена, лет десять назад ты бы у меня дерьмо собственное ел, мочой умывался, сукин сын, а нынче терпеть приказано, воспитывать себе на голову. Хотя, шут тебя знает, может, из тебя еще и толк получится, молодая дурь играет, перебесишься — поумнеешь, кто в молодости не чудил? Не глуп, но прост, хоть и артачишься, и доверчив, приручить можно, только потихоньку- полегоньку, самолюбив больно, чуть пережмешь — сорвешься..”

„Знаю, знаю, чувствую, что ты обо мне думаешь, но ошибаешься, уважаемый, как до тебя ошибались многие и многие, не по плечу я тебе, не по зубам, хотя волк ты,

кажется, опытный. Пока ты меня изучал, пока делал выводы, я менялся, впитывал, как губка, все, что слышал, видел, читал. И чем больше я впитывал, тем больше становились мои претензии к самому себе. И так всегда было, и так всегда будет. Нет у тебя, и у тех, кто выше тебя, и у тех, кто еще выше, таких золотых гор, таких молочных рек, таких кисельных берегов, чтобы посулить мне. Мне все равно будет мало, я большего хочу, а чего и сам не знаю, чувствую только, что не по карману тебе и твоим начальником эта плата...”

„Наши из Союза писателей докладывают, что талантлив, мне на это, откровенно говоря, наплевать с высокой колокольни, не такие таланты у нас под себя ходили, но есть указание воспитывать, значит, будем воспитывать. Биографию твою я изучил, как свою собственную: из рабочей семьи, отец, правда, с троцкистами путался, но скорее по честлюбию, чем из убеждений, да и какие там убеждения после армейского ликбеза, беспризорничал, побывал в семи колониях, судим, отбывал в детском лагере, бежал, разумеется, пойман, иначе и быть не могло, мы не задарма деньги получаем, отправлен на экспертизу в вологодскую психбольницу, признан душевнобольным, „липа”, но мне и это сгодится, сговорчивее будешь, колхоз, газета, московские знакомства, разговоры — все на учете, копии милицейских протоколов и те к делу подшиты, очень трепыхаться не советую, а если действительно голова на плечах есть, то и договоримся...”

„Зря, зря стараешься, гражданин начальник, одно обещаю, что дам тебе время для заблуждений, оно мне самому, это время, нужно, я еще только начал, я еще бреду почти вслепую, мне раньше времени в петлю лезть себе дороже, поэтому я должен позволить тебе сыграть роль кошки, но как бы, гражданин начальник, в конце концов нам не поменяться местами: я от бабушки ушел,

я от дедушки ушел, а от тебя, рыжего, и подавно ускользну, была бы только ночка, да ночка потемней!..”

А вслух у них складывался совсем иной разговор:

— Вы же умный человек, Владислав Алексеич. — Влад еще с беспризорных своих лет усвоил, что такое начало всегда рассчитано именно на дураков, но виду не подал, позволяя собеседнику выговариваться первому, так надежнее, — подумайте сами, зачем нам озлоблять творческую молодежь, толкать ее на нелегалыщину, мы хотим помочь вам публиковаться, найти для вас место, где вы могли бы обсуждать литературные и другие проблемы в нормальной обстановке, а не по подвалам — Бог знает с кем. Прошу извинить за банальность, но враг-то — он действительно не дремлет, а к вам уже, как нам известно, иностранцы зачастили, а мы этих самых иностранцев знаем, как облупленных, за редким исключением — сплошная агентура, мягко стелют, да жестко спать будет. — Белесые брови его вопросительно вскинулись, но в белых глазах вопроса не было, был вызов. — Давайте откровенно, Владислав Алексеич, без околичностей, а?

— Эх, Михаил Иванович, — Влад решил играть роль до конца, — не все ли равно, где пить, что в подвале, что в Доме литераторов, ухо у вас и там и там есть, не спрячешься, а вот если ребятам печататься поможете, польза будет, сбросить пар давно не мешало бы, взорвет — хуже получится, журнал позарез нужен, у стариков нам не пробиться.

Пожалуй, впервые с начала встречи в быстром, вскользь, искоса взгляде Бардина промелькнула неподдельная заинтересованность с примесью некоторого даже удивления, как бы вдруг продолжив их молчаливое единоробство:

„Э, да ты не так прост, как я погляжу, что ж, пощупаем тебя и с этой стороны, учтем, и это учтем, человек вроде луковицы, сколько слоев снимешь, пока до сердцевины доберешься, но мне спешить некуда, на меня

время работает, раздону, как миленького, никуда ты от нас не денешься, ты себе на уме, а я себе, посмотрим, чей козырь старше. Тактику только, видно, с тобой придется прокорректировать, оперативные данные для нас не догма, а руководство к действию...”

„Не спеши, не спеши, гражданин начальник, опять ошибешься, не гадай попусту, нету у тебя ко мне ключика и не будет, не подберешь, отмычка тоже не годится, щели во мне нет, был бы ты подальновиднее, раздавил бы и — концы в воду, ни шума, ни памяти, кто он такой, этот самый Самсонов Владислав Алексеич, был и нету, только ведь не догадаешься, потому что привык, приучили решать задачки в пределах четырех правил элементарной арифметики, а тут тебе даже не высшая математика, что тоже не так уж сложно выстроить, тут, может быть, термоядерная, пусть маленькая, но такая же неуправляемая стихия, попробуй, найди ей магнитное поле, чтобы на месте удержать...”

Это их заключительное столкновение спрессовалось в считанные мгновения, после чего Бардин придвинул к себе настольный блокнот, открыл, с маху выдернул из пластмассового стаканчика карандаш, что-то записал и, вырвав листок из блокнота, протянул его через стол Владу:

— Благодарю вас, Владислав Алексеич, за беседу, мне это помогло кое в чем разобраться, вот вам мой телефон, если что, звоните, не стесняйтесь, я всегда на месте, когда нет, вам скажут, где меня искать.

— Собственно, зачем, — попробовал было отбойриться Влад, — понадобится, найдете ведь.

— Найдем, — спокойно согласился тот. — Но всякое может случиться, Владислав Алексеич, — и будто невзначай, — вы ведь, кажется, на учете в психдиспансере? — И опять как ни в чем не бывало: — Берите, берите, можете звонить, можете не звонить, ваша воля, я к вам в приятели не навязываюсь, для вашей же пользы предла-

гаю, выбросить никогда не поздно. — Он нажал кнопку звонка, выкатился из-за стола, жестом приглашая Влада к выходу, а у двери протянул руку. — До свидания, Владислав Алексеевич, рад был познакомиться. — И уже обращаясь к мгновенно возникшему на пороге недавнему Владову спутнику: — Проводите товарища, Виктор Семеныч.

В их скрестившихся напоследок взглядах, словно в двух сабельных ударах, молча определились занятые ими позиции:

„По нулям, гражданин начальник, — подытожил Влад, — ничья”.

„Нет, — было ответом, — игра не кончена, после перерыва начнем снова...”

Теми же коридорами, на том же лифте, мимо того же истукана-часового они вышли на Кузнецкий, где спутник Влада, все так же расплываясь дружелюбием, протянул Владу руку:

— Всего хорошего, товарищ Самсонов, я же говорил вам, что у нас теперь полный порядок, а по душам почему не поговорить — и вам и нам полезно, мы же все советские люди. До свидания.

Тот мигом исчез, откуда появился, а Влад остался стоять среди людной улицы с листком бумаги во вспотевшей руке. „Надо уезжать, — было его первой мыслью после всего только что происшедшего, — эти, если вцепятся, не отстанут”.

И сразу пришло решение: в Казань.

## 8

Спустя несколько лет, прочитав „Хранителя древностей” Юрия Домбровского, Влад вспомнил историю с бардинским телефоном, точь-в-точь похожую на ту, что произошла с одним из героев этого романа. „Телефон-

ный” прием был, оказывается, обычной в ряду многих приманок, бросаемых здесь, как правило, наугад, так сказать, вслепую, но постоянно отзываясь в памяти, она, эта приманка, дразнила воображение, тревожила, обольщала и притягивала, как притягивает слабую душу близкая бездна. В конце концов нехитрый расчет оправдывал себя: сколько числится их в потайных списках, этих человек, уловленных таким размашистым неводом?

Уже потом, на чужбине — в уличной толчее, в русском ресторане, среди диссидентских собраний и на эмигрантских посиделках — перед ним не раз возникали лица, отмеченные каиновой печатью „телефонного” образца. Их нетрудно было узнать по вызывающей агрессивности в затравленных глазах, по претензиям на исключительную демократичность, по неизменной готовности перед угрозой разоблачения прикрыться „сению закона”, с пеной у рта требуя неопровержимых улик и юридических доказательств, как будто бывшему заключенному нужно гадать, кто его сосед, если тому разрешается дополнительный паек или вольное хождение за зону.

От яростного соблазна обрушить на гадину карающий кулак его в такие минуты удерживала только инстинктивная вера в то, что наступит все же наконец время последних итогов, когда, как было сказано, мы назовем их поименно, ибо страна должна знать своих стукачей!

## 9

Волга в ту весну распласталась особенно мощно. Прибрежные крыши, казалось, плыли над водой, которая, разлившись по впадинам и низинам, просматривалась до самого горизонта. По утрам со стороны реки тянулась волокнистая вата тумана, и тогда поселок выглядел, будто скопище перегруженных барок, дрейфующих на плаву под парусами шиферных кровель. С каждым днем

тяжесть влажного воздуха все более насыщалась запахами лесной трухи и разбухающей древесины. Еще одна весна переписывала черновик земли, чтобы уже в следующем году начать все сначала.

Из сторожки на пригородной станции Обсерватория, где обосновался Влад, стоявшей на взгорье, окрест гляделся, как на ладони, широко распахнутый на три стороны света. По утрам, наскоро растопив печку-временку и кое-как сготовив себе немудреный завтрак, он садился за стол, и у него под рукой принимался возникать знакомый мир его дворовой поры:

„Жизнь Василия Васильевича текла своим чередом. Неожиданный приезд брата и его внезапное исчезновение не нарушили ее безликого однообразия. С утра до вечера сидел он, сгорбившись, перед лестничным окном второго этажа во флигеле и оттуда — как бы с высоты птичьего полета — печально и трезво оглядывал двор. За вычетом ежемесячной недели запоя, Лашков просиживал там ежедневно — зимой и летом. Он подводил итог, зная, что скоро умрет”.

Видения возникали перед ним одно за другим, и люди, которых он знал и помнил, заговорили в нем своими подлинными голосами, вызывая у него чувство естественной сопричастности к их жизни, судьбе, страстям и волнениям.

Пронзительный запев трехрядки плыл к нему из далекого сокольнического далека под хмельной тенорок Ивана Левушкина:

„Бывало вспашешь пашенку...”

Следом за ним, пронизывая слух, несло из пространства умоляющее храмовское:

— Что же ты плачешь, Иван Никитич? Что же ты плачешь? Ты же класс-гегемон. Все — твое, а ты плачешь. Тебе нужно плясать от радости, петь — от счастья. Земля — твоя, небо — твое. Исаакиевский собор — то же. А ты плачешь, Иван Никитич. Или тебе мало? Исаакия мало?

Метрополитен бери. Плачешь? Плачет российский мужик. Раньше — от розог, теперь — от тоски. Что же случилось с нами, Иван Никитич? Что?

И, словно отвечая тому, отдаленно гудел голос участкового Калинина:

— Заруби, Лашков, не таких, как ты, нынче к стенке ставят. Там не спрашивают, сколько у тебя огнестрельных, а сколько осколочных? Там спрашивают, где и когда завербован? Знаешь как? Вот то-то.

Все звучало и двигалось перед его глазами, в том виде и с тою естественной рельефностью, какие сообщало происходящему действию освобожденное от мелочей памяти воображение, когда чудо выдумки становится убедительнее самой реальности. Явь прошлого парила в нем, распахивая его душу навстречу краскам и голосам. И вырвал грешный мой язык.

К вечеру, когда все глохло в нем от усталости, а сердце принималось млеть и томиться, Влад спускался вниз, к дому обсерваторского шофера Вани Никонова, где вел с хозяином разговоры, что называется обо всем понемногу: сам под бутылочку, а тот — некурящий трезвенник — под чаек.

Жена шофера — Таисия — бабенка живая и ухватистая, привечала Влада с особой ласковостью, объясняя свое радушие с обескураживающей откровенностью:

— Мужиком в доме запахло, — любовно светилась она в сторону мужа озорными глазами, — а то ведь что такое, у всех мужья, как мужья: и пьют, и курят, только у меня одной такой малохольный, кроме чая, ничего не потребляет, одно название, что мужик, горе мое!

В ответ Иван только посмеивался, прихлебывая чаек, покачивал чубатой головой, подмигивал гостю:

— Во дает баба, скажи, а ей бы алкаша какого ни на есть, чтобы он ей тут провонял, просмолил все да еще бы за косы по пьянке таскал, это у нее мужик называется,

да таких мужиков пруд пруди, только свистни, отбою не будет, вот она тебе, бабья логика!..

Этой игрой при нем хозяйева принимались заниматься, едва Владу стоило переступить их порог. На самом же деле любили они друг друга без памяти, жили душа в душу, и ничто не могло омрачить их брачный союз, даже отсутствие детей.

По воскресеньям с полуночи Иван увозил Влада на один из речных островов, и там, в ивняке, у костра изливал перед ним свою переполненную счастьем душу:

— Ты писатель, тебе все надо знать, глядишь, пригодится, в книжку вставишь, как у меня с Таисией началось, ни в сказке сказать, ни пером описать, кому другому Расскажи, не поверит. Знал бы ты, Владислав Алексеич, как я пил, страшно, по-черному, я и за рулем сроду трезвым не сидел, а уж когда калым или, там, получка, то не приведи, Господи, что тут начиналось! Со всех работ повыгоняли, до ручки дошел, по чайным, поверишь, из стаканов, из кружек допивал, совсем с круга сошел, ни кола ни двора, в одних обносках по вокзалам, по товарнякам ночевал, а впереди, как в песне поется, ни зги не видать. Таиска моя меня тогда на вокзале и подобрала, она тогда там уборщицей работала посменно, привезла к себе, обмыла, обстирала, одежонку кой-какую исхитрилась справить на первый случай, а когда я в себя от чертей пришел, сказала мне свое женское слово: „Слушай, — говорит, — меня, Ваня, и не обижайся, отходить я тебя отходила, можешь оставаться, можешь идти на все четыре стороны, но коли во второй раз с рельсов сойдешь, дуры такой, вроде меня, не отыщется, не надейся! Возмись ты за ум, молодой ты еще совсем, здоровый, со специальностью, брось ты это дело, пропадешь ведь ни за что ни про что, а теперь — твое дело решать, как дальше жить будешь, я тебе все сказала, больше нечего”. И тут, поверишь, Владислав Алексеич, здоровый я лоб, в жизни не плакал, а тут повалился я ей в ноги: „Прими, —

говорю, а сам навзрыд, — меня, Таюшка, какой я есть теперь, некуда мне от тебя идти и незачем, а я тебе ноги буду мыть, юшку пить”. В этом месте Иван прервался, видно, вновь переживая тот первый их разговор, потом коротко выдохнул, откидываясь на траву: — Так и живем с тех пор, дай Бог всякому...

Над студеной рекой занимался тусклый рассвет, тихие ивняки высвобождались из ночного тумана, рыба оживала, поплескиваясь у самого берега, мир вокруг просыпался для нового дня и новых забот, в которых только что услышанная здесь судьба двух людей — лишь крохотная частица вещей судьбы человеческой.

„Боже мой, — удивлялся и не переставал удивляться Влад, — еще две жизни, а сколько их оставлено за спиной и сколько предстоит впереди! Запомнить, все запомнить, ничего не забыть, больше ведь и сказать об этом некому, не удосужатся, мимо пройдут”.

Потом наступал еще один рабочий день, и следующая страница оживала у него под рукой, где смеялись и плакали, рождались и умирали, любили и ненавидели, голодали, бродяжничали, стрелялись и поднимались вновь для другой жизни маленькие, забытые даже собственными близкими люди.

— Мы слабы в своих желаниях, — тосковал один из них. — Нам всего подавай сейчас, немедленно, еще при жизни. А когда нам отказывают в этом, мы в конце концов стараемся удовлетворить свои страсти силой. И так из поколения в поколение, из века в век льется кровь, а идеалы, ради которых якобы льется кровь, увы! остаются идеалами. Переделить добытое, конечно, куда легче, чем умножить его. И к тому же для этого требуются терпение и труд. А терпения-то и нет, и работать не хочется. И пошло: „Бей, громи, однова живем!” Ты понимаешь меня, Лашков?

А тот, в свою очередь, прежде чем навеки смежить глаза, вторит ему, взывая к соплеменникам и к самому себе.

— Что мы нашли, придя сюда? — думал он их мыслями. — Радость? Надежду? Веру? Вот ты, Цыганиха, растерявшая все? Ты — Левушкин? Где твой сын-дантист? Ты — безумный Никишкин? Что мы принесли сюда? Добро? Теплоту? Свет? Кому? Меклеру? Храмовой? Козлову? Нет, мы ничего не принесли, но все потеряли. Себя, душу свою. Все, все потеряли. А зачем? Зачем? Ведь в каждом из нас жило доброе слово и, может быть, живет еще. Живет! Лева знал, что говорил: „Плачьте, плачьте, люди, у слезы тоже сила есть!”

А вечером, когда почти в изнеможении Влад сходил к знакомому дому под горой, к нему подступался еще один, уже завтрашний его герой:

— Вот ты писатель, Владислав Алексеич, инженер, так сказать, человеческих душ, все, значит, науки превзошел, скажи мне, разъясни, зачем люди живут вообще, какая в этом загадка? В муках нарождается человек, в муках помирает, а уж сколь за жизнь намается, нахлебается всякого, и говорить нечего, а иному и вовсе бы на белый свет не вылезать, калеки там, слепые, глухие, уроды всякие, а посмотришь — все равно за жизнь изо всех сил цепляются. Я вот одного знал, куда б ему вроде жить, не жизнь, а одно название — родился, завместо рук две культи, все ногами делал: ел, пил, прикуривал, и смех, и грех, даже в протоколе расписывался, а скажи ему помереть, таким матом загнет, что мильтоны, на что битый народ, и те удивлялись, слова списывали. И потом, отчего одному пышки, а другому одни шишки со слезьми в придачу, по какой такой сетке? Ты, Владислав Алексеич, книжки пишешь, научи уму-разуму: у кого спросить, кто ответ по совести даст, где правды искать, с кем об этом разговаривать?

Таисия хлопотала вокруг них, посмеивалась:

— Вот оглашенный, и чего языком мелет, будто понимает чего, иной раз такое загнет, хоть святых выноси, что тут думать, все живут и ты живи, авось не умнее других.

Но здесь она была не права. Вопросами ее домашнего философа мучались люди с тех пор, как началась человеческая история, и, знать бы ей, какие люди! В других обстоятельствах и в другой среде из таких вот Никоновых выходили Сократы и Аврелии, Савонаролы и Руссо, а у нас Аввакумы и Пастернаки: „Во всем мне хочется дойти до самой сути...” Но, видно, придется этому Ивану так и закончить шофером на станции Обсерватория, что на Казанской железной дороге. А жаль, этот парень, на взгляд Влада, заслуживал лучшей участи.

По обыкновению, Иван увязался провожать его, они вышли в ночь, продолжая начатый в доме разговор.

— Алексеич, ты на меня не сердись, я человек малограмотный, — продолжал терзаться своей мукой Иван, — у кого ж мне еще спрашивать, как не у тебя, другого-то раза не будет, не встретимся ведь больше.

— Кто знает, Ванек, кто знает.

— Есть Бог, Алексеич, как ты думаешь?

— Самому, Ваня, у кого спросить бы.

— Эх, Алексеич, не хочешь ты со мной по-серьезному говорить, не ровня я тебе.

— Честно тебе говорю, Иван, сам не знаю, сам у людей спрашиваю...

С этим разговором они шли через разреженный лес, поднимаясь в гору к темнеющей впереди обсерваторской сторожке. С Волги тянуло водяной мощью и дымом рыбацких костров, отдаленные гудки пароходов и самоходных барж звучали в размашистой ночи, словно потерянные, тьма вокруг казалась полой и бесконечной, как в полете долгого сновидения. И Владу внезапно подумалось: „А действительно, у кого спрашивать?”

Но, едва засветив лампу на столе, он вдруг озаренно зашелся: „Да что же это я до сих пор гадаю, а ведь тут и гадать нечего: что значит „у кого”, у Господа, у кого же еще!”

И концовка вещи вылилась тут же, на одном дыхании:

„Василий Васильевич даже подался весь вперед и вдруг увидел в глубине двора, там, где когда-то стоял штабелевский дом, старуху Шоколинист. Черная и крохотная, она стояла, беззвучно шевеля губами, и постепенно вырастала, увеличивалась в его глазах, пока не заняла неба перед ним, и он рухнул на подоконник, и, наверное, только земля слышала его последний хрип: — Господи...”

Чувство почти головокружительного облегчения повалило его на скрипучую койку, и он не выдержал этой легкости, заплакал навзрыд, как ребенок, а когда затих и провалился в забытие, сны ему снились тоже ребячьи: текучие, цветные, с ликующими парениями над землей и упоительным скольжением по высоким травам.

Утром Влад быстро собрался, благо собираться ему было, как говорится, только подпоясаться, и подался было к станции, но Иван, едва узнав от него об отъезде, только укоризненно помотал чубом:

— Ну нет, Алексеич, не знаю, как у вас там в столицах, а у нас, темных, так не делается, мы добрых людей без пососка еще не провожали, хотя, если брезгуете, то оно конечно. И потом, какая же станция, если я за рулем, здесь до Казани доплюнуть можно.

Таисия тоже поджала губы:

— Столичному человеку чего ж с нами, лапотными, стесняться...

И Влад, как ни спешил, сдался. Пососком не кончили, а только начали, Иван чаек свой похлебывал, а гостью Таисия подливала да подливала, поэтому, когда, с

помощью хозяина, он наконец очутился на вокзале в Казани, его уже понесло вовсю и несло всю дорогу до Москвы и в одиночку, и в случайных компаниях, и в другую разную перемежку, под гул и говор тех самых „зеленых” вагонов, в которых испокон веков в России неизменно только и делали что „плакали и пели”.

Сокольники встретили Влада солнечной майской благодатью, в какой медленным снегопадом кружился пух уличных тополей, под которым дом на Митьковской выглядел, как отставленная за ненадобностью театральная декорация.

Едва увидев племянника, тетка только руками всплеснула:

— Это где же тебя, голубчика, носило, в каких полях леживал! Сдирай-ка свои манатки тетке на обработку да ложись-ка спать, хорошенького понемножку...

До ночи она отпаивала Влада крепким чаем, пичкала молоком, даже ухитрилась кое-как вымыть его перед сном, а когда утром он окончательно пришел в себя, подала ему распечатанную телеграмму: „Просьба зайти оргсекретарю московского отделения союза писателей товарищу ильину ве эн”.

## 10

Проскакал на розовом коне...

## 11

Это был дом, где дела делались так же быстро, как и сказывались сказки. Влад заглядывал сюда и раньше, но только в компании с каким-нибудь уже „обилеченным” литератором, чаще всего с Булатом Окуджавой. Пьянка здесь начиналась где-то после полудня и, стремительно

раскручиваясь, заканчивалась уже около полуночи, после чего наиболее стойкие и настырные растекались по более поздним артистическим кабакам, откуда для окончательно загулявших оставалась одна дорога — в аэропорт Внуково, где поили до трех. Гей да тройка, снег пушистый! Хотя и в августовскую жару маршруты оставались те же самые.

Правда, на втором этаже, где как раз и делались, вернее, обдывались эти самые сказочные дела, Владу бывать не приходилось по той простой причине, что доступ туда ему, как нечлену этой почтенной организации, оставался заказан.

Но свободно, с помощью чудодейственной телеграммы войдя сейчас сюда и поднимаясь по священной лестнице на парящий где-то в заоблачных высях второй этаж, Влад испытывал не чувство благоговения, — о нет! — а торжество триумфатора, возносимого капризной фортуной на давно заслуженный им его личный Олимп. Король умер, да здравствует король!

В приемной царственная секретарша (оказавшаяся, впрочем, впоследствии весьма достойной теткой), едва взглянув в телеграмму, мгновенно преобразилась, кокетливо тряхнула в сторону Влада роскошным, пшеничного цвета перманентом и, проплыв мимо него, скрылась за начальственной дверью.

У Влада оказалось время, чтобы еще раз взвесить ситуацию и приготовиться к неожиданностям. Он с молодых ногтей усвоил спасительное правило — всегда готовиться к худшему. Поэтому и теперь, при явных признаках удачи, он все же, на всякий случай, перебирал варианты для вынужденного отхода. В этих совдеповских лавочках, это он знал по опыту, мягко стелют, но чаще всего жестко спать. Почему-то вспомнилось старое, дворовое детское, тоже спасительное: „Не надо — я и не тел”.

Секретарша выплыла из кабинета с таким видом, будто посетитель приходился ей по меньшей мере если не новым любовником, то, во всяком случае, ближайшим и долгожданным родственником:

— Вас просят, Владислав Алексеич...

Размеры кабинета (с небольшую теннисную площадку) и его обстановка (сплошные ковры и резное дерево) идеально соответствовали росту и осанке двух, поднявшихся ему навстречу, хозяев. Первого он узнал сразу по примелькавшимся с детства портретам на обложках книг — Степан Щипачев, поэт, хотя и не главарь и не горлан, но горлохват, по слухам, тоже порядочный. Богородные седины и вечное, будто приклеенное, выражение доброжелательности на благообразном лице создали ему в известных кругах репутацию неисправимого добряка, но злая молва гласила, что на совести этого святочного Деда-Мороза не один десяток литературных и вне-литературных душ.

Другой — помоложе, подтянутый, с гладко прилизанными жидкими волосами над породистым, несколько бабьим лицом — тоже смотрелся эдаким добродушным дядькой, „слугой царю, отцом солдатам”, но глаза — жесткие и изучающие — выдавали его: нюх у Влада на публику такого полета с годами выработался безошибочный, ему сразу стало ясно, что у этого рука, как говорится, не дрогнет.

Оба они излучались навстречу Владу улыбками и гостеприимством, холеные длани обоих тянулись к нему с рукопожатиями, обоим, судя по всему, не терпелось заключить его в свои почти родственные объятия, и было мгновение, когда он съязвил про себя, что стоило бы запечатлеть эту сцену в виде „Нового возвращения блудного сына”.

— Давайте знакомиться, Владислав Алексеич. — Тот, что помоложе, первым навязал ему свою холеную длань. — Со Степаном Петровичем, я думаю, вас знакомить не

надо, его знает вся страна, кроме всего прочего, Степан Петрович возглавляет и нашу московскую писательскую организацию, а я здесь, — он, скромно улыбаясь, потупился, — всего лишь секретарь по оргвопросам, так сказать, солдат партии на боевом посту. — И снова приосанившись: — Вот хотели познакомиться с вами, Владислав Алексеич, узнать, в чем нуждаетесь, не нужно ли чем помочь. — Тут он, как бы что-то вдруг вспомнив, неожиданно вскинулся; — Кстати, Владислав Алексеич, почему вы до сих пор еще не член Союза?

— Не рановато ли, — опять состорожничал Влад, подозревая ловушку, — у меня еще и книжки нету.

— Ну, книжка, положим, есть, — продолжал тот охоту, — вышла в пятьдесят шестом, в Черкессии, — он выдержал мгновенную паузу, как бы проверяя, оценил ли гость степень его осведомленности, — книжка, правда, не фонтан, — уперся он во Влада со снисходительной насмешливостью, — но при вступлении в Союз можно учесть и намерения, а намерения в ней наши, советские. К тому же недавно в сборнике целая повесть.

— Так ведь разругали же, — опять попытался уйти Влад от угрозы ловушки, — тем более по идеологическим мотивам.

Хозяева, снисходительно посмеиваясь, переглянулись: мол, о таких пустяках здесь и говорить не стоит, мол, здесь делается политика, по сравнению с которой все это яйца выеденного не стоит. Но выработанным за жизнь почти звериным чутьем своим Влад догадывался, уверен был, что они разыгрывают сейчас перед ним заранее отрепетированный спектакль, поэтому радоваться не спешил, в любую минуту все могло обернуться против него.

— Ну так что? — сделал новый заход Ильин.

Влад снова ушел от прямого ответа:

— Чего что?

— С Союзом.

— Я-то всегда готов, — Влад, соблюдая крайнюю осторожность, двинулся навстречу собеседнику, — только ведь вы сами знаете, нужны рекомендации и все такое прочее, а где я их возьму?

Здесь хозяйева откровенно, хотя и в меру, рассмеялись: мол, это-то уж и совсем не стоит разговора, мол, о чем толковать, когда все в их руках.

Отсмеявшись (впрочем, как уже было замечено, в меру), первым отозвался молчаливый до сих пор Щипачев:

— Это чистая формальность, Владислав Алексеич, вы же умный человек и, надеюсь, догадываетесь, что, если я попрошу, товарищи мне не откажут. Слово за вами.

Жар-птица удачи выпорхнула вдруг перед Владом, и он, ослепленный нестерпимым сиянием ее оперения, наконец сдался на милость судьбы:

— Если так, как вы говорите...

Ему не дали закончить. Не скрывая облегчения, оба поднялись и двинулись к Владу с двух сторон, как бы охватывая его в некое магическое кольцо. Выражение лиц у них при этом было, как у людей, которые после долгих поисков наконец-то нашли что-то очень дорогое и важное для себя.

— Владислав Алексеич, дорогой! — Восклицали они почти хором, ухитряясь не перебивать друг друга. — Мы же ваши друзья, для талантливого человека у нас всегда двери открыты, в любой день и час. Если какая нужда или беда, милости просим, без поддержки не оставим. Вы, можно сказать, наша смена, наш золотой фонд!

— Да, как бы вдруг вспомнив о чем-то важном вырвался в соло Щипачев, — а как у вас с деньгами? Не стесняйтесь, Литфонд нам не откажет.

— Пока обхожусь.

— Понимаю, понимаю, — снисходительным дедушкой осклабился тот, — у советских собственная гордость. Это похвально, хотя мы коллеги и можно бы уже без излишних церемоний. — Они наконец зажали его с двух

сторон. — Что ж, — с чувством потряс его руку Щипачев, — до встречи на приемной комиссии! Проводите Владислава Алексеича, Виктор Николаич...

Отчески полубоясь Влада за плечи и победительно усмехаясь, Ильин повлек его к выходу, у двери светски посторонился, молчаливо предлагая гостю пройти первым, и вышел следом за ним. Таким порядком они и проследовали мимо лучезарно озаренной секретарши в безлюдный в утренние часы коридорчик, где спутник легонько придержал гостя, доверительно наклонился к нему:

— Ай-ай-ай, Владислав Алексеич, товарищи из комитета поговорили с вами по душам, а вы уже и крайние выводы поспешили сделать, в Казань отправились, как будто в Казани советской власти нету и некому за вами присмотреть! — Изучающие глаза его засветились кошачьим злорадством. — Запомните раз и навсегда, дорогой Владислав Алексеич, советская власть — она везде и всюду! А вещицу, что вы там в Обсерватории сочинили, приносите, посмотрим, обсудим по-товарищески, без зашатаательства, без оргвыводов. — И снова вложил свою руку в его. — Так договорились, Владислав Алексеич? Тогда всего хорошего и всегда ко мне запросто...

Первая мысль Влада по выходе была: „Кто? Кто продал? Не Иван же с Таисией!” Вторая относилась уже к Ильину: „Матерый, гад!” Теперь, спустя много лет, он не боится признаться себе, что ошибся. С Ильиным впоследствии все оказалось и проще и сложнее одновременно. Проще оттого, что со временем многое Владу стало понятнее в нем, а сложнее потому, что человек этот оказался не таким однозначным, каким мог увидиться на первый взгляд. Что, к примеру, заставляло этого действительно матерого чекиста не раз вытаскивать Влада (и не только его!) из, казалось бы, безвыходных положений, когда стоило только слегка подтолкнуть и — конец: другие на его месте (и даже из либеральных!) не

преминули бы подтолкнуть? Отчего также не пользовался он никакими привилегиями своего положения: не лез в писатели (другие околотитературные чиновники, а числился их при Союзе легион, обязательно влезали), дачки не имел даже самой завалющейся, хотя сам их, эти дачки, распределял, жил (будучи в генеральских чинах) вместе с женой — доктором наук и двумя дочерьми в обыкновенной трехкомнатной квартире? И с какой стати поднимал он на ноги чуть ли не всю совдеповскую иерархию, чтобы вытащить писательского изгоя, великого Юрия Домбровского из коммунальной клоаки? Немало загадок задавал тот Владу в течение десяти лет их знакомства, а разгадывать их пришлось ему исподволь, ощупью, почти вслепую. Но об этом речь впереди.

Спустившись вниз, Влад застал здешнюю пьянку в буфете в самом истоке, когда еще можно было вести с первым встречным хоть какой-то осмысленный разговор. Правда, из более или менее знакомых на месте оказался лишь Гена Снегирев — прозаик, принципиально считавший трезвенников врагами рода человеческого. К немалому удивлению Влада, перед Геней одиноко торчала бутылка нарзана, а сам прозаик выглядел печальным и абсолютно трезвым.

— Старичок, — засветился тот навстречу Владу, — не люблю тосковать один, составь компанию. — Владово удивление от него не ускользнуло. — Вчера из больницы, лечение голодом по методу профессора Николаева. Замечательный метод! Полный курс — девятнадцать дней, а я уже, поверишь, на седьмой день услышал, как птички поют. Наука, старичок, в наше время чудеса творит. Там со мной один псих лежал, странный, понимаешь, синдром — собственное дерьмо хавал. И что ты думаешь, на двенадцатый день, как рукой сняло, сам понимаешь, если есть нечего, то и нечего есть. Наука, старичок!

Выслушав собеседника, задумчиво потер давно небритый подбородок, понимающе пожевал сухими губами, молвил решительно:

— Старичок, цитирую по памяти Михаила Аркадьича Светлова: все на свете дерьмо, кроме мочи. Но, старичок, я только что из клиники, девятнадцать дней просвещался. К сожалению, спектральный анализ показал, что моча — это тоже дерьмо. Понимаешь, старичок...

Ситуация становилась безнадежной, но, на счастье Влада, в проходе показалась приземистая, но в то же время не лишенная известного изящества фигура поэта Юры Л. Едва выделив Влада из общей мизансцены, он стремительно ринулся к нему, царственным жестом предупреждая его рассказ:

— Знаю, старик, знаю, я только что оттуда, девочки уже дали мне всю информацию. — Грустные овечьи глаза поэта возбужденно поблескивали. — Лови момент, старик, исчерпывай ситуацию до конца. Помни Мичурин: мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее — наша задача. Диктуй свои условия, старик!

— Юра, например?

— Ты меня удивляешь, старик! — Его коньяк уже стоял перед ним, и он сделал первый глоток. — Квартира — раз. — Он хлебнул вторично. — Бесплатную путевку в Дубулты или Коктебель — два. — Хлебнул еще раз. — Очередь на машину — три.

Гена печально дополнил его:

— Юра, ты забыл дачу. И бабу тоже забыл.

— Гена, я — реалист. — Коньяк в фужере перед ним все убывал и убывал. — Нельзя требовать невозможного. Даже от природы: за дачами в очередь годами стоят лауреаты, а бабы сами стоят в очередь за писателями, вот, к слову, Ирка Лесневская в одиночестве ждет своего часа. — Он слегка привстал. — Ира, причаливайте к нам, могу познакомить с одним замечательным писателем, восходящая звезда!

Теперь об этой Ире и вспоминать-то тошно, но тогда ему, еще не попривыкшему к своему новому положению, она показалась чуть ли не сказочной богиней: порочное, семитского типа, совсем юное лицо с оленьими глазами, в которых неизменно светилась готовность.

Впоследствии это существо в союзе со своей мамой — учительницей из идейных попортит ему немало крови, пытаясь наставить его на путь истинный и сделать добропорядочным писателем с положением и достатком, но в течение двух-трех лет, растеряв иллюзии, они примутся поносить его на каждом углу, при активной помощи брата дочери — записного критика блокееда с наклонностями к стукачеству. Что бы там ни было, но теперь, перешагнув пятый десяток, он не может, не в праве вычеркивать из жизни и этих двух-трех лет: они есть в его жизни и не все, и не всегда было в них только черным. Чего уж ему на старости лет сводить счеты с людьми, да еще такими маленькими. У них своя судьба, у него — своя.

Тем временем застолье разворачивалось, что называется, с кинематографической быстротой и тою же калейдоскопичностью. Менялось время дня и бутылки, но состав участников почти не менялся. Только что вылившийся Гена Снегирев вскоре уже лыка не вязал, а у Юры Л. возможности Влада вырастали по мере выпитого, пока не достигли размеров прямо-таки гомерических.

— Нет, старик, ты должен помнить еще по советской классике, что жизнь нам дается один раз. — Печальные глаза его вдохновенно округлялись. — И прожить ее надо так, чтобы не было мучительно стыдно. А что получается? Вот ты проснешься завтра с тяжелого похмелья, вспомнишь вчерашнее и сгоришь от стыда, поверь мне, я не преувеличиваю. У тебя в руках, волей случая, оказался не какой-нибудь призрачный фантом, а жирный самодовольный гусь. И что же ты имел с этого гуся? Разре-

шение ходить в этот гадюшник. Ты и без его разрешения сюда ходил. А что еще? Любовь начальства. Так оно, как ветер мая. А что еще? От жилетки рукава, вот что. Нет, старик, Николай Островский так не поступил бы, недаром он написал такие золотые слова о смысле жизни. Николай Островский взял бы с них тут же, чистоганом, у них там в Литфонде денег — куры не клюют. Николай Островский так, между прочим, и делал, не строил из себя целку, что значит герой гражданской войны! — Он взыскующе наклонялся к Владу. — Ну, чего тебе стоило содрать с них косую новыми или даже две, они вон Мишке Луконину на днях пять косых отвалили только на творческий период, а ты! — Он погрозил кулаком куда-то в потолок. — У, сволочи, кровососы!..

Пьяный Л., это Влад усвоил с первого дня их знакомства, не умел, а может быть, и не хотел говорить всерьез. Его, в трезвом уме — спокойного, блестяще думающего и пишущего человека, коньяк разъедал, как щелочь, сообщая его речам саркастическое ерничество. Многому научился Влад у этого постаревшего еврейского мальчика, у которого за плечами осталось две войны, а номер его ордена Красной звезды числился где-то в первой сотне. При всем при этом стихи его отличались добротой и проникновенным вниманием ко всему простому и малозаметному: свойство вдумчиво поживших людей. Перед расставанием между ними пробежала кошка, но теперь, подводя итог, Влад вспоминает о нем с благодарностью. Дай-то тебе Бог, Юрий!..

В разгаре гульбы из табачного облака неожиданно выявился Булат, протиснулся к Владу, наклонился, сообщил шепотной скороговоркой:

— Слушай, Влад, не знаю, что случилось, но Валерий Алексеич хочет с тобой познакомиться, давай завтра часам к двенадцати в редакцию и не пей больше, утром не поднимешься...

И тут же исчез, не любя шумных попок...

Дело шло к закрытию, но пьяный азарт все нарастал и нарастал, поэтому первое же предупреждение дежурной по клубу было встречено в штыки: требовали еще и клялись всеми святыми сразу же разойтись. А стоило появиться самому директору — маленькому седовласому колобку с лицом оперуполномоченного на пенсии, возмущение вспыхнуло с новой силой: пьяная жажда грозила смести на своем пути любые преграды.

Гном, как в незнакомого, в первого вцепился во Влада:

— Ваш членский билет, как вы сюда прошли и кто вас впустил?

Такого Влад не спускал никому:

— Слушай ты, мучной червь человеческих размеров, если ты сейчас же не скроешься с глаз моих, то я буду бить тебя долго и больно, так больно тебя еще никогда не били, понятно?

С этого момента смешалось все: кони, пушки, люди. Кто-то что-то кричал, кто-то куда-то бежал, кто-то во что-то свистел. В конце концов завершилась эта баталия в ближайшем отделении милиции, откуда утром на санитарной машине Влад был доставлен в психбольницу, что на Матросской Тишине.

Увы, Фортуна действительно капризна.

## 12

О, эти эмигрантские сновидения! Вот уже многие годы, из ночи в ночь, ему грезится один и тот же, только вытянутый в засвеченную пробуждениями даль, долгий и удушливый сон: он петляет по Москве, добираясь до своего жилища на Бескудниковском, а за ним по пятам тянется отовсюду вязкая паутина погони. Чувствуя, что ему уже не достичь цели, он устремляется было в сторону аэродрома, чтобы попытаться вернуться домой в Па-

риж, но по дороге с ужасом вспоминает об отсутствии в его паспорте выездной визы. Мысль загнанным зверенышем мечется в нем в поисках выхода: как, каким способом, какой хитростью пробиться ему сквозь пограничный кордон, обойти бдительность паспортного контроля, вернуться туда, под надежную крышу парижской квартиры, к ожидающим его из опасной поездки дочерям и жене?

Ощущение несбыточности этой надежды постепенно заполняет его испепеляющим ужасом, панический крик беззвучно раздирает ему горло, и он просыпается в холодной испарине, чтобы уже через минуту снова провалиться в это изматывающее душу забытье.

Правда, с годами, краешком бодрствующей памяти сознавая во сне невсамделишность происходящего, он научился обманывать свой страх: усилием воли заставлял себя взлетать над погоней и пограничными препятствиями и лишь в этом головокружительном полете находить облегчающее спасение, но с течением времени эти его ночные парения становились все тяжелее и безблагодатнее.

Господи, избавь меня от них, этих сновидений, я устал от вечной погони!

### 13

С тех пор как Влада провозили через эту больницу на принудительное лечение в Столбовую-Троицкую, здесь ничего не изменилось. Те же санитары и нянечки, те же врачи, тот же унылый свет сквозь небьющиеся стекла окон. По сквозному коридору, который по вечерам кажется бесконечным, словно по некоему простору, с утра до ночи фланировала публика в халатах и пижамах, разговаривая вслух или занятая своими мыслями. По обочинам коридора резались в домино, сосредоточенно

склонялись над шахматной доской, почитывали, пописывали. Жизнь как жизнь, не лучше и не хуже всякой другой.

Влад, кстати сказать, никогда не испытывал никакого страха или хотя бы тревоги перед подобного рода заведениями. С того первого своего кувшиновского опыта в нем навсегда отложилось ощущение их бытовой обыденности. Люди здесь, на его взгляд, существовали по тем же самым законам, что и на воле: хорошие оставались добрыми даже в самом тяжелом состоянии, сволочь — сволочью, только сволочизм этот удешевлялся болезнью. Как правило, никакой опасности для окружающих псих средней руки не представлял, что же касается гадов, то статистически их никак не больше, чем вонне, скорее, даже меньше. По твердому убеждению Влада, за стенами больницы у человека гораздо больше шансов быть убитым, ограбленным или изуродованным, а уж обиженным тем более. Пребывание в такой больнице не только никогда не выводило его из равновесия, но, в известном смысле, даже успокаивало, по крайней мере, больничные стены надежно защищали его от того безумного мира, которого он по-настоящему не любил и боялся. Гарун бежал быстрее лани.

Завотделением Народицкая встретила его, как старого знакомого, но не без некоторой укоризны:

— Владислав Алексеич, опять к нам? И как вам не надоест? Вы же взрослый человек, пора за ум браться.

— А вы знаете, Ирина Давыдовна, мне здесь нравится.

— Все шутите.

— Нисколько.

— Что ж, могу запереть вас надолго.

— Сделайте одолжение, Ирина Давыдовна.

— Не юродствуйте, Владислав Алексеич, — снисходительно поморщилась та, — вам это не к лицу, хотя вы и поэт.

— Прозаик, Ирина Давыдовна, прозаик.

— С каких это пор?

— Ничто не стоит на месте, Ирина Давыдовна, даже телеграфные столбы: помните, „по деревне от избы и до избы...”?

Народицкая устало отмахнулась от него:

— Вы неисправимы, Владислав Алексеич, идите в палату, я подумаю, что мне с вами делать, но, буду откровенна, бумага на вас из писательского клуба весьма серьезная.

Выходя, он только и успел сказать:

— Чем бы дитя ни тешилось...

С первых своих больничных дней Влад почувствовал, что что-то могущественное внимание неусыпно обращено на его скромную особу. Народицкая день ото дня становилась все приветливее, что, конечно же, передалось и персоналу, который тоже стал выделять его из общей массы, проявляя к нему доступные им знаки внимания и поблажки: свидания в любое время без ограничений, покупка спиртного, допуск к телефону.

Но высокое покровительство простиралось все дальше. Однажды возник переполох, какой мог бы здесь произойти только в случае пожара или явления Христа народу. Гул и топот девятым валом все приближался и приближался к палате Влада, пока не ворвался к нему в лице взмыленного от священного ужаса санитары Мокеича:

— К вам, Владислав Алексеич, Баталов. — И, словно нечистая сила, растворяясь в воздухе, успел выдохнуть на прощанье. — Киноартист!

Ах Баталов, Баталов, Алексей Владимирович, дорогой, ну затевали вы некое кинодействие, из которого, кстати сказать, так ничего и не получилось, ну поели-выпили раз-другой, на высокие темы между делом поговорили, но чтобы вы, вот так, запросто, да в психбольницу на Матросскую Тишину! Или не изучил он вас за короткое ваше знакомство, как облупленного? Да вы без ука-

зания начальства шагу не ступите, не вздохнете, не чихнете лишний раз! У вас, при всех ваших высоких достоинствах, душа титулярного советника, куда уж вам в герои, когда сердце ваше от одного вздоха барского в пятки уходит. Но уж коли явились по указанию свыше друга разыгрывать, то и мы не лыком шиты, подыграем знаменитому гостю в лучших традициях школы МХАТа!

Все-таки талантлив был, ничего не скажешь, этот самый Баталов. Порученную ему роль он провел на высшем уровне, в полном соответствии с системой Станиславского, который, как известно, превыше всего ценил в искусстве сверхзадачу: встреча двух лучших друзей произошла, что называется, в духе сердечности и полного взаимопонимания, после чего, сопровождаемые благоговейным восхищением психов, симулянтов и обслуживающего персонала, они плечом к плечу вышли в парк, где, изображая творческую прогулку, им пришлось сделать несколько кругов по его замкнутой аллее, а на прощание даже троекратно расцеловаться.

Через минуту от гостя и след простыл. И никогда впоследствии они уже не встречались, хотя положение Влада складывалось куда благоприятнее, чем в ту пору, да и причин встретиться было гораздо больше. Но сказано же: „Мавр сделал свое дело, мавр может уйти”. К Баталову А.В. это относится в первую очередь. В конце концов он достиг предела своих тайных вожделений, сел в чиновничье кресло и, говорят, успокоился, приобрел соответствующую осанистость, обрюзг, облысел и, разумеется, пишет воспоминания. Знать бы только о чем? Наверное, об искусстве, о чем же еще?

Во всяком случае, после такого визита Владу вернули даже собственную одежду, в которой он мог исчезать из больницы, когда и куда ему вздумается. И он всю пользовался этой привилегией, уходя в лес за Язуой, где в ожившей от зимней спячки чаще вышагивал сло-

ва и расцветки для будущего их единоборства с чистым листком бумаги.

В этих-то кружениях по лесам и окраинам Преображенки он и забрел однажды на здешнее кладбище, где, казалось, еще совсем недавно упокоилась его мать — Федосья Савельевна — старая девочка — химеристка, так и не настигшая в нескладной своей земной жизни синей птицы терзавших ее до гроба химер. Крохотный кленок, посаженный над ней в день похорон, разросся, отбрасывая от себя кружевную тень, могильный холм схватился матерой травой, скамейка, на которой уже давно никто не сиживал, рассохлась и позеленела, что сообщало месту, огороженному полинялым штакетником, ощущение прочности и покоя. Ничто не уходит от нас на этой земле навсегда, даже если мы теряем все, нам остается память, а памятью уже можно жить.

Влад стоял у изгороди, не решаясь войти внутрь, безмолвно всматривался в захоронение, а скорее, в самого себя и думал, как это ни странно, о каких-то пустяках, не имевших никакого отношения ни к месту, где он в эту минуту находился, ни к той, что здесь покоится, ни к чему соответственному этому вообще. Думалось о скорой выписке, о предстоящих вечером пререканиях с Лесневской, которая опять, в который уже раз, будет фальшиво и долго клясться ему в любви, о последствиях, какие ожидают его после выписки, и, хотя усилием воли он заставлял себя то и дело вспоминать, что стоит у могилы собственной матери, мысли его неизменно возвращались в прежнее русло: выписка, пререкания с Лесневской, последствия и еще дальше, и еще мельче.

С этим он и отошел, кляня себя за свое равнодушие, с этим выбрался за ворота, с этим же, почти машинально, завернул в кладбищенскую церковь. Храм оказался тих, пуст, темен, и только два открытых гроба маячили у бокового окна в ожидании заупокойной. В церковь Влад заглядывал и раньше, но более из любопытства,

чем по душевной потребности. В последний день это случилось с ним в день похорон матери, но тогда он лишь соучаствовал в семейном действе, ни к чему серьезному себя не обязывая: отзвонил и с колокольни долой.

Теперь же, стоя в пустом и темном храме, наедине с двумя покойниками, Влад вдруг почувствовал себя маленьким, предельно ничтожным существом, до бед и забот которого нет дела никому, кроме той ничем незамутненной тишины, которая струилась здесь вокруг него, сообщая ему ощущение сопричастности ко всему, что в этих и на этих стенах безмолствовало, излучая собственный свет и тревожа воображение. Хотелось стоять вот так, долго-долго, вслушиваясь в эту струящуюся тишину, молчать и, глядя перед собой, глядеть в себя. „Что это со мной, — попытался он внутренне скептически усмехнуться, но усмешки, как он ни силился, не сложилось, скорее, жалобная гримаса, — так и поплыть недолго, тогда с Матросской Тишины век не выберешься?”

Но заупокойную Влад выстоял без усилий, молитва уже не тяготила и не раздражала его, как раньше, он даже поймал себя на том, что время от времени подтягивает хору да и по завершении обряда уходить не тянуло.

После службы батюшка, на ходу разоблачаясь, устремился почему-то прямо к нему:

— Вы ко мне?

— Нет... Но если позволите...

— Обязательно позволю, — он был еще совсем не стар, с круглым почти без морщин лицом и смеющимися глазами, — идите за мной.

Он устремился к алтарю, кивком предлагая гостю следовать за собой, и Влад покорно потянулся за священником, сам не зная, зачем он это делает и что из всего этого может получиться. Здесь, в святая святых любого храма, где, по давнему убеждению Влада, не могло быть

места ничему мирскому и низменному, мирно пофыркивал чайник на электроплитке и все на обычном столе было готово к чаепитию: сахар, кекс, умело нарезанный лимон.

— Располагайтесь, сейчас чай пить будем. — За нехитрой сервировкой он то и дело быстрыми глазами поглядывал на гостя, как бы изучая его. — Вы от кого?

— Я собственно сам... Случайно. Но если помешал...

Тот заспешил, заторопился, даже руками замахал:

— Что вы, что вы, кому вы здесь можете помешать, ведь вы в Храме Божьем! Это даже лучше, что ни от кого, что сами, что случайно, замечательно даже! В Храм Господь приводит, а кого Он привел, того и отметил. Давайте знакомиться. Я отец Димитрий, служу в этом Храме. С кем имею честь?

— Владислав Самсонов, литератор.

Тот даже озарился от удовольствия:

— Как же, как же, наслышан, так, значит, вы тот самый Самсонов из знаменитого сборника? Очень рад познакомиться, давно мечтал, я ведь, знаете, тоже балуюсь. — И тут же рассмеялся, предупреждая невольный испуг гостя: — Не пугайтесь, я только для себя, даже никому не показываю. Вам с вареньем?

Сам того не заметив, Влад под чаек и под междометия собеседника выложил ему собственную подноготную, не скрыв от него и своей питейной слабости.

Тот слушал, не перебивая, только похмыкивал со значением, покачивал сокрушенно головой, досадливо морщился, а когда Влад умолк, он впервые без улыбки взглянул на гостя как бы с другого берега:

— Спросил с вас, Владислав Алексеич, Господь много, но ведь лишнего Он никогда не спрашивает, значит, по плечу вам была эта ноша, значит, многое вам Господом дано. Я священник, мое дело прежде всего утешить человека, но вас мне утешать, только слова попусту тратить, вы — человек сильный, очень сильный, вам вдвое

дай, вытянете, слабость ваша не в вине, знаете, как говорят, пьяный проспится, дурак — никогда, слабость ваша — в гордыне, это у всех у нас, у кого больше, у кого меньше, но у вас непомерная, смирать себя пора, Владислав Алексеич, с собой-то вы справитесь, а вот с ней, с гордыней этой, справитесь ли?

— Не ко врачу же идти?

— В церковь.

— Поможет ли?

— Захотите, поможет.

— Чем?

— Молитвой.

— Попробовать можно...

— Вот-вот, — заволновался и снова засиял отец Димитрий, — чтобы человеку в гору камушек бросить, надо к ней, к горе этой, подойти поближе, вот и сделайте первый шаг, Владислав Алексеич, увидите, вам же легче станет, а потом видно будет. Приходите завтра на воскресную службу, примите Причастие, вот вам и первый шаг.

— Я же некрещеный, отец Димитрий!

— Господь всех принимает, кто с чистым сердцем идет, ему, как сказано, грешные-то ближе праведников.

— Пора мне, отец Димитрий.

— Ну, ну, — не стал задерживать тот, даже как бы обрадовался, — с Богом, а я тут помолюсь обо всех страждущих соседях ваших больничных. Не обходите отца Димитрия, Владислав Алексеич, всякое с человеком может случиться, еще пригожусь...

Он проводил Влада до церковной ограды и молча перекрестил на прощание.

На следующее утро в палату торопливо вскользнула заотделением Народицкая:

— Пройдите ко мне в кабинет, Владислав Алексеич.

— У нее было такое выражение лица, как будто в кабинете Влада ожидал покойник. — С вами хотят побеседовать...

Тон, каким это было сказано, не оставлял сомнений по поводу намерений визитера и его принадлежности к Лубянке, поэтому Влад, идя по коридору к ординаторской, заранее готовился к обороне, но каково же было его удивление, когда навстречу ему с продавленного профессорского дивана поднялся улыбающийся во весь рот его старый знакомец — Бардин.

— Рад видеть вас в добром здравии, Владислав Алексеевич, — из-под белесых бровей его белесые глаза излучали одно сплошное белесое сияние, — видно, не ожидали? Но, знаете, как поется в песне, работа у нас такая.

Но Влад, уже изучивший эти повадки, явственно прочитывал сквозь его слишком нарочитый, слишком показной елей другие слова и другую речь: „Опять, ханыга, приходится с тобой возиться, черт бы тебя побрал, но, видно, начальству моча в голову вдарила, блажат на старости лет, из шпаны новые литературные кадры вздумали ковать, много тут накуешь из этого дерьма, одна морока, ты же нам потом на голову и нагадишь, мерзавец, взять бы тебя, стервеца, да отправить на лесоповал, куда больше пользы станется. Но приказ есть приказ, будем валандаться, пока начальству не надоест”.

— Почему же не ожидал, Михаил Иванович? — снова принял его тон Влад, — сами же говорите, работа у вас такая, вас всегда и везде ждать можно, не правда ли?

А мысленно отвечал гостю: „Умный ты, видно, человек, Бардин, но дурак. Ведь сам успел убедиться, что нельзя ко мне с отмычкой рваться. Ведь было же у тебя время инструментом потоньше обзавестись, чего ж ты время даром терял, а теперь снова с той же фомкой лезешь. Ну подумай, пораскинь мозгами, ты же, судя по глазам, мужик сообразительный, а то ведь опять уйду, выскользну, следов не оставлю, опять тебе голову ломать, что со мной делать, но если уж на полную чистоту, то нечего тебе со мной делать, потому что, пока ты свою вшивую карьеру делал, я думал, учился, Россию пехом

вдоль и поперек прошел, и бит был, и милован, и снова бит, что твоя карьера по сравнению с этой?”

— Правда-то оно, правда, Владислав Алексеич, — Бардин как бы даже взгрустнул от своей покладистости, — но не ко всякому мы вот так, как к вам, с хорошими вестями ходим, к сожалению, чаще — с плохими.

— Слушаю вас, Михаил Иванович.

— Сегодня домой пойдете, Владислав Алексеич, только надо нам с вами кое о чем предварительно договориться.

— О чем же, Михаил Иванович!

Короткая пауза, которую выдержал Бардин прежде, чем приступить к делу, оказалась слишком красноречивой, чтобы в ней нельзя было прочесть: „Да разве с такими, как ты, договариваются! Таких, как ты, душат в колыбели, чтобы избавить род человеческий от последующих хлопот, но что могу сделать, если мне приказывает руководство, значит, на сегодняшний день у руководства другие соображения, а им с горы виднее, а так я на тебя и патрона не стал бы тратить, своими бы руками заделал, только бы потом руки сполоснул”.

И Влад послушно вторил ему: „Ну что ты себя растравляешь понапрасну, гражданин начальник, договариваться-то все равно придется, беда твоя в том, соглашусь ли я, а ты уже душить готов, ты и так не мало в своей жизни передушил, а толку что, только бессонница мучает да сердце то и дело пошаливает, возьми себя в руки, начальник, и займись-ка ты лучше делом”.

Тот, будто услышав его, принялся выкладывать:

— Ничего страшного, Владислав Алексеевич, ничего недопустимого. Руководство лишь предлагает вам потцовски, по-товарищески знакомить Комитет со своим творчеством, поверьте мне, Владислав Алексеич, у нас не одни следователи работают, у нас есть люди с большим литературным опытом, с прекрасным вкусом, думающие и доброжелательные, а ведь вы сами знаете,

Владислав Алексеич, хороший совет в литературе на вес золота...

Влад не удержался, съязвил:

— Поэтому их так мало, хороших советов.

— Пожалуй, — Бардин нехотя рассмеялся, — но вы не ответили на вопрос, Владислав Алексеич.

— А если я скажу „нет“? — Влада стала забавлять эта игра. — Что тогда?

Бардин сочувственно вздохнул:

— Тогда, Владислав Алексеич, вам придется еще полечиться, без скидок полечиться, по-настоящему.

— Как долго по-вашему, Михаил Иванович?

— Все будет зависеть от состояния вашего здоровья, мы о вас же печемся, о вашем здоровье.

„Боже мой, — облегченно усмеялся про себя Влад, — сколько усилий, сколько денег тратят они на вот эти игры в бирюльки, подумать только!“

А вслух сказал:

— Поверьте, Михаил Иванович, мне даже лестно, что ваше начальство так интересуется моей писаниной. Можете мне поверить, я никогда и ничего ни от кого не прячу, вы можете получить у меня любую мою рукопись в любое время.

Их взгляды скрестились в двух взаимных оценках. „Один—ноль, — заключил Бардин, — в мою пользу, но за тобой еще глаз да глаз!“, а Влад не скрыл разочарования: „Я думал, ты умнее, начальник, неужели ты не видишь, что опять ничья, по нулям, начальник“.

— Что ж, Владислав Алексеич, — Бардин, не скрывая удовлетворения, встал, протянул руку, — до свидания и не обессудьте, как я уже сказал, работа у нас такая...

Через час Влад был уже дома, в Сокольниках.

Эх, яблочко, куды котишься, ко мне в рот попадешь — не воротишься. Классический текст этот, как думалось Владу, вполне мог бы стать профессиональным гимном той самой организации, которая в нынешней России так печется о здоровье культуры вообще и литературы в частности.

Уже на чужбине он как-то, в застольном разговоре, обсуждал свой опыт знакомства с этой любвеобильной организацией со своим давним знакомцем по литературной богеме, Володей М., в странных рассказах которого он когда-то угадал пути, по каким через пятнадцать—двадцать лет начнет растекаться современная русская проза (теперь их много развелось — его эпигонов, забывших или вовсе не знающих, от кого они отпочковались, правда, победнее завязью и побледнее цветом, а он так и остался стоять особняком, ни на йоту не превзойденный своими вольными или невольными подражателями, и время его — впереди).

В застольном этом обсуждении выяснилось, что все приемчики и заходы Галины Борисовны (как принято теперь обозначать эту организацию) испытывались в той или иной степени на каждом из начинающих, почти без исключения. На их собственном жаргоне это называлось „перепусканием из холодного в горячее и опять в холодное“, но, казалось бы, научно проверенный метод дал осечку (за некоторыми редкими исключениями!) в применении к поколению, детство которого закалялось ежовщиной, юность войной, молодость — скептицизмом запоздалых реабилитаций. Старые приемы уже не приносили эффекта, а новых Галина Борисовна, при всей своей самодовольной неповоротливости, разработать не сумела или не удосужилась.

Каждый из них, этих новых мальчиков с насмешливыми глазами, был тем самым стариком из рассказа того

же Володи М., который всю жизнь сидел на лавочке у заводской проходной и читал газету вверх ногами, ему это, наверное, представлялось интересным, а почему, Галине Борисовне догадаться оказалось не под силу.

15

Как-то ярким августовским утром робким стуком в дверь взял разбежку еще один поворот его литературной судьбы, разнохарактерные отзвуки которого тянутся за ним до сих пор.

После стука на пороге Владовой комнаты объявилась рыжеволосая, вся в мелких веснушках юная пигалица и, нерешительно потоптавшись у двери, сообщила одышливой скороговоркой:

— Вас просят зайти в редакцию „Октября” к Всеволоду Анисимовичу Кочетову к двум часам дня, сказали, если, конечно, у Владислава Алексеевича есть время, а то можно и в другой раз, когда хотите. — Снова нерешительно потоптавшись, добавила робко: — До свидания...

Влад заранее предугадывал, какую бурю в литературном болоте столицы вызовет его визит в эту, по мнению господ либералов, цитадель политической реакции и консерватизма, но, взявши себе однажды за правило разговаривать со всеми, кто хочет с ним разговаривать, он решил пренебречь последствиями. К тому же для него давно не существовало разницы между сортами дерьма в отхожем месте так называемой советской литературы. На его глазах и те, и другие, и правые, и левые, и прогрессисты, и реакционеры кичились одними и теми же совдеповскими регалиями, получали одни и те же роскошные квартиры на Котельнической набережной и даровые дачи в Переделкине, насыщались одной и той же дефицитной жратвой и марочными напитками из закрытых распределителей, свободно ездили когда и куда

им вздумается. В известном смысле ортодоксы были даже предпочтительнее, потому что обрабатывали свои блага с циничной откровенностью, не нуждаясь в высокоумных, а по сути, жалких объяснениях причин своего привилегированного положения. Теперь, спустя годы, Владу не хотелось бы ворошить тени прошлого, но, говоря по совести, следовало бы раз и навсегда обозначить, в особенности для тех, кто, и оказавшись в эмиграции, пытается утвердить здесь литературную раскладку того же самого отхожего места, слагая радиооды титулованным стукачам из породы лубячных классиков, сколь омерзительны были ему всегда рамольные старички, обвешанные всеми побрякушками палаческого государства, но до гроба строившие из себя мучеников прогресса. В отличие от них у Кочетова хватило хотя бы мужества в конце концов наложить на себя руки.

Помнится, один довольно известный либеральный эссеист с квартирой на улице Горького, дачей и машиной отечески предупреждал Владу от знакомства с другим эссеистом, по крайней бедности ночевавшим на вокзалах:

— Я вас прошу быть с ним осторожнее, у меня сведения из верных источников, он — стукач.

Влад не выдержал, выцедил тому в лицо все, что он по этому поводу думал:

— Что это случилось с советской властью, если либеральных антисоветчиков, вроде вас, она снабжает литературными квартирами, дает им дачи и машины, а верноподданных стукачей гонит ночевать на Савеловский вокзал?

Большая Ахматова ответила однажды на упреки по поводу публикации ее стихов в одной „реакционной” газете со свойственной ей восхитительной лаконичностью:

— Я прожила жизнь, у меня нет времени разбираться в ваших, — слово „ваших” она интонационно подчеркнула, — прогрессивных и непрогрессивных органах печати...

К предупредительности присутственных мест от литературы Влад уже попривык, поэтому, когда рыжеволосая пигалица, вся вспыхнув при его появлении, скрылась за дверью редакторского кабинета, он воспринял это, как должное.

Логово реакции, кстати сказать, выглядело не хуже и не лучше любой, даже самой прогрессивной, даже стоящей во главе прогресса редакции толстого журнала: та же окраска, та же меблировка, те же примелькавшиеся во всех учреждениях портреты. „Господи, — изумился мысленно Влад, — хотя бы в этом хоть чуточку индивидуальности!”

Дверь редакторского кабинета неожиданно распахнулась, и в ее проеме, словно в портретной раме, выявился высокий, бесстрастный, пергаментно-желтый человек в прекрасно сшитой паре и со вкусом подобранном галстуке:

— Это и есть Самсонов? — Смерив Влада с головы до ног угольными глазами, он отступил в глубь кабинета. — Заходи, Самсонов. — Обогнув письменный стол, он величественно опустился в кресло и лишь после этого снисходительно кивнул гостю. — Садись, Самсонов.

Так, впервые в жизни Влад оказался лицом к лицу с этим почти легендарным графоманом, слава которого, наподобие байроновской, с годами лишь разрастается и не только давно достигла „друга степей — калмыка”, но и сделала его поэтом, если подразумевать под этим другом Давида Кугультинова.

Некоторое время тот в упор, молча, с нескрываемым любопытством и змеящейся в уголках бескровных губ чуть заметной усмешкой рассматривал его. Лишь после этого спросил громко, отрывисто, с нарочитым вызовом:

— У Твардовского был?

— Был.

— Аванс дали?

- Дали.
- Напечатали?
- Нет.
- У Катаева был?
- Был.
- Аванс дали?
- Дали.
- Напечатали?
- Нет.

— А я, — заговорил он с расстановкой, — аванса не дам, у нас лимит на нуле, зато напечатаю.

— Все обещают. — Решил Влад брать быка за рога. — Когда?

— В следующем номере, — отрезал тот. — Рукопись уже в наборе. — И впервые в течение разговора болезненно осклабился: — Прикидываешь, откуда у меня твоя рукопись? Знаешь, как в народе говорят: где взял, там уж нету, хотя, может быть, копия для архива осталась. Плохой из тебя конспиратор, рукописей своих прятать не умеешь.

— А я и не прячу, — огрызнулся Влад, — не имею привычки.

— Зря, — добил его тот, — надо прятать, я вот, если хочешь знать, прячу.

У Влада даже дух перехватило от удивления:

— От кого? От кого вам надо их прятать?

— От врага. — Тот с вызовом вздернул свою красиво посаженную голову, отчего кожа на его пергаментном лице напряглась и вытянулась. — Чего удивляешься, думаешь, искоренили давным-давно, под корень вычистили? Вбила вам эту муть в голову нынешняя ревизионистская сволочь, а следовало бы зарубить себе на носу азбучную истину социализма: чем ближе к цели, тем беспощадней классовая борьба. Это ведь про теперешних Маяковский писал: „...кто стихами льет из лейки, кто кро-

пит, набравши в рот...”, а у меня, брат, пистолет и нож всегда под подушкой, в случае чего живым не дамся...

В щель внезапно приотворенной двери ввинтилась круглая с залысинами голова:

— Всеволод Анисимович, разрешите?

Кочетовское лицо сразу обмякло, посерело, осунулось:

— А, это ты, Юрий Владимырьч, заходи, знакомься, это и есть гроза тайги и тундры — Самсонов, бери его к себе, оформляй соглашение, повесть ставим в десятый.

И мгновенно уткнулся в рукопись перед собой, сразу выключив присутствующих из сферы своего внимания...

— Идашкин Юрий Владимирович, — шепотной скороговоркой представился Владу тот, увлекая его к выходу. — Ответственный секретарь редакции.

И коlobком, коlobком через кабинет, приемную, коридор к себе, в свою вотчину за обитой дерматином дверью — опрятный, не без эlegantности кабинет с высокими потолками и стильной мебелью.

— Ну-с, Владислав Алексеич, надеюсь, вы довольны? — сиял он в сторону гостя, хлопотливо рассаживаясь у себя за столом: успел открыть и закрыть ящик перед собой, что-то походя полистал, что-то отметил в настольном блокноте. — Не успели явиться, а рукопись уже в наборе, такое у нас не со всяким случается, шеф у нас, прямо скажем, невеста разборчивая.

— А я — это что же, жених, что ли, с улицы? — пресек его на корню Влад. — Подобрали, обмыли, подкормили малость и представили пред очи ясные?

От идашкинской суеты не осталось и следа, он тут же пружинисто собрался, потемнел обликом и впервые взглянул на собеседника с заинтересованной серьезностью:

— Извините, Владислав Алексеич, я, наверное, действительно взял неверный тон. — И вдруг по-мальчишески

застеснялся: — Это я от волнения, ей-Богу, Владислав Алексеич!

„Умен, — отметил про себя Влад, — а может быть, хитер, кто его знает, во всяком случае, не прост, надо бы с ним поосторожнее, такие без нахрапа, ювелирно умеют гнуть, сам не заметишь, как в бараночку свернешься”.

В течение получаса деловито и быстро ответсекретарь оформил соглашение, получил редакторскую подпись и договорился-таки с бухгалтерией „Правды” об авансе.

— Что ж, Владислав Алексеич, рад за вас и за нас, честно говоря, вы для нас — приобретение, чего уж греха таить, нету у нас прозы стоящей, мимо несут, по другим адресам. — Провожая к выходу, досадливо поморщился. — Когда у самих совесть не чиста, людям свойственно искать виновников, вот и нашли нашего главного. Всего хорошего, Владислав Алексеич, если какая нужда, заглядывайте...

И загудела, забулькала, заблагоухала пишущая Москва: проданся, предался, заложил душу дьяволу! Судя по интенсивности реакции, его девятьсот рублей (минус налоги!), которые он получил за свою повестушку в „Октябре”, в сравнении с фешенебельными квартирами, дачами, телефонизированными машинами, орденами и льготными поездками за рубеж под приватные отчеты по возвращении либеральных ниспровергателей основ и впрямь выглядели хуже, чем тридцать сребреников за продажу Христа. Теперь-то он знает цену подобного сорта демагогии, к его удивлению, она оказалась глобально универсальной, но тогда ему было не до шуток.

А тут еще подоспел Манеж! Блаженный Никитушка, умело ведомый ближайшими друзьями к собственной пропасти, на кого-то топал ногами, на кого-то кричал, над кем-то смеялся (но, кстати сказать, никого пальцем не тронул!), и летело над городами и весями обалдевшей от его беснований страны теперь уже историческое: „Пидарасы-ы-ы!”

„Пидарасы”, возвращаясь с заседаний в Кремле, дома не появлялись ни днем, ни ночью, а просиживали поочередно во всех специализированных клубах столицы, окруженные восхищенным сочувствием потаскух и прихлебателей с гамлетовской печатью на измученном челе: быть или не быть? Но по окончании сего идеологического галапредставления, вместо урановых рудников, куда мысленно уже отправили наших бедных „пидарасов” их собственные жены и поклонники, большинство из них разъехалось обретать душевное равновесие в завидные загранки на казенный счет. Невъездным оказался лишь виновник мистерии — Эрнст Неизвестный. Наверное, потому, что он и вправду был гений.

К тому времени Влад твердо усвоил истину: в этой стране ничего не дают бесплатно, за все надо платить. С него эту плату мягко, но настойчиво потребовали уже незадолго до следующей публикации.

Перед сдачей вещи в набор его чуть не силой затащил к себе Идашкин:

— Слушай, Влад, — с некоторых пор они перешли на „ты”, — шеф хочет, чтобы ты высказался.

— О чем?

— О совещании.

— Но я там не был.

— Ну, что значит был — не был, главное, это определить свое отношение к проблеме или, образно говоря, выбрать сторону баррикады, от этого зависит многое. Надеюсь, ты меня понимаешь?

Да, Влад понимал его, можно сказать, слишком хорошо понимал. И хотя ему было известно, что большинство из „пострадавших” написало все, что от них требовалось, после чего благополучно отбыло в загранку или в дома творчества, что то же самое сделали редакторы всех либеральных изданий, включая самого либерального, и что казенные отписки такого характера чуть не каждый месяц позволяют себе даже гении от Шостакови-

ча до Смоктуновского включительно, ему от одной только мысли об этом становилось тошнотворно, как перед черным провалом бездны.

Тогда, в тот день, пытаясь выиграть время, Влад не нашел в себе мужества сразу отказаться, ответить „нет” и этим дал повод заподозрить себя в слабости. Остальное для них было, что называется, делом техники, в конце концов они загнали его в угол, и он сказал роковое для себя „да”, сделав первый (но, к счастью, и последний) шаг к пропасти.

Что говорить, этот текст дался ему нелегко. Влад отбрасывал вариант за вариантом, изоцряя смысл сказанного до такой степени, чтобы в результате не написать ничего, кроме общих слов, в которых никакое, самое чуткое ухо не могло бы уловить и туманного намека на личностное отношение автора к теме разговора. Но — увы! — из спетых песен слов не выбрасывают, а в книге прощания и того пуще, поэтому сейчас он приводит этот текст целиком в назидание идущим следом за ним:

„С самого начала нашего столетия передовой отряд рабочего класса России начал величайшую из битв человечества — битву за переустройство мира как в сфере материальной, так и духовной. И с первых же своих шагов огромное внимание партия уделяет становлению социалистической литературы. Кто не помнит, с каким горячим сочувствием был воспринят Владимиром Ильичем Лениным замечательный роман Горького „Мать”! А как благотворно влияла „Правда” на творчество Федора Шкулева, Демьяна Бедного, Александра Серафимовича! Только революции обязана русская литература рождением таких выдающихся мастеров культуры, как Алексей Толстой, Михаил Шолохов, Александр Фадеев, Леонид Леонов, Федор Панферов, Валентин Катаев. Только в условиях нового, социалистического строя могла вырасти целая плеяда замечательных талантов, среди которых многие и многие получили мировое признание.

Именно от этих мастеров принимало каждое последующее поколение эстафету века, и поэтому пресловутая проблема „отцов и детей”, кстати сказать, высосанная из пальца фрондерствующими литмальчиками вкупе с группой эстетствующих старичков, никогда не вставала перед молодежью, верной революционным традициям советской литературы. Разве, к примеру, Владимов или Шим не ощущают самой кровной связи со своими ближайшими предшественниками Казакевичем, Гончаром, Нагибиным, а те, в свою очередь, с Петровым и Гайдаром, с Симоновым и Нилиным? Весь опыт нашей литературы утверждает непрерывность ее становления.

После справедливой и принципиальной критики в адрес формализма, прозвучавшей на встречах руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства, кое-где подняла голову воинствующая серость, прикрывающая псевдоидейностью свою полнейшую профессиональную несостоятельность. В связи с этим мне хотелось бы еще и еще раз повторить слова секретаря ЦК КПСС Л. Ф. Ильичева, сказанные им в докладе на одной из памятных встреч: „Всякий непредубежденный человек понимает, что критика формализма и абстракционизма — это не амнистия натурализма. Нет, отношение к плоскому, бескрылому натурализму остается неизменным. Надо лишь предостеречь от попыток под видом борьбы с натурализмом бить по художникам-реалистам, равно как обвинять в формализме людей, занятых поисками новых форм в реалистическом искусстве. Ведь сама природа социалистического реализма — в исканиях нового, художественно красивого, жизненно верного, осмысленного с позиций коммунистического мировоззрения”.

Капитуляция была замечена и отмечена. При первой же после этого встрече Кочетов, как всегда с вызывающей определенностью, сказал ему:

— Читал. Одобряю, хотя много туману, но для начала и это годится. Со следующего номера ты член редколлекции, партия умеет ценить порыв. Знакомая усмешечка зазмеилась в уголках бескровных губ. — Говорят, славянофильством увлекаешься? Выброси эту дурь из головы, это вас, легковверных, дуболом Никонов мутит, у самого идеологическая каша в башке и других с толку сбивает. Мы ему на днях накрутим хвоста, чтоб неповадно было, долго помнить будет. — И угрюмо уткнулся в бумаги на столе. — Ладно, иди...

Весть о новом грехопадении кругами расходилась по граду престольному. В особенности почему-то кипятился Борис С., тот самый, который публично топтал своего тезку Бориса Пастернака на знаменитом еще в недавние времена побоище в Клубе писателей и который, как посмеивались его собственные друзья, засыпал не с женой, а с очередным томом Ленина у причинного места:

— Мы не можем пройти мимо этого равнодушно, мы обязаны сделать соответствующие выводы, наш долг...

О, это восхитительное, спасительное, бронированное „мы“! Как тепло, как удобно, как фешенебельно чувствуют себя безликие люди в защищенной со всех сторон крепости этого надежного местоимения! Нас не тронешь, мы не тронем. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Мы не рабы, рабы — не мы. Мы — рабочие и колхозники. Мы — советская интеллигенция. Мы — демократы и плюралисты. Мы — общественное мнение. Мы. Мы. И как одиноко, как уязвимо, как незащищено оставаться человеку в своем собственном „я“! Я говорю, я отвечаю, я отстаиваю. Цена за роскошь оставаться только собою слишком дорога, чтобы ею — этой роскошью — решались пользоваться многие, но зато те дерзостные одиночки, которые идут на это безумие, получают взамен драгоценнейший дар Господа — Свободу. Итак, подытожим: вы говорите ему „мы“, он отвечает „вам“ раз и навсегда от имени своего „я“:

— А мне наплевать!..

Неизвестно, сколько бы продолжалась эта свистопляска вокруг его скромной персоны, но грянул август шестьдесят восьмого, когда танки генерала Павловского несколько потревожили комфорт дон-кихотов из Переделкина. Конечно же, они были возмущены до глубины души, конечно же, выражали протест и, разумеется, оставались всем сердцем на стороне той великолепной семерки, что вышла на Лобное место спасать честь своей нации, но все же не преминули позаботиться о том, чтобы их эмоции не просочились за пределы круга ближайших родственников, а в качестве разнокалиберных коллегий и советов со спокойной совестью голосовали „в поддержку”, „за братскую помощь”, „во имя пролетарского интернационализма” по принципу: „Один в поле не воин”.

В числе других должна была высказаться и редколлегия „Октябрь”. Влад явился загодя, уже с готовым решением, отступить от которого было бы для него теперь началом конца. Перед самым заседанием он зашел к Главному:

— Прошу извинить, Всеволод Анисимович, я не хочу ставить вас в неудобное положение перед сотрудниками и устраивать здесь бессмысленные баталии, поэтому должен заранее предупредить, что участвовать в этом шабаше не буду, для меня это вопрос решенный.

Тот, к удивлению Влада, не взорвался, не вышел из себя, лишь неторопливо поднялся и оглядел его, как большую собаку, сверху вниз, одновременно презрительно и брезгливо:

— Говорил мне Сема Бабаевский: волк ты, волком и останешься, сколько тебя ни корми. — И тут же повернулся к нему спиной. — Не держу, иди...

Проходя мимо рыженькой пигалицы-секретарши, Влад краем глаза отметил, как у нее предательски дрожал подбородок: судя по всему, девчушка догадалась

о том, что произошло сейчас в кабинете Главного. „Надо же, — мысленно, не без грусти усмехнулся Влад, — а я и не замечал ее вовсе”.

С этим он и вышел в августовский день, перешагнув порог своей новой судьбы.

## 16

На дворе в самом разгаре стояла пора Солженицына. С легкой руки большого писателя пошел расти, зреть, разрастаться литературный Самиздат, так сказать, открытого свойства. Машинописная перепечатка и легальная раздача рукописей для чтения сделались повседневной практикой в литературной среде, даже вполне официальной. В воздухе носилось предчувствие скорых и радикальнейших перемен. На дрожжах чужой славы взбухали амбиции и честолюбия, грозя загрузить работой Нобелевский комитет по литературе по крайней мере до конца столетия.

Общее поветрие не обошло стороной и Влада. Ветер больших надежд вдарил ему в голову, определив для него ближайшую цель: роман! Мысль о романе не оставляла его в покое ни днем ни ночью, она сделалась для него манией, наваждением, идеей фикс. В конце концов он не выдержал, решил бросить все и ринуться в первую попавшуюся глушь, чтобы, отключившись от повседневной суеты, попытаться осуществить замысел или хотя бы войти в него — этот замысел.

Прикидывая варианты поездки, он неожиданно для себя загорелся соблазном махнуть на старое пепелище — в Черкесск, в котором местная братия, по его мнению, охотно поможет ему временно обосноваться где-нибудь в горах.

Через неделю Влада уже покачивало по дороге в поезде Москва—Кисловодск. Литературная жизнь его кончилась, начиналось литературное житие.

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

### 1

Гость сидел перед ним тихий и настороженный, затравленно поглядывал на него, то и дело озирался, терзаемый постоянным, темным, оглушающим страхом:

— Понимаете, — делился гость своей тайной с Владом, — сам я родом из румынской Бессарабии, я вырос в очень богатой семье, но когда пришли русские, отца арестовали и он повесился в Соликамске. Мы тогда жили в Черновицах, и я с детства приучил себя не разговаривать и не думать о политике, но жить там я тоже не хотел, поэтому, когда появилась возможность, я эмигрировал. Уже в ульпане меня пытались завербовать, вы же знаете, в Израиле русские шпионы сидят повсюду, я не сказал им ни „да”, ни „нет”, я выгадывал время, чтобы при первой возможности уехать от них подальше, но с тех пор где бы я не жил, они облучают меня, они вызывают у меня рвоту и головокружения, хотят разрушить мой мозг. Я уехал из страны, я скитаюсь по Европе, как Вечный Жид, но стоит мне где-нибудь остановиться, хотя бы на один день, облучение начинается снова. Понимаете...

— Вы к кому-нибудь в Израиле обращались? — Сознательная всю безнадежность случая, Влад все же попытался пробиться к его сознанию. — Кому-нибудь обо всем этом рассказывали?

— Конечно, рассказывал.

— Кому?

— Жене Главного раввина.

— И что она вам посоветовала?

— Что может посоветовать мне эта старая женщина! Она сказала мне, что если я уже знаю, в какой стране живу, то надо потихоньку привыкать, другого выхода, сказала она, нет, тем более, еще сказала она, слава Богу, мы не вечно живем, когда-нибудь это кончится. И дала немного денег...

Когда Влад думает о тяжелой доле чужбины, он всегда вспоминает этот простой, но мудрый совет: другого не дано, надо привыкать, и, слава Богу, мы не живем вечно, когда-нибудь это кончится.

## 2

Загедан! Слово звучало протяжно и загадочно: то ли аул, то ли село, то ли пограничная застава. И дорога к нему (или — к ней) оказалась под стать названию, такой же протяжной и загадочной, петлявшей по расхлябанному серпантину, наподобие скрученного после стирки полотнища. В провальной глубине придорожного обрыва, низвергаясь вниз, гулко бесновалась стиснутая камнем, голубая с зеленоватым отливом по краям вода, при одном взгляде на которую начинала обморочно кружиться голова, а во рту становилось влажно и кисло. Сосновая чащоба по мере подъема все уплотнялась и матерела, сливаясь впереди в сплошную буро-зеленую зыбь. Временами казалось, что лесовоз, подобранный Влада у шлагбаума Загеданского заповедника, барахтается на одном месте среди этого хвойного месива.

Еще в Черкесске в редакции Андрей Попутько, несколько не растерявший за минувшие годы своей барской вальяжности, посмеиваясь в сторону Влада васильковыми глазами, снисходительно напутствовал его:

— До заповедника тебя Николай наш довезет, а оттуда до места на любой попутной доберешься, там лесово-

зы круглые сутки курсируют. В Загедан я уже дал знать, встретят. Там у нас теперь наш краевой классик Евгений Карпов околачивается, дом себе присматривает. С дружками-художниками заявился, сам вдрабадан и присные его еле лыко вяжут, собаки, так что в поселке уже неделю дым коромыслом, местная пьянь тоже подключилась, директор лесхоза за голову хватается, работать некому, все в лежку, как говорится, смычка рабочего класса с творческой интеллигенцией, тебя только для компании не хватает. — Его массивная фигура заколыхалась от распиравшего ее смеха. — Не знаю, чего уж ты там понапишешь, но зато напохмеляешься вдоволь, знаю я тебя, ханыгу...

В свое время Попутько не раз спасал Влада, ведавше-го у него в газете культурой, от гнева областного руководства и городской милиции, и поэтому сейчас, принимая своего бывшего подчиненного с подобающим положению столичного гостя радушием, все же не упустил случая подчеркнуть здесь особую близость их давних взаимоотношений.

— Завязал, Андрей Лаврентьич, — подыграл ему Влад, — ничего крепче кваса в рот не беру.

— Говори, говори, — провожая гостя со двора, тот покровительственно похлопывал его по спине, — зарекалась ворона дерьмо не клевать. — Он толкнул дверь перед Владом. — Ты теперь вольный казак, без начальства живешь, над тобой не капает. Бывай, на обратной дороге заглядывай...

Редакционный шофер Николай Севрук — тоже обрусевший хохол и тоже подходящего роста — во всем остальном являл собою полную противоположность своему шефу: был тощ, лыс не по летам и молчалив до угрюмости. Лицом точь-в-точь врубелевский Демон, правда, в засаленной спецодежде и надвинутой на самые глаза суконной кепке. Помня его еще по прежним временам, Влад даже не пытался с ним разговаривать,

знал, что из него слова не вытянешь, будет лишь презрительно хмыкать и отплевываться через спущенное окно в сторону обочины.

Так они и промолчали всю дорогу. Лишь на подъезде к заповеднику Севрук разомкнул губы, обронил как бы невзначай:

— Слышал, писать едешь, Алексеич, на всю катушку, надо думать?

Когда-то, кружа на его „Победе” в поисках материала дорогами областной глубинки, Влад по пьянке разоткровенничался с ним о своей затаенной мечте скопить хоть какие-нибудь деньги, бросить все, забраться в любую медвежью глушь и написать наконец большую книгу полной правды, на всю катушку. Как видно, не забыл угрюмый молчун случайной той и нетрезвой исповеди попутчика, отложил в себе до поры, чтобы в надлежащий час напомнить о ней заезжему гостю.

— Попытаюсь, Коля, — не стал лукавить Влад, — может, получится, в нашем деле раз на раз не приходится.

Тот не отозвался, равнодушно сплюнул в спущенное окно и выключил газ:

— Приехали...

Теперь, трясаясь в кабине порожнего лесовоза, Влад примеривался к будущей книге, еще не в состоянии представить ее целиком, но уже инстинктивно прозревая предстоящую ей судьбу. Книга складывалась в нем из обрывков воспоминаний, снов, попутных разговоров, баек, хмельного бреда, полузабытых встреч, негаданных расставаний, рождений, болезней, смертей, смеха, слез, любовного шепота и матерного крика. Голоса, голоса, голоса роились в его сознании, торопясь и перебивая друг друга. Нестройный хор этот с каждым днем становился все гуще и требовательнее, готовый взорваться у него внутри белым безумием. Воистину: „Когда б вы знали, из какого сора...”!

По каким законам, какими неисповедимыми путями они, эти голоса, выскользнув из звукового клубка, выстраиваются в конце концов в более или менее гибкие строки, способные воскресить перед читателем животворящее тепло бытия? Как, каким образом у отдельного человека вдруг возникает потребность собирать в себе мешанину окружающей среды, чтобы воссоздать затем из нее на бумаге мир по своему образу и подобию в попытке оставить после себя нечто более устойчивое, чем его хрупкая плоть? Где, в каком измерении таится источник этой тяги и этого беспокойства, подвигающий пишущих смельчаков на тот соблазняющий их риск, который они берут на свою совесть? Видно, ничем не утоляемая жажда чем-то остаться на земле, запечатлеть себя во времени оказывается для каждого из них сильнее страха перед почти неминуемым возмездием неудачи. Как хотите сторожите, все равно я убегу!..

Лесовоз натужно взывал на крутых подъемах, кружил среди соснового царства, то провисая одним колесом над отвесной пропастью, то упираясь в острую твердь скалы. У водителя — молодого, лет двадцати, дерганого парня — от напряжения даже пот выступил на острых, в белесом пуху скулах, а в обветренных губах змеились нескончаемые ругательства, которыми он словно бы пытался избыть из себя разъедающий его страх:

— Мать твою перемать, дернула меня нелегкая связаться с этой лавочкой, заработков — на хлеб с квасом, а мантулишь не легче космонавтов, мотал я такую жисть в рот, в нос и в слепую кишку, считай, по пять машин за месяц гробится вместе с шоферами, туды твою растуды, у себя путевую дорогу пробить не могут, все денег нет, а на Луну летать хватает, еще и на мелкие расходы остается, едри твою в корень, а чего там делать-то на Луне этой, пыль собирать, что ли, ее и здесь навалом, трам-тарам, там!..

Влада уже начинало мутить от этого иступленного сквернословия, когда наконец за очередным перевалом перед ними вдруг открылась неглубокая, но просторная лощина вся в беспорядочных постройках и скособоченных изгородях. Два-три дымка в разных концах лощины вились над нею, цепляясь за изреженные крыши и оборванные провода. Поселок казался вымершим, и запустение, царившее в нем, только укрепляло это чувство.

— Вроде на этот раз пронесло, — затормозив у ближайшего к дороге дома, он облегченно откинулся на спинку сиденья, — а мне к вечеру обратно да еще с лесом, мотал бы я их душу!

Выбравшись из кабины, Влад, перед тем как захлопнуть дверцу, не удержался, съязвил беззлобно:

— Бросил бы ты, парень, эту канитель, чего изводишься, поезжай в край, садись на троллейбус: тепло, светло и никаких тебе расстройств...

Едва он шагнул в сторону, как от ограды дома отделился и вразвалочку двинулся ему навстречу улыбочивый человек в заливхватски сдвинутой на затылок соломенной шляпе:

— Заждались, Владислав Алексеич, — еще издали распахивался он, — из лесхоза уже нарочного присылали, Попутько с Гнеушевым телефон обрывают, все беспокоятся, доехал ли? — Овальное, в легкой ряби лицо его с тяжелым подбородком сияло от пылавшего в нем радушия. — Евгений Карпов, секретарь краевой писательской организации. — Вблизи стало заметно, что он уже навеселе и что, если ему предложить еще, за ним дело не станет. — Сейчас закусим, чем Бог послал, а потом уж будете устраиваться. Прошу чемоданчик, ничего, ничего, честь гостю...

Во дворе дома, под летним навесом, уже был накрыт стол, вокруг которого хлопотала женская троица: тощая старушонка в повязанном по-деревенски цветастом платочке, косившая в сторону гостя беспокойным

взглядом острых глаз; начинающая полнеть молодая женщина, чем-то походившая на благополучно осевшую в русском доме цыганку, и, как две капли воды, только в уменьшенном размере, походившая на нее, девчушка лет двенадцати, чье жадное любопытство не могла скрыть даже заученно капризная гримаска, как бы навсегда приклеенная к ее кукольному личику.

— Вот, прошу любить и жаловать, мое семейство в полном составе. — Он стянул с себя шляпу и по-актерски раскланялся. — Бабка Настя, Надежда, свет, Ивановна, супружница моя с дочкой Верой в придачу. С утра хлопчут, гостя ожидаючи, а хозяин у чужих людей пробавляется, кому до него дело, хоть к другой уходи...

К хмельному балагурству этому здесь, видно, давно притерпелись: женщины лишь пересмеивались между собой, оставляя гостю самому обвыкаться с хозяйскими выходками.

— А вот и тестек своей собственной персоной, — переключился вдруг Карпов, нацелившись в глубину двора, откуда, из-за столярного верстака, недобро поглядывал на них стриженный наголо, мослатый старик в застиранной майке, — День и ночь на трудовом фронте, старая закалка, еще у Ежова начинал. Ладно, тестек, кончай свою волюнку, Америку все одно не перегонишь, делу — время, потехе — час, гость прибыл, закусить пора, коли есть что выпить...

Старик не отозвался, неспешно натянул на себя выдавшую виды гимнастерку, старательно подпоясался крученым ремешком, тщательно отряхнулся и лишь после этого вышел из-за верстака и двинулся к ним, словно против ветра: набычивши голову и сильно вогнув костистые плечи.

— Слышал, рад знакомству, — подавая руку, он даже не считал нужным скрывать своего равнодушия к гостю, — откликаюсь на Ивана Петровича. — На его широком

и тонкогубом лице не дрогнули при этом ни одна черточка или мускул. — Милости просим.

И пошел себе под навес, как бы раз и навсегда исключая Влада из сферы своего внимания.

За обедом Карпов не умолкал, пил одну за одной, разглагольствовал, предоставляя остальным лишь примериваться к гостю да переглядываться:

— Видал, красотища какая! — Хмелея, он незаметно для себя перешел на „ты”, изредка спохватывался, но тут же забывался снова. — Володька Гнеушев первый за столбил, бывшую почту чуть не за так оккупировал, с таким участком, что дай Бог иному помещику, мы-то уж к шапочному разбору поспели, пришлось остатки брать, такое наше сиротское счастье. Правда, вот тестек сулит небоскреб тут возвести со всеми удобствами, включая личный вытрезвитель, заживем тогда, как у Христа за пазухой. — Он вдруг померк, сгорбился над недопитым стаканом, и голос его пресекся тоскливой усталостью: — Зачем только, вот вопрос...

Потом он водил Влада по заброшенному поселку и, быстро трезвея, рассказывал:

— Раньше тут лесоучасток был, года три как бросили, выбрали лес, какой поближе, и бросили, забираться выше в горы считают нерентабельно. Берем только, что рядом лежит, а там хоть трава не расти, после нас хоть потоп, по принципу „будет день — будет пища”. Уродуем землю да и человека самого уродуем. Строили, строили, обживались, обживались, вон даже кладбище свое завели, а в один прекрасный день какой-то очередной дурак в „крайлесе” пощелкал, пощелкал на арифмометре да и ляпнул резолюцию: „Ликвидировать”. Легко сказать, ликвидировать! Ведь здесь уже микроструктура жизни сложилась, родилось поколение, для которого эта загеданская тмутаракань стала родиной со своей семьей и со своими могилами. Чего же нам ждать от человека, если у него прошлого нет, а будущее в тумане? Вот и

шумит по всему Союзу море разливанное: пей, братва, все равно нехорошо! — Карпов задержал шаг и, как бы принохаясь, втянул в себя воздух. — Вот, кстати, зайдём-ка к Симоненке, он у нас тут и за сторожа, и за лесничего, и за участкового, вся советская власть, так сказать, в одном лице, занятный мужик, а компания его еще занятнее, с утра до ночи похмеляются...

Огибая поселок по кругу, они оказались возле приземистой, крытой толем хатенки с неухоженным огородом на задворках. Одним торцом хатенка упиралась в поросший ажинником срез скалы, другим выходила к ручью, шумно рассекавшему окраину поселка наискосок — от ближайшего ущелья до плескавшейся внизу реки. Из полуразвалившейся трубы над крышей струился белесоватый дымок, а через распахнутую настежь дверь наружу тянуло кислото-сладким запахом тепло-го перегона и свежей барды.

Внутри было душно, сумрачно и тесно. Чуть не треть прихожей занимала здесь плита, на которой бурлил ведерный чугунок с перегонным змеевиком над ним. На скамейке, придвинутой к самой плите, стояла стеклянная банка из-под консервов, куда прерывистой струйкой стекала мутная жидкость из отверстия резиновой трубки, прикрепленной к змеевику изоляционной лентой.

При появлении гостей фигуры, маячившие наподобие китайских болванчиков вокруг плиты, даже не пошевельнулись. Здесь находилось трое: плотный старик в фуражке потертой кожи, надвинутой на оттопыренные, в волосатой поросли уши; тучная, словно застывшая опара, старуха со спущенным на плечи пуховым платком, и щуплый, в недельной щетине мужичонка в абхазской шапочке из войлока на патлатой голове. Все трое стыли в напряженных позах, тоскующими глазами устремляясь на дно стеклянной банки, где дымно клубилась и росла желанная ими влага сивушного забытья.

— Здорово, станишники, — в неестественной бодрости Карпова сквозила насмешливая снисходительность, — не прогоните?

Никто не отозвался, не сдвинулся с места, по-прежнему устремляясь в одну точку, но едва жидкость закрыла дно, старуха заколыхалась, протянула руку к плите, вцепилась в банку всей дланью и, с неожиданной для ее рыхлой плоти ловкостью, залпом опрокинула в себя содержимое. Мгновенно оживший старик тут же поспешил к ней с соленым помидором из стоящей у него в ногах эмалированной миски. Старуха аппетитно втянула в себя розовую мякоть вместе с кожурой, удовлетворенно выдохнула:

— Ласточкой пошла...

Банка сразу вернулась на свое место, и собутыльники снова замерли в нетерпеливом ожидании хмельной манны. Друг за другом, в строгой очередности, они повторили эту процедуру дважды, после чего тот, что был в абхазской шапочке, впервые осмысленно огляделся.

— А, писатели, хератели, маратели, — осклабился он щербатым ртом, — заходите, заходите, у нас без пропуска. „За столом никто у нас не лишний”, — затянул было он, но тут же осекся, — Коли не побрезгуете нашим первачом, милости просим, за так и от пуза...

Владу на своем веку приходилось пить все, начиная от одеколона и политуры до зубного эликсира и денатурата, но даже его при одном виде этой теплой мути заранее выворачивало изнутри.

— Мы уже отоварились, — чтобы не обидеть мужичонку, Влад намеренно подлаживался к его тону, — в другой раз доберем, за нами дело не станет.

Карпов понятливо поддержал его:

— Успеется, Федя, человек с дороги, соснуть треба, всего вина за один день не выпьешь, а завтра подмогнем, не беспокойся. Бывайте, громодяне...

Гости вышли, сопровождаемые смешками и перемигиваниями хозяев, один из которых не утерпел, съерничал им вдогонку:

— Белая кость, мы для их рылом не вышли...

Быстрые сумерки наплывали с гор, стягивая вокруг Загедана хвойную чащу леса. С наступлением темноты здешнее запустение казалось еще более показательным и гнетущим. Все здесь выглядело, будто после схлынувшего нашествия: растерзанным, брошенным, пустым. И только чьи-то голоса внизу у реки напоминали о том, что время не остановилось, что жизнь продолжается и что все идет к лучшему в этом, если и не самом лучшем, то самом нескучном из миров.

— Вот так и живем, Владислав Алексеич, от Чопа до Хабаровска и от Кушки до Диксона, а может, и еще дальше, и не только мы. — Карпов сплюнул в сердцах и сокрушенно замотал головой. — Угораздило же родиться в такое времечко и при таких современниках! Впрочем, каждый по-своему с ума сходит. Возьми хоть эту пенсионную пару, век свековали, а голову преклонить негде, вот и остались тут жизнь на развалинах доживать у самогонного аппарата. Ну и доживают под чутким руководством участкового Феди Симоненки, как говорится, народ и партия едины. — Он остановился у добротного, в шесть окон, дома с аккуратным палисадником, уходившим в глубину леса. — Это и есть володькин дворец, еле у начальства отстоял, на слом пустить хотели. Тут и остановитесь. — Протянул ключ, приподнял шляпу. — Насчет постирушки или там пришить-вышить, женщины мои спроворят, обращайтесь без церемоний... Благих снов, Владислав Алексеич!..

И все так же, вразвалочку двинулся в темноту, вниз, к плескавшейся там речке...

Уже сквозь сон к Владу пробился доносившийся с другого конца поселка истошный, со старческим надломом голос:

— Расчет, слушай мою команду! За родину, за Сталина, по немецким захватчикам — огонь! Смерть немецким оккупантам!..

„Веселие Руси есть пити, — мысленно подытожил Влад, проваливаясь в сновидения, — может, и вправду так?“

### 3

Пять лет спустя в Нью-Йорке, он вспомнил те слова в мастерской у дурга-скульптора, где жена и свояченица миллионера-сенатора, известного своей высокомерной глупостью и тягой к радикальным идеям, потеряв счет бесчисленным скотчам, коньякам и водкам в разных смешениях, с собачьим лаем поползли друг на друга по полу, плакали и смеялись, пробовали даже нестройным дуэтом изобразить на ломаном русском „Подмосковные вечера“ в надежде, что это должно понравиться варварам из России, которых они навестили в промежутке между зваными коктейлями, а затем, предварительно обмочившись, отключились и заснули под столом, очень довольные собой и хозяевами...

Веселие Руси есть пити! Одной ли Руси? И такое ли уж веселие?

### 4

Дни потекли, едва отличимые друг от друга. С утра Влад затопливал печь во дворе, на скорую руку соорудил себе нехитрый завтрак, поспешно, почти не чувствуя вкуса, управлялся с едой и сразу же садился за пишущую машинку.

Строчки тянулись одна за другой, исподволь облегчая Влада от накопившегося в нем за сорок лет жизни гре-

мучего многоголосья. Многое из того, что слышалось ему теперь, на бумаге неожиданно глохло, тускло, ослаблялось, словно отражение в замутненном зеркале, но слабая ткань все же медленно оживала, обретая в конце концов некое подобие живого действия, в карнавальной карусели которого сливалась, сплавливалась в единую цепь гудящая в нем пестрота прожитых лет: кирпичная дорожка от парадного до ворот на Митьковке, запах сушеной малины в доме деда в Свиридово, желтый цвет алычи в аджарских усадьбах, колкий вкус паровозной гари на всех дорогах от Москвы до Краснодарска, в плотном кольце лиц и голосов. Иных уж нет, а те дале-че.

По вечерам заглядывал Карпов, по обыкновению навеселе, в развалочку мерил горницу из конца в конец, выворачивался наизнанку, будто запрашиваясь на ответную откровенность:

— Завидую я тебе, Алексеич, ни семьи, ни детей, ни партийной организации, хочешь гуляй, хочешь в стол пиши, а я у всех, как вошь на аркане, кому только не должен: всем давай, перед всеми отчитывайся, шагу ступить лишнего не могу, сразу за руки хватают: не имеешь права! — Рябое лицо его сводило горечью и досадой. — Как пошла жизнь смолоду через пень-колоду, так и не кончается, из одной петли вылезу, в другую — влезу. Хотел актером стать, война по-своему переиграла. До фронта не доехал, а контузию по дороге отхватил такую, что до сих пор голова по утрам кружится. После войны кто побойчее да посообразительнее учится подались, тогда нашего брата—фронтовика почти без экзаменов брали, а у меня старики на шее, содержать надо, пришлось на работу устраиваться. Определился, как заслуженный горе-воин, завмагом в райцентре и, разумеется, без году неделю не проработал, сгорел, как швед под Полтавой, на первой же недостаче. Получил по тогдашнему уважению к боевым заслугам детский срок — два года, отбы-

вал на Волго-Доне. И снова сиротское счастье: нормальных людей на земляные работы, а Карпова в самоохрану, анкета уж больно подходящая: из беднейших слоев, демобилизованный, классово близкий и прочая и прочая. Служба — не бей лежачего, от нечего делать стал стишки пописывать, даже печатался в лагерной многотиражке. Освободился досрочно, к тому времени старики мои приказали долго жить, казалось бы, никаких больше обязательств, берись за ум, рискни по-настоящему, ведь есть что порассказать людям. Нет, дернула меня нелегкая в Литинститут подать, а когда приняли, понял я, что уже из этой трясины не выберусь. Заарканили меня сразу, с первого курса, видно, опять анкета поспособствовала: сначала в партию, потом в партбюро, и пошло-поехало, чем дальше, тем больше. Ребята пьют, гуляют, пишут, о Пастернаке спорят, а я, как проклятый, над протоколами корплю, резолюции и докладные сочиняю, мероприятия организовываю. Покойный Константин Георгиевич Паустовский, я у него в семинаре числился, при встречах не раз корил меня: „Чего это, Женя, вы все суетитесь, писали бы лучше, жизнь-то уходит”. Я и пытался было, чего-то начал да только до первого телефонного звонка или повестки из партбюро, не для того меня зацепили, чтобы запросто отпустить, таков уж закон этого болота, который называется у нас общественной деятельностью, попробуй теперь, выберись из него! Нарочно после института домой не вернулся, здесь хотел спрятаться, думал, к чужаку не пристанут, оставят в покое, только не тут-то было, не успел я нос показать в Ставрополе, как меня мигом захомутали: и в начальство определили, и женили, и членом крайкома сделали, а теперь, куда ни кинь, всюду — клин, деваться некуда, тяни свою лямку, Карпов. — Вышагивая мимо Влада, он уважительно покосился в сторону лежавшей перед ним рукописи. — Вон уже сколько накатал и, надо думать, не прикидывал — пойдет или не пойдет, для себя,

для души выкладывался, а Карпову, кровь из носа, к осени приказано книжку о передовиках производства сдать, в гробу бы я этих передовиков видел, в белых тапочках! — У него даже голос пресекся от возбуждения. — Эх, мне бы твою вольную волюшку, я, может быть, тоже бы не сплоховал. Хотя, — поник он снова, — правду говорят, что херовому танцору яйца мешают. — И тут же шагнул за порог. — Ладно, пойду, бывай здоров, Алексейч!..

Он уходил, оставляя Влада раздумывать над услышанным. Но прерванная работа не уделяла ему времени для этих раздумий, и, едва за гостем захлопывалась дверь, он вновь погружался в звучный омут, призванный его памятью к яви и движению.

Временами он уставал, глох, терял нить повествования, слова делались полыми и неподатливыми, голова наливалась ломотой и свинцом, глаза начинали тяжелеть и слезиться. Тогда его тянуло вон из дому, в запустелую тишину лощины.

Тесно обступившие поселок вершины, громоздясь друг на друга, карабкались вверх, чтобы в головокружительной синеве холодного неба воздеть на себя ослепительно блистающие под солнцем снеговые шапки. Лес, оттесненный когда-то людьми к горным подножьям, вновь смыкался вокруг заброшенного жилья в неистребимой тяге восстановить здесь свое, попранное человеком естество и господство: сквозь поваленные изгороди, щели гниющих построек, паутину троп и тропинок, наперекор тщете дела рук человеческих, лезла, ползла, прорывалась стихия дикого разнотравья, колючей поросли и хвойного молодняка.

Влад часами бродил по поселку, заглядывал в утлые закутки и сараюшки, бесцельно слонялся из одного растерзанного помещения в другое, напрягаясь хотя бы мысленно вообразить себе быт, круживший в прошлом под этими крышами, но целое ускользало от него, не

обозначив свое присутствие здесь ни одной приметой или деталью. Пахло древесной трухой, засохшим пометом, затхлой пылью ветоши, гнилью, плесенью, ржавчиной. Казалось, что та жизнь, которая однажды пыталась зацепиться тут, была скорее чьей-то временной блажью, капризом больной воли, чем всамделишной оседлостью людской плоти. Все проходит.

Изредка он спускался к шоссе, где в придорожных халупах-развалюхах ютились нахлынувшие сюда из краевого центра, подальше от глаз начальства и семейного надзора, художники. Работали они мало и кое-как, чтобы только поддержать репутацию у местных властей, остальное же время пили по-черному, ругались, дрались, мирились, плакали, выли, матерились то от злобы, то от восторга и снова дрались, и снова мирились.

Заходить к ним Влада не тянуло, знал, что ничем другим, кроме пьянки с последующим мордобоем, такой визит кончиться для него не мог, но постоять, послушать в стороне загульную болтовню случая не упускал: все, каждая мелочь, любое, ненароком оброненное слово были сейчас способны оживить, озвучить неожиданно оглохшую в нем карнавальную ворожбу...

— ...Вызывают, это, меня к самому на ковер, — доносило до него с другой стороны дороги, — смотрю, ничего, вроде в духе: „Есть, — говорит, — Хворостюк, для тебя партийное задание написать портрет знатной доярки, Героя социалистического труда, депутата Верховного совета Ганичевой Дарьи Тихоновны, понятно?“ — „Не извольте беспокоиться, — говорю, — Иван Палыч, оформим в лучшем виде, хоть в масле, хоть в мраморе, доверие партии для меня — закон“. Привезли мне эту самую доярку в мастерскую, смотрю, ничего бабцо, годится, можно на дурака натянуть, только дрожь берет, а ну крик подымет, еще и настучит потом? Хана мне тогда полная, Иван Палыч, сами знаете, шуток не любит. Решил я ее на понт взять. „Понимаете, — говорю, — това-

рищ Ганичева, чтобы по-настоящему вжиться в образ, мне необходимо изучить анатомию вашего тела, динамику ваших движений, может, конечно, это вам в диковинку, но таковы, увы, законы нашего искусства”. Думал, кочевряжиться начнет, хоть для виду, ничего подобного, раздевается, как миленькая, безо всяких разговоров, только шмотье летит. Дальше — больше, подхожу, осматриваю, вроде бы изучаю по законам искусства, ничего, сопит только. „Теперь, — говорю, — попробую исследовать вас на осызание, это, — говорю, — помогает конкретному восприятию природы”. Не успел дотронуться, как ее чуть не падучая заколотила, вся красными пятнами пошла. В общем, братцы, показала она мне высший класс верховой езды! Какой уж там портрет, какое искусство, день и ночь пахал, только и успевал что похмеляться. На третий день до точки дошел, ноги-руки дрожат, а в глазах круги зеленые. Пришлось подмогу звать, гоняли мы ее еще с неделю в четыре смычка, хоть бы что лахудре, сопит да посмеивается. Допились до того, что звезду ее золотую толкать пошли. Сунулся я к одному знакомому барыге, тот даже разговаривать не стал. „Иди, — говорит, — в утильсырье, там такое золото по девять копеек пуд идет, железяк этих, под рыжье крашенное, на Монетном дворе тысячами гонят, дураков тешить, лишь бы вкалывали. Хочешь, — говорит, — возьму за бутылку для коллекции?” Так и пошла эта звезда за бутылку Кубанской по два пятьдесят две. Пропились и вымотались мы тогда, братцы, до последнего предела, а ей хоть бы что, живет и уходить не собирается. Пришлось нам всем рвать от нее когти, за городом отсиживаться, оставили курву в мастерской, она еще там с неделю ошивалась, все, видно, ждала, что вернемся, потом смылась-таки к себе в колхоз коров додаивать на благо народа. Портрет я уж после, по фотокарточке дописал, Иван Палыч сам принимал, доволен остался, приказал гонорару из крайкомовских доплатить...

„Так и гнием заживо, — вдруг пришло ему в голову на обратном пути, — вроде развалюх этих, куда только от всего этого деваться!”

Как-то, в одну из таких вынужденных прогулок, Влад почти лицом к лицу столкнулся в темноте с Иваном Петровичем, карповским тестем, который, вопреки обыкновению, не прошел, нехотя поздоровавшись, мимо, а придержал шаг:

— Наше вам, Владислав Алексеич, не спится, что ли?

— Гуляю, Иван Петрович, — состорожничал Влад, чтобы не попасть впросак, — вечером легче дышится.

— Могу компанию составить. — Долгая тень его, пристраиваясь к Владу, медленно заколыхалась. — Не помешаю?

Некоторое время они шли молча, шлепая по теплой пыли и принаравливаясь друг к другу. Старик сопел где-то у него над ухом, то и дело досадливо покрякивал, остервенело сплевывая себе под ноги и наконец не выдержал, заговорил:

— Распустился народ до крайности, прямо скажем. Пьют без просыпу, безобразничают, нет на них никакой управы, совсем сошли с тормозов, пропьют, прогуляют страну, сукины дети! Как умер хозяин, так все сошло с рельсов, пошло под откос к чертовой матери. Был бы жив, не допустил такого разгильдяйства, враз бы укоротил, у него, бывало, не забалуешься: не хочешь по-людски жить, топай к стенке или на лесоповал мозги проветривать. А теперь что творится: хочу работаю, хочу — нет, языки распустили, хоть на подметки режь, никому слова не скажи, в драку лезут. В наши поры не больно бы разговорились, раскрыл варежку, когда не спрашивают, получай девять грамм в затылок, а при снисхождении от червонца до четвертака, вот и вся недолга. Немало мы тогда сволочи на распыл пустили, сам в этом деле не без участия. Я ведь с Николаем Ивановичем Ежовым, как с тобой вот, рядышком, не раз хаживал, порох был

человек, но справедливый, это на него теперь все шишки валят, у кого рыло в пуху, а он, головой надо думать, не сам решал, Сталин приказывал, тут шутки плохи, приказано — выполняй или стреляйся. Бывало, вызовет он нашего брата, наркоматского, на распек, глянет белыми глазами исподлобья, душа в пятки прячется. Блокнотик настольный перед ним нараспашку, а в руках, как всегда, два карандашика — синий и красный. Вертит он ими в пальцах, будто нашей судьбой вертит. Знаем: синий карандашик — перемещение, красный — смерть. Назовет фамилию, а сам карандашики эти из руки в руку перебрасывает, смотреть, так за один миг десять раз умрешь. Чего и говорить, умел человек с коллективом работать, потому и порядок был настоящий, не то что теперь. — Долгая тень его вновь заколыхалась и тут же слилась с темнотой. — Бывайте, утро вечера, как говорится!

И растаял, слился с темнотой...

Ночью Владу снилось большое поле, в другом конце которого призрачно струилась разновысотная громада незнакомого ему города. Поле, покрытое острой осокой, то и дело проваливалось под ним, он беспомощно барахтался, выбираясь из очередной ловушки, кое-как двигался дальше, а расстояние до города все не сокращалось, контуры зданий становились еще призрачнее, и в нем уже угасала надежда когда-нибудь добраться туда, но в минуту крайнего отчаянья его вдруг осенила спасительная догадка: надо взлететь! И он взлетел, плавно раскачиваясь над землей и задыхаясь от головокружения...

Влада разбудил стук за окном у калитки. Медленно приходя в себя, он поднялся, потянул на себя оконную створку: за изгородью маячила уже знакомая ему шаткая фигурка в потертой кожаной фуражке на патлатой голове, устремляясь к нему искательным взглядом:

— Писатель, дай рубль, спляшу!

Пора, красавец мой, проснись...

Вспомнилось Владу об этом загеданском пробуждении, когда однажды в Париже они пешком возвращались с приятелем домой из долгих гостей. Промозглая сырость висела над городом, сообщая окружающему атмосферу пустоты и бесприютности.

В одном из многочисленных сквериков, попадавших по дороге, им довелось тогда наблюдать довольно любопытную сцену. Молодая монашка осторожно, с явной опаской, кончиками пальцев пыталась разбудить спящего на садовой лавочке клошара. Тот долго не отзывался, но монашка становилась все настойчивее, и наконец он выпростал из-под одеяла свое заспанное, в серой щетине лицо, после чего, с заметной досадой выслушав ее, что-то коротко буркнул в ответ и тут же снова с головой накрылся тем же одеялом.

Приятель, посмеиваясь, перевел Владу состоявшийся между сторонами короткий диалог:

— Бедный человек, — сказала она, — я хочу вам дать десять франков, чтобы вы могли поесть и немного согреться.

— Слушай, паскуда, — ответил тот, — я дам тебе пятьдесят, только ради всего святого, отстань от меня, я хочу спать...

Ничего не поделаешь, выражаясь языком советской печати, можно сказать: их нравы!

Вечера становились все темнее и глуше, лето торопливо шло на убыль. По ночам в окнах стояла такая темь, что, казалось, ее можно резать, как масло — ножом. В такие ночи химеры прошлого принимались обступать его со всех сторон, возвращая его из одной пережитой

им ипостаси в другую. Он ощущал себя то вечно голодным мальчишкой в эвакуации среди матерых движенцев и паровозников, то подростком в крикливой толчее на кутаисском базаре, то юношей — обитателем психушки в Кувшинове, то молодым парнем на кирпичном заводе в Пластуновской, а то начинающим газетчиком с первой книжкой стихов в руках. Химеры роились в окружении запахов своей поры: угольную гарь тыловых разъездов перебивали пряная духота южной снеди, запахи мокрой древесины, пыли свежеобожженного кирпича и типографской краски. Химеры звучали, вызывая из минувшего небытия резкую переключку локомотивов, гортанную грузинскую речь, волчий вой над заснеженной степью, шелест страниц, стук дверей, обрывки разговоров, шепот, чье-то дыхание. Все было так явственно, так ярко, так осязаемо, что временами ему грезилось, будто он сходит с ума.

Но по утрам, как всегда, заходил Карпов, сидел, нудил, жаловался на жизнь, и бредовая явь улетучивалась, оставляя его лицом к лицу с безликой повседневностью:

— Быт заедает, старик, не писателем — добытчиком сделался, видел, сколько их у меня, и всех одеть надо, обувь, на хлеб с маслом достать.

— А если без масла попробовать, Женя? — исподволь заводил Влад.

— Заедят, — сокрушенно вздыхал тот, — сживут со свету, один папаша моей благоверной чего стоит: сам брал, сам оформлял, сам приканчивал, он если вцепится, света не взвидишь белого, и до сумы и до тюрьмы доведет. Старушка, тоже я тебе скажу, не мед — ее даже комары не кусают, на ней хоть плакат пиши: „Осторожно -- яд!“, такая разок укусит, никакие уколы не помогут, а ведь есть у меня кое-что, — он ткнул себя пальцем в висок и в грудь, — и тут, и тут, и порассказать чего тоже имеется, век даром не свековал, на печи не леживал, эх старик!

Близка, знакома была Владу разъедающая гостя мука, когда кажется, что вот-вот, только сядь за стол, полетят, потянутся из тебя такое, что целый свет ахнет, но по тому же опыту известно ему было тоже, как обманчиво, как иллюзорно оказывается порою оно — это состояние — на поверку: памятные мысли, цвет, звук, перекипев в едких щелочах нетерпения, зависти или обиды, превращаются в конечном счете в словесную труху.

В один из таких разговоров Карпов однажды и предложил ему:

— Слушай, Алексеич, давай-ка махнем в горы к чабанам, по дороге и потрепемся, как говорится, на текущие темы, заодно и мясца добудем, у них это там запросто, овцой больше, овцой меньше, лишь бы с бутылкой пришли, да и тебе проветриться не мешает, чего сиднем сидеть, общение с народом, сам знаешь, — рябое лицо его расплылось в издевательской ухмылке, — вдохновляет на создание произведений, достойных нашей эпохи. Махнем, Алексеич, не пожалеешь!..

Раннее утро следующего дня застало их уже в дороге. Через мостик над Кубанью, не мостик даже, а висячую качалочку, они перебрались на другой берег и, миновав сплошь заросшее малиной подножье, углубились по восходящей тропе в лес, сразу закрывший полнеба впереди. Сбоку, внизу, в ущелье, наподобие молочной реки, плыл туман, растекаясь по кисельным берегам спелого ажинника, который повсюду сплетался здесь в непроходимый покров. В тяжелых росах ноги ломило, будто в проточной воде.

— Держи ухо остро, — не оборачиваясь, втолковывал ему на ходу Карпов, — карачаевцы это тебе не черкесы и не абазинцы, тем более, не ногайцы. Тех пообломали, вышколили, выгучили перед старшим братом по струночке ходить, а эти — нет, сколько их по тюрьмам и ссылкам ни таскали, сколько ни гнули в бараний рог, не сдались, свою честь блюдут и себя помнят, других, между

прочим, тоже: если ты к нему с уважением, он для тебя в лепешку разобьется, будь ты хоть сто раз русский, люблю я их, чертей, около них человеком начинаю себя чувствовать.

— Встречал я их в Казахстане, — одышливо соглашался Влад, напрягаясь следом за ним, — действительно — стоящий народ.

С непривычки подъем оказался нелегким: видно, снисходя к гостю, Карпов по мере подъема учащал привалы, заводил костерок, поил его чаем, снедью домашней подкреплял, а снова поднимаясь в дорогу, всякий раз обнадеживал:

— Ну, теперь — рукой подать, держись, Алексеич, раз-другой сходишь — втянешься, сам просишься будешь...

Но лес вскоре и впрямь поредел, ущелье раздвинулось и посветлело, в небе впереди ослепительно плавилась остроконечные шапки горной гряды. Сначала где-то там, за дальним редколесьем, растекся приглушенный крутым подъемом собачий лай, затем оттуда маняще потянуло жилым дымком, и наконец после прореженного подлеска перед ними распахнулось ровное, в пестром разнотравье плато в густой короне из эдельвейсов по краям. „Ничего себе лукоморье, — облегченно вздохнулось Владу, — жить можно!”

От двух брезентовых палаток, стоявших ближе к лесу, около воды, навстречу гостям с яростным лаем бросились было собаки, но, послушно откликаясь на хозяйский окрик, с полпути повернули обратно и сразу смолкли, лениво улеглись каждая на своем месте, будто и не поднимались вовсе, а сам хозяин неторопливо двинулся на сближение с путниками — плотный, приземистый, уверенный в себе.

— Здоров, Исмаил! — Неводом раскинув руки и явно заискивая, Карпов поспешил заступить тому дорогу. — Вот москвича к тебе в гости веду, не прогонишь?

— Здорово, Женя, — тот говорил по-русски так, словно сам был родом откуда-нибудь из Подмоскovie, только оставался суше, сдержаннее собеседника, — места много, всем хватит. — Походя сунув Карпову руку, чабан легонько, без вызова отстранил его и оказался лицом к лицу с Владом. — Далеко, парень, забрался, до Москвы отсюда ой-ой-ой! — Рукопожатие карачаевца было коротким и жестким, ореховые, навывкате глаза выглядели на скуластом лице чужими и всматривались в гостя из-под козырька кожаной фуражки с вопросительным любопытством. — Надолго?

Влад поймал себя на том, что невольно уходит от его глаз, словно чувствуя какую-то давнюю, хотя и бессознательную вину перед ним:

— Да нет, скоро домой, пора уже, засиделся. — И снова против воли перевел разговор в более безопасное русло. — Красота тут у вас!

Тот внимательно проследил за восхищенным взглядом Влада и, как бы впервые по-настоящему рассмотрев окрест, великодушно согласился:

— Ничего. Выше — лучше, там озера такие — дно видно, только туда тропы нету, без привычки не подняться. — И повернул к палаткам, кивком головы приглашая их за собой. — Отдыхайте пока, сейчас барашка резать будем. Бахыт! — Громко отнесся он в глубину ближней к ним и распахнутой настезь палатки. — Дело есть!

В затаенном треугольнике брезентового жилья выявилась гибкая фигура парнишки, почти мальчика, с преданной готовностью устремленная к старшему:

— Дядя Исмаил?

Затем, чуть ли не в одно мгновение, между ними состоялся безмолвный, но зрительно весьма красноречивый разговор: парнишка, судя по всему подпасок, пренебрежительно скосил было настороженный, словно у замершего на месте олененка, глаз в сторону гостей, но тут же обмяк под предупреждающим взглядом хозяина,

послушно отдаваясь его воле. „Что нужно этим гяурам, — поторопился юнец, — откуда опять эти русские?” — „Не твоего ума дело, — было ответом, — слушай меня и не вздумай дурить!”

— Разведи огонь, — походя бросил ему вслед за этим чабан, — я сейчас вернусь...

Когда над трепетным пеплом потухающего костра за-трещали сухие сучья, а поверх пастбища вытянулся от него синий дым, тот показался из-за дальней палатки с освежеванной овечьей тушей на плече и ведром внутренностей в руках, на ходу отдавая напарнику короткие распоряжения:

— Бахыт, подай тесак, соль, шампура. Это, — он поставил ведро у входа в палатку, — скорми псам. — И снова уже в полутьму жилья. — Не забудь хлеб и посуду.

В привычных и умелых руках горца туша на глазах у них превратилась сначала в профессиональный чертеж для Гастрономических плакатов, затем в небрежно, но ровно искромсанный мясной набор и наконец плотно нанизанная на шампуры, в шипящей над костром шашлык.

Работа делалась молча, споро, сосредоточенно, с врожденной уверенностью в ее важности и правоте. Тишина как бы входила в ритуал чабана в его священнодействии у костра, и, лишь снимая первый шампур с огня, он позволил себе заговорить:

— По обычаю, — протянул он шампур Владу, — новому гостю главная честь. — И к Карпову. — Наливай, Женя, в Рамадан отмолимся.

В трапезе парнишка участия не принимал, сидел сбоку от костра, уткнув округлый подбородок в острые колени, упорно смотрел в огонь, будто задался разглядеть там что-то такое, что могло бы объяснить ему некую изводившую его загадку. „Да, парень, — присматривался к нему Влад, — досталось тебе не по летам”.

От выпитого чабан почти не пьянел, только желтые навывкате глаза его горячо увлажнялись.

— Трудно в Москве жить, был я в Москве: все бегут, все кричат, все не слушают, людей много, места мало, какая там жизнь, пойти некуда — везде дома и дома, машины и машины, трудно человеку в таком городе.

— Везде нелегко, Исмаил, — умиротворенно расплылся Карпов, — у нас в Ставрополе тоже нелегко.

— У вас, видно, так и есть, а у нас тут, — текущий взгляд его потянулся вдоль пастбища, в глубь долины, туда, к подножью голубых гор, — человеку жить можно: куда хочешь иди, сколько хочешь думай, никто не мешает, никто не следит. — Он расслабленно поднялся и шагнул к жилью. — Жарко, однако, отдыхать надо. — И уже оттуда снова распорядился. — Бахыт, дай людям одеяла, на земле нельзя...

Солнце вступало в зенит, скрашивало вокруг тени и оттенки, отражаясь во всем — в предметах, травах, воде и вершинах ровным бесстрастным светом. В струящемся воздухе держалось слитное зудение мелколетающей твари. Лес недалеко манил обманчивой тенью и призрачной тишиной. Было сухо, душно, безветренно. Сквозь дремотную истому даль в проеме распахнутой палатки выглядела чуть выцветшей треугольной открыткой из тех, что продаются в туристских киосках, оживляемой лишь инстинктивным подергиванием распластанных вблизи собак, которых донимала неутомимая мошкара.

Затем, уже на самой границе яви и сна, Влад отметил, как одна из этих собак — белая, с желтыми подпалинами — лениво поднялась, подобрела к холстине, прикрывавшей от солнца остатки недоеденного мяса, зубами вытянула из-под нее порядочный кусок и, все так же лениво вернувшись на место, принялась за него, без особой, впрочем, жадности.

Очнувшись, Влад прежде всего увидел у скомканной холстины чабана, который с угрюмой вопросительностью поочередно оглядывал безвольно распростершихся

перед ним собак, то и дело переводя еще полусонные глаза с них на то место, где он незадолго до этого укрыв остатки освежеванной туши.

— Какая, знаешь? — Его медленный взгляд вцепился во Влада. Заметил, да?

Еще едва придя в себя, а потому и не задумываясь, Влад кивнул в сторону бело-рыжей и тут же спохватился в растерянной попытке остановить неминуемую расправу:

— Погоди, Исмаил, погоди, — Влад одним махом выбросился наружу, — во сне всякое может померещиться...

Но тот, уже не слушал его, скрылся в соседней палатке и тут же вновь появился оттуда с охотничьим карабином в руках. На ходу горец в два резких движения вогнал заряд в гнездо ствола, направляясь к предполагаемой виновнице пропажи. В его приближении та сразу почувствовала смертельную угрозу, но даже не сделала попытки отпрянуть или хотя бы подняться, а только заскулила — тихонько и жалобно. И столько мольбы и ужаса сквозило в ее обомлевших глазах, что Влад не выдержал, снова бросился к чабану:

— Может, не эта вовсе, Исмаил, зачем же вот так, не думая?

Тот одним коротким вздергом локтя сбросил с себя первое же его прикосновение, шагнул мимо, подступился к собаке, подвел дуло к ее голове и спустил курок. Сразу следом за выстрелом тело вздрогнуло и конвульсивно вытянулось, из-под уха, прижатого к траве, проступило дымящееся, почти черное в догорающем свете дня пятно.

— Если человек украдет, пожалей его и накорми, человек — он поймет, — повернулся к Владу чабан, — если собака — убей, не исправишь...

В эту ночь Влад долго не мог уснуть. В гулкой темноте долины перед ним маячили полные ужаса и мольбы

собачьи глаза, жизнь в которых оказалась в такой неожиданной зависимости от его небрежного кивка. Мог ли он теперь, после всего случившегося, поклясться, что не поспешил, не ошибся, не затмился случайной догадкой? Впервые на веку чувство вины в чьей-то, пусть даже только собачьей гибели отяготило ему совесть и заставило его задуматься над тем, какой тяжкий груз берет себе на душу человек, невольно греша против другой, порою и неразумющей твари. Сколько раз потом, в иной среде и при иных обстоятельствах, в нем будет возникать соблазн довериться первому же порыву вражды или подозрения, но неизменно в таких случаях в памяти у него всплывет тот знойный день в горах, угасавший в обомлевших глазах сторожевого пса, всплывет, спасая его от губельного наваждения.

Тем временем за брезентовым пологом палатки складывался, переплетаясь в два голоса, негромкий, но разборчивый разговор:

— Парнишку-то, — спрашивал Карпов, — опять другого взял?

— Скучно теперь в горах молодым ребятам, — сокрушенно вздыхал собеседник, — в город бегут, там кино, танцы-шманцы разные, магазины — рестораны, а в горах ничего такого нету, где тут веселиться, с кем языком чесать, с одними овцами только, еще с собаками, неинтересно им, они внизу выросли, не знают гор, не любят, скоро по-карачаевски говорить забудут. — Помолчал, повздыхал, продолжил: — Так думаю, этот не уйдет, сынок друга моего, мы с его отцом с одного аула, на фронте тоже вместе воевали, он из ссылки три раза бежал в Москву жаловаться, правды искать, на третий раз ему срок намотали, в лагере потом пропал, жалко его, нам тогда только пять лет оставалось, Указ вышел вернуть нас, без отца парень вырос, около меня, давно со мной просился, маленький был, теперь вырос — можно, пускай привыкает, хороший чабан получится.

— Опериться не успел пацан, — посочувствовал Карпов, — а уже за спиной судьба человеческая.

— Карачаевская судьба, Женя.

— Не только, Исмаил, не только.

— У нас особенная.

— Может быть, и так, Исмаил, может быть, и так...

Под эту их неспешную беседу Влад наконец и забылся душным, с обморочными провалами сном, а когда опомнился, увидел в проеме распахнутой палатки смеющегося Карпова на фоне осяянного солнцем горного утра:

— Подъем! — весело похахатывал тот, выманивая его наружу. — Петушок пропел давно!..

Провожая гостей, чабан добродушно напутствовал их:

— Заблудитесь, поворачивайте обратно, еще барана зарежем, дорога одна, баранов — много.

При этом Влад отметил про себя, что подпасок так и не показался, чтобы проститься.

## 7

Сташевский — убийца проживавшего в эмиграции западноукраинского вождя Степана Бандеры — в ответ на вопрос, когда, в какой момент в нем произошел перелом, толкнувший его стать невозвращенцем, рассказывал:

— Однажды приехал инструктор из Москвы обучать меня пользоваться новым химическим пистолетом. Мы поехали в лес под Мюнхеном. Мои провожатые прихватили с собой собаку, чтобы поставить на ней первый опыт предстоящего убийства. Едва инструктор стал привязывать собаку к дереву, она всем своим звериным инстинктом почувствовала, что ей приходит конец. И в эту минуту я увидел ее глаза, мне трудно передать словами, что отражалось в них, но с того момента мне ста-

ло ясно, что отныне у меня больше не поднимется рука на человека, кем бы он ни был...

Вы, наверное, знаете, с чего в горах начинаются каменные обвалы? С камешка, господа, с крохотного камешка!

## 8

К вечеру следующего дня Влад стал собираться в обратный путь. Его властно потянуло туда, вниз, на пыльную равнину, в асфальтовый чад городского бедлама, в сутолоку и суету московских сборищ и посиделок. Вещь близилась к концу, и, чтобы завершить ее, ему требовался еще один лишь толчок чьей-то поддержки, чьего-то одобрения, чьих-то сочувственных напутствий или хотя бы дельных советов. Но в то же время, по его мнению, следовало попытаться обезопасить себя от предупредительной петли возможного противодействия Галины Борисовны, а в том, что такое противодействие ему придется выдержать, он не сомневался.

Все походное имущество Влада вместе с рукописью и машинкой разместилось в одном чемодане. Затем он принялся наводить в доме порядок, для чего ему пришлось только сполоснуть посуду и вымести наружу сор. Этим и закончились его недолгие сборы. Еще одна, хотя и краткая часть его жизни, становилась прошлым, отложив в нем память о новых судьбах и запечатленных местах. Отныне, куда бы ни занесла его нелегкая, Загедан будет тянуться за ним по пятам, как очередной знак, веха, отметина предназначенного ему пути.

Но предстояло еще последнее прощание. Выйдя из дому, Влад двинулся навстречу редким огонькам, маячившим перед ним в полутьме. В наступающих сумерках поселок выглядел еще более заброшенным, чем обычно. Лес вокруг взмывал в густеющее небо, нависая над ут-

лым жильем наподобие черной короны, осыпанной звездным крошевом. Прерывистое поплескивание реки внизу было единственным, что разряжало сдавленную тишину вокруг. Даже не верилось, что где-то за этим взмывающим в небо лесом мог существовать, разламываясь в огнях и дорогах, крике и гуле, в слезах и крови, другой мир, где жизнь корчилась от терзающих ее темных страстей и мучительных противоречий. (Через годы, в эмиграции, в нем сложится о том времени: „Мы жили все в одном Содоме, где были ложь и кровь в чести, и страшно было в нашем доме не слово — звук произнести“.)

Знакомая тропа, огибая поселок, вывела Влада к замшелой времянке лесничего, откуда привычно веяло сивушным перегонном. В распахнутой настежь двери, словно в прямоугольнике фламандской работы, он вновь обнаружил все ту же классическую мизансцену: в желтом свете керосиновой лампы четверо вокруг раскаленной плиты в тех же, что и в первый день его приезда, позах, тот же чугунок со змеевиком, та же скамья, та же на ней стеклянная банка из-под консервов.

Влад так и не решился разрушить своим появлением гармонию этого взыскующего ожидания и, проходя мимо, прощально благословил их нерасторжимое единство перед лицом витавшего над ними хмельного забвения. Бездельник, кто с нами не пьет!

Во дворе у Карповых за столом под навесом выделялись во тьме две фигуры, и, едва он потянул на себя калитку, одна из них поднялась во весь рост, тут же выжившись в лунном освещении:

— Алексеич, ты, что ли? Подгребай на подмогу, а то тут тестек мой заклевал меня напрочь, вдвоем, глядишь, как-нибудь отобьемся.

— Видал я таких умников, — хмелеющим голосом откликнулся из темноты старик, — у меня такие умники мочу за собой пили, дерьмом закусывали, все на свой

лад перекроить хотите, не вы первые, не вы последние, мы вам такую смазь заделаем — век помнить будете, ишь ты какие вожди выискались, кишка тонка!

У Влада не было ни времени, ни охоты включаться в их застольную перебранку. Включиться в нее сейчас, хотя бы шутя, обещало долгую полуночную пьянку, а этого перед дорогой он позволить себе не мог, поэтому на полпути остановился, и лишь отсюда, с безопасного расстояния, откликнулся:

— Я попрощаться, Женя, утром двинусь вниз, пора, заседелся, дома дел по горло, на хлеб надо зарабатывать, а то в долги лезть придется.

Человеческая тень, протянувшаяся к нему от навеса, в нерешительности поколыхавшись, поплыла на сближение с ним:

— Собрался, значит, Алексеич, — карповский голос нетвердо вибрировал, — надоело с нами из пустого в порожнее переливать? — И, уже поравнявшись с Владом, вполоборота бросил туда, в темь у себя за спиной: — Погоди, тестек, сейчас вернусь — доругаемся, дай с человеком поговорить.

Двоем они выбрались за ограды, а вслед им неслась хмельная ругань загулявшего старика:

— Чего уж там, гуляй, зятек, куда нам в лаптях до вас, в калошах, вы — люди, мы — навоз, об нас только ноги вытирать вашему брату, правда, малость погодить придется, время ваше не пришло, а покуда придет, мы вас в бараний рог скрутим, вы у нас еще запоете лазаря, да поздно будет!..

По пути Карпов утихающе трезвел, опоминался, приходил в себя, проникаясь прощальной ясностью Влада:

— Вот так и живу, Алексеич, от выпивки до выпивки, день да ночь — сутки прочь; где уж тут нетленку сочинять, дожить бы, детей на ноги поднять, не спиться раньше времени, а так иной раз тянет залиться до беспамястства, чтоб уж и не просыхать больше, такая тоска берет.

— Скрипнул зубами, придержал шаг. — Часто себя спрашиваю, зачем родился, зачем жил, зачем бумагу мараю? Жизнь под откос пошла, а позади одна суета, пустая говорильня, халтура бессовестная, перечитывать тошно! — Дойдя с ним до его дома, дальше не пошел, повернул обратно. — Вставай пораньше, машины тут чуть свет выйдут, пропустишь — полдня пропадет. — И уже из темноты: — Попрощаемся завтра, я выйду — провожу...

Во сне он бежал, и за ним, как обычно, гнались. Этот бесконечный сон-погоня преследовал его, сколько он себя помнил, всю жизнь. Ему, видно, выпало родиться под звездой, обрекающей человека на вечное бегство и столь же вечную погоню. „Почему именно я? — истошно взывал он к кому-то на бегу, — и почему именно за мной?“ И неизменно слышал чей-то усталый голос: „Так надо, мой мальчик, так надо и другого тебе не дано...“

Спускаясь ранним утром к дороге, Влад еще издалека выделил в рассветной мгле ожидающего его внизу Карпова. Тот стоял спиной к собственной калитке, зорко прослеживая его путь из-под надвинутой на самые глаза соломенной шляпы: как бы еще издалека прощался с ним и мысленно запоминал.

— Выспался? — Отделившись от калитки, потянулся к нему через дорогу Карпов. — Подгребай, ставь чемодан, голосовать будем. Погоди-ка, — вдруг вслушался он в волглую тишину, — кого это нелегкая в такую рань снизу несет?

Одышливый звук мотора возник в глубине узкой горловины скользящего вниз ущелья и, все нарастая, растекаясь над сонным поселком, а вскоре из-за ближайшего поворота выявился новенький, с иголки „рафик“, затормозивший около них с нетерпеливым пофыркиванием.

— Ребята, далеко до Преградной? — Лихо выскочил к ним из кабины встрепанный, с подвернутыми до колен штанинами и в тапочках на босу ногу молодой водитель. — С ночи еду, никак не доеду.

— Проснись, парень, — смеясь, остудил того Карпов, — Преградная внизу, а ты вверх газуешь, через три километра дорога совсем кончится, в хребет упруешься. Заворачивай-ка, дорогой, оглобли, кстати, вот и человека с собой прихватишь, ему тоже до Преградной.

Чертыхаясь, шофер бросился к машине:

— Забрасывай чемодан в кузов и садись, — с досадой кивнул он Владу уже из кабины. — Довезу.

Скорее для порядка, чем в душевном порыве приятели обнялись на прощание, заранее предугадывая, что эта встреча между ними последняя, после чего Карпов взялся за чемодан:

— Садись, это я сам заброшу, невелика тяжесть. — И легонько, как бы окончательно отделяя Влада от себя, подтолкнул его. — Иди, иди, не поминай лихом...

В головокружительном вираже крутого поворота перед Владом в последний раз мелькнуло лицо Карпова, чтобы через мгновение сделаться для него лишь одним из тех многих и многих, с кем сводила его изменчивая судьба и кто, каждый по-своему, с годами откладывал в нем, что потом, на чужбине, он станет называть одним летучим и яростным словом — Россия...

Сколько их, этих бесчисленных карповых, одаренных свыше совестью, умом и талантом, встречалось ему на его коротком, но тяжком веку в медвежьих углах российского захолустья, полузадушенных казенной паутиной системы, искусно управлявшей их простотой и безвольностью! Годы и годы бились и бьются они головой в глухую стену каждодневного быта в тщетной надежде пробиться когда-нибудь к покою и свету. И вздохнуть. И оглянуться. И выговорить наконец то самое заветное слово, какое мучительно вызревало в них, не давая им

ни сна ни покоя. Но жизнь иссякала, а стена день ото дня и год от года становилась непробиваемее и глуше. Надежды юношей питают...

Шофер угрюмо смотрел в одну точку перед собой, вполголоса матерился сквозь зубы, играл желваками ожесточенного лица, постепенно заполняя кабину муторным запахом злого похмелья:

— Надо же... твою мать... Сквозь землю, что ли, она провалилась, эта Преградная!.. твою мать!

Дорога в извилах падала вниз, в хвойную темь ущелья, взмывала на перевалах к самому небу, цеплялась за скалистые выступы, где, казалось, не только транспорту — человеку зацепиться не за что, слегка выравнивалась лишь на куцых пяточках, где встречные машины имели возможность разминуться.

На одном из таких пяточков водитель резко затормозил, поравнявшись с крытой брезентом поверх кузова полуторкой.

— Я мигом, — обернулся к Владу шофер, — это вроде наши из потребсоюза, водяру в лесхоз таранят, похмелье и двинем дальше.

Рывком выбросившись наружу, тот вприпрыжку кинулся к томившимся у грузовика путникам, с налета наладив с ними полное взаимопонимание, тут же подвигнувшее одного из них залезть в кузов, вытащить из-под брезента блеснувшую в первых лучах солнца бутылку и с готовностью подать ее жаждающему просителю. Парень чуть не на лету выхватил у доброхота драгоценный сосуд, одним ударом ладони в доньшко выбил пробку и, высоко запрокинув голову, жадными губами впился в бутылочное горлышко, отчего живительная, желтого цвета влага принялась ввинчиваться в него, словно смерчь во всепоглощающую воронку.

Все произошло с такой кинематографической быстротой, что Влад успел опомниться лишь после того, как па-

рень уже устраивался рядом с ним, за рулем, благостный и повеселевший:

— Теперь, бля... все, бля... Я эту Преградную и в нос, и в рот, и в очко выдеру, бля... На третьей скорости поедем, без балды, бля!

С мгновенно упавшим сердцем Влад догадался, что остаток пути будет для них головокружительной болтанкой между жизнью и смертью, отступить было поздно и высаживаться некуда.

И действительно, такой гонки и по такой дороге ему не приходилось испытать ни до, ни после. Машина то нависала ведущим колесом над бездной, то врезалась задним в отвесную скалу, вставая от удара чуть ли не на дыбы, то крошила сухой придорожный кустарник с риском окончательно запутаться в хитросплетениях отвесных зарослей. Временами утреннее небо распахивалось перед ними во все ветровое стекло, и тогда чудилось, что „рафик” вдруг обрел крылья и готов взлететь. Редкие острова попадавшихся им на пути аулов были единственными оазисами коротких передышек в этом их почти штопорном снижении. Ты лети с дороги, птица!

— Писатель, говоришь, бля? — радостно неистовствуя, безумными глазами косил шофер в сторону пассажира. — Знаю я одного, бля. Шолохов-Гнеушев, слышал? „Марухскую целину” написал, про партизан здешних, железная книжка, я три раза читал! Вам, говорят, башли мешками платят, хоть заместо обоев клей, вот житуха, мать-перемать, сам бы писал — некогда, пока выпьешь, пока похмелишься, где тут время взять, не напасешься, бля...

Но по мере спуска хмель в нем выветривался, он снова темнел, затихал, ожесточался, и, когда наконец перед ними открылся зеленый раструб предгорной равнины, последний проблеск сознания оставил его, у него хватило силы только на то, чтобы перед самым шлагбаумом заповедника машинально выключить зажигание, после

чего парень безвольно уткнулся лицом в баранку и сладостно захрапел.

Влад решил больше не искушать судьбу и, отыскав в центре станицы автостанцию, добрался до Черкесска рейсовым автобусом, откуда на другой день выехал в Москву.

## 9

Эмиграция теперь представляется ему наподобие той сумасшедшей гонки из Загедана в Преградную, только затянувшейся на годы, которым не видно конца. Здесь, как и там, оказавшись рядом со случайным попутчиком, тебе поздно сожалеть и некуда высаживаться: хочешь — не хочешь, ты должен его терпеть и с ним уживаться в обморочной болтанке изгнания, ежедневно, ежечасно, ежеминутно балансируя между жизнью и смертью, как скованные одной цепью беглецы.

## 10

В свое время, по врожденному своему любопытству, изучая литературные свидетельства о сыскных мистерирах дореволюционной охраны, Влад вычитал у одного автора, что в работе с подопечными профессионалы сыска всегда придерживались двух основных правил, первое из которых гласило: „Если хочешь сломить свою жертву, ты должен любыми способами доказать ей бессмысленность и тщету ее деятельности”, а второе последовательно вторило первому: „Тебе непременно надо выглядеть в глазах окружающих глупее, чем ты есть на самом деле”. В соответствии с этими, унаследованными затем Галиной Борисовной, правилами Влад и выработал тактику и стратегию своего поведения в возникаю-

щей вокруг него ситуации, чтобы обратить против врага его же оружие, решив позволить убедить себя в первом и обезопаситься удобной мимикрией второго.

Закончив рукопись и перепечатав ее в пяти экземплярах, Влад отнес первые три обязательных в издательство, с которым у него был подписан предварительный договор, а оставшиеся развез двум знакомым критикам-славянофилам, умело сочетающим свой исконно-посконный патриотизм с консультативной деятельностью в карательно-воспитательных органах, после чего прочно засел дома в ожидании ответа, как соловей лета.

Ждать пришлось недолго. Не прошло и недели, как у него в квартире на Бескудниковском, куда он незадолго до того переехал, призывно зазвенел телефон:

— Привет, привет, Самсонов, — зазмеился в трубке язвительный тенорок критика, получившего рукопись в последнюю очередь, — прочитал я твой кирпичик, прочитал.

— И что скажешь?

— Ну, это не телефонный разговор, Самсонов, — продолжал скользить тот, — заезжай, поговорим.

— Может, мне лучше бросить изводить бумагу? — слегка шевельнул Влад заброшенной приманкой. — Чего время попусту тратить?

— Ну, бросать не обязательно, захлебнулся в трубке завязавшийся было смешок, — но подумать о будущем стоит. В общем, приезжай, обсудим.

— Когда?

— Хоть сейчас...

За этим критиком-многостаночником давно ходила по Москве довольно кривая молва. Выпускник университетского филфака, тот после защиты диплома, не искушая судьбу излишней амбициозностью, вовремя и надежно устроился зятем в семью влиятельного литературного громилы, загнавшего в гроб или в перманентный инфаркт добрую дюжину советских классиков и втрое

больше имен рангом поскромнее. С помощью тестя начинающий эстет с кастетом осел в Институте мировой литературы, где вскоре сделал карьеру, пробавляясь статейками на тему очищения отечественной словесности от посторонних примесей. Печатные его выступления (как, впрочем, и устные) были длинны, глупы, претенциозны, но тем не менее пользовались спросом в некоторых кругах, близких к властям предрержащим. Подчеркнуто неряшливое жильё критика в одном из кривых переулков вокруг Гоголевского бульвара служило местом выпивок и посиделок для публики, томящей о русских лаптях и еврейских погромах, так что здесь Владовой рукописи гарантировалось захоронение по первому разряду...

Хозяин встретил гостя в халате и шлепанцах на босу ногу. На корявом, будто изрытом коростой, лице критика, как обычно, блуждала скептическая ухмылочка:

— Заходи, Самсонов, заходи! — Пропуская Влада, тот гостеприимно распростертой рукой, словно неводом, стал заводить его в глубину коридора. — Садись, устраивайся, сейчас жену позову, мы вместе читали. Мать! — крикнул он куда-то себе за спину. — Подгребай сюда, Самсонов пришел!

В насквозь прокуренной комнате, служившей, видно, и кабинетом, и местом для дежурных застолий, ничто не напоминало о панславистских привязанностях хозяина: книжные полки по несущей стене, обшарпанный письменный стол с еще более обшарпанным креслом впритык и журнальный столик перед выдавшим виды диваном — типичное логово столичного интеллигента средней руки. Несколько плохоньких абстракций вокруг только подчеркивали безликость этой патриотической малины.

Следом за ними в комнате объявилась женщина, похожая на постаревшего раньше времени подростка, вяло кивнула гостю, села рядом с мужем на краешке ди-

вана и вперилась в того преданными, но словно бы за-  
спанными глазами.

— Знакомься, — разваливаясь в углу дивана, кивнул в  
ее сторону критик, — моя жена. — И с тою же ухмылоч-  
кой. — Почти всю ночь вслух друг другу читали — так  
смеялись, так смеялись!

И та, не сводя с супруга собачьего взгляда, с сонной  
покорностью кивала: да всю ночь; да, вслух; да, смея-  
лись.

— А чего смеялись-то, — торжествуя полюбопытст-  
вовал Влад, заранее предугадывая последующее, — мне,  
когда писал, вроде не до смеха было.

Тот даже руками всплеснул, такой, судя по всему,  
забавной показалась ему серьезность гостя.

— Не смей людей, Самсонов, навалил разных не-  
суразностей почти на тридцать листов, а ждешь компли-  
ментов! Да возьми хотя бы эту бабу свою, инвалидку,  
у нее в сорок первом году пуговички от погон на шинели,  
а погоны-то только в сорок четвертом ввели, сообра-  
жаешь? У тебя кого ни возьми, один к одному из папье-  
маше склеены, ни одной-единой живой души нету,  
сплошные марионетки в цвете. Мысли всей, слава Богу,  
если бы на рассказ хватило, а ты в роман раздул, из му-  
хи слона делаешь, слоновую кость добывать вздумал!  
Мне не доверяешь, вон у жены спроси, она человек  
объективный.

И та снова, будто что-то склевывая перед собой,  
согласно кивала: да, только в сорок четвертом; да, из  
папьемаше; да, марионетки в цвете и про слоновую  
кость тоже правильно.

Под эти смешочки, кивочки Влад вскоре и ретировал-  
ся, несказанно довольный поставленным эксперимен-  
том: лиха беда — начало!

Другой адресат явился к нему сам, хлопнул в сердцах  
папкой с рукописью о стол и заметался по Владовой

комнате, довольно неумело изображая взволнованную досаду:

— Не ожидал от тебя, Влад, никак не ожидал! — Мордатое, в жировых складках, как у молодого бульдога, лицо его подрагивало от наигранного возмущения. — Чисто русский человек, из трудовой рабоче-крестьянской семьи выводишь свой родной народ как сборище монстров и алкоголиков! У тебя здесь, если нацмен, значит, априорно хороший человек, если русский — обязательно сволочь, это же нечестно, Влад! — Но вдруг, не выдержав тона, как бы ненароком сбился в другую сторону: — Да, кстати, ты просил узнать об отношении к тебе в Цека, я говорил с иксом из отдела культуры, он о тебе вообще слыхом не слыхивал, ни одной твоей книжки в руках не держал, можешь успокоиться, тебя даже не замечают...

У Влада окончательно отлегло от сердца: спланированная загодя тактика полностью себя оправдывала, его не принимали всерьез, а это обеспечивало ему достаточную передышку для подготовки к следующему витку по жизнеопасной орбите — переправке и публикации книги за границей. Следовало выработать форму дальнейшего поведения таким образом, чтобы эта публикация тоже, пусть, может быть, на первых порах, не привлекла к себе особого внимания окружающих, а главное — Галины Борисовны, хотя звучный гул, стоявший в те поры вокруг Солженицына, облегчал ему и эту задачу: целиком поглощенная единоборством с этим возникшим из лагерного пепла фениксом она невольно сокращала поле своего всепроникающего внимания. Нет, говорят, худа без добра.

Оставалось получить заключение от издательства. Люди там сидели битые, мятые и знающие всему цену, поскольку закалялись в многолетних боях на два фронта — с авторами и цензурой. Но, неосторожно подписав с ним договор под трехстраничную заявку, которую мож-

но было при желании развернуть в роман на любой политический вкус, они сами совершили непростительный идейный грех, а потому, по его предположению, едва ли осмелятся поднимать слишком сильную волну в связи с собственным промахом, что могло бы обойтись им гораздо дороже выданного автору аванса.

Так оно и случилось. Месяца через два после сдачи рукописи Влад получил от них весьма хитроумно составленное письмецо за подписью Старшего редактора Отдела прозы, где в обтекаемых выражениях ему сообщалось, что издательство отказывается от публикации представленной ему рукописи, художественно искажающей, по мнению внутренних рецензентов, реальный процесс развития советского общества, что заключенный ранее договор отныне считается расторгнутым и что на этом основании стороны в дальнейшем отказываются от каких-либо формальных или материальных претензий друг к другу. „Слава Богу, — облегченно заключил Влад, — кое-как отбоярился!”

Относительное затишье в ближайшем обозримом будущем выглядело вполне устойчивым, хотя успокаиваться прежде времени не приходилось: любая самая пустячная оплошность могла вновь привлечь к нему внимание его старой знакомой, а этого необходимо было избежать во что бы то ни стало. Другая книга завязывалась в нем, готовая взорваться на бумаге, чтобы в разломе разгоряченного воображения попытаться высвободить на свет Божий вещее действие многовекового опыта России, каким оно — это действие — представлялось ему в минувшей истории.

Сквозь него уже тянулся тот нескончаемый поезд в холерном карантине, в каком пила и пела, смеялась и плакала, кричала и заговаривалась обреченная на вечную Голгофу страна, по которой, в замкнутом круговороте, без надежды и цели металась в поисках утраченной судьбы душа человеческая:

„— Кто это? — холодея, спросил Борис.

— Это ты, — было ответом.

— Когда?

— Принявши крест.

— С кем я?

— Вместе со всеми.

— Сколько их?

— Им несть числа.

— Где им конец?

— Им нет конца.

— Как долго идти им?

— Всегда.

— Куда идут они?

— К Нему...”

В самый разгар первого запала черновую спешку его прервал телефонный звонок:

— Здравствуй, Владислав Алексеич, — зарокотал в трубке глуховатый басок Ильина, — где это ты пропадал, без тебя в нижнем буфете, говорят, план горит. — От начальственного смешка веяло барственным благодушием. — Пора бы руководству на глаза показаться...

Разговор не длился и двух минут, но за это мимолетное время Влад успел пересчитать и взвесить в уме с полдюжины причин, по которым Ильин, человек занятой и привередливый, счел необходимым ему позвонить. „Неужели что-то учуяли, — положив трубку, принялся изводиться он, — вроде бы не должно быть, а там, кто их знает, у этой публики нюх волчий, не сгореть бы до времени, а то всякое может случиться?”

Но тот, к удивлению Влада, встретил его без тени какой-либо настороженности, облегченно откинулся на спинку кресла, скрестил на столе пухлые руки, добродушно осклабился: ну прямо-таки отец родной, и только.

— Рассказывай, где пропадал, что делал, много ли пил и с кем почивать изволил? — Будто заново узнавая, Ильин с веселым любопытством разглядывал его. — Или обр-азумился? То-то, я и смотрю, как тебя из журнала вы-перли, сразу исчез, будто в воду канул, у кого ни спро-шу, никто о тебе ничего не знает, я уж было рукой мах-нул, сам знаешь, дел по горло, вздохнуть некогда, но мне напомнили. — Не сводя с посетителя насмешливых глаз, он отодвинул ящик стола, выудил оттуда и поло-жил перед собой тоненькую папочку со специальным грифом в верхнем углу ее лицевой стороны. — Получаю на днях фельдъегерской почтой один весьма любопыт-ный документик, а под ним среди прочих и твоя под-пись, значит, думаю, жив курилка! Надеюсь, догадыва-ешься, в чем дело?

До Влада мгновенно дошло, о каком „документике” идет речь, и, хотя подпись под ним, этим „документи-ком”, могла обойтись ему тоже недешево, он почувст-вовал некоторое облегчение: слава Богу, к его рукопи-си это не имело ровно никакого отношения.

— Догадываюсь, — осмелев, распрямился Влад, — но я не вижу ничего криминального в призыве к объективно-му судопроизводству, мне кажется...

— Меня не интересует, что тебе кажется, — отеческая снисходительность тут же стерлась у него с лица, будто ее и не было вовсе, — меня интересует, почему прежде, чем попасть к адресату, ваше письмо передают в эфир враждебные нам „голоса”? И потом, — он пристально, словно в нечто на большом расстоянии от себя, взглядел-ся в собеседника, — ты что же, нашим органам не дове-ряешь, Самсонов?

И сам не заметил, как допустил непростительную в его положении оплошность. Запоматовал, видно, старый чекист, что однажды в слабую минуту пооткровенничал перед Владом, поведал ему историю своего послевоен-ного ареста с последующей более чем восьмилетней от-

сидкой в одиночной камере внутренней тюрьмы на Лубянке, а слушатель-то оказался дотошный, любопытный, памятливым — отложил в голове слово в слово до времени: авось пригодится! И пригодилось.

Нет, Влад не упустил случая переиграть бывшего контрразведчика, напомнил тому о давнем их разговоре:

— Эх, Виктор Николаич, Виктор Николаич, вопрос-то этот вам самому в свое время задавали, не помните разве?

Реакцию собеседника Влад вычислил почти наверняка, но внезапность, с какой в том произошла перемена, он все же не ожидал:

— Другие времена, Самсонов, совсем другие времена, — отводя от него глаза, погас, посерел и как бы даже осунулся Ильин, — не сравнивай, что было, то прошло, и никогда не вернется.

— Так ли, Виктор Николаич, где гарантия?

Ильин не ответил. Вздохнул, бесцельно пошарил по столу неуверенными пальцами, затем вдруг натужно, будто с грузом на плечах, поднялся, слепо выбрался из-за стола, отошел к окну и молча встал там лицом во двор, заложив руки за спину...

Ему ли было не помнить, как после отказа предать друга молодости, его вызвали в кабинет Абакумова, где тот зачитал теперь уже бывшему своему подчиненному постановление прокуратуры об аресте, как подступился к нему тоже теперь уже бывший над ним прямой начальник генерал Гоглидзе отстегивать у него погоны и как на просьбу, обращенную им к министру, взять заведенное дело под личный контроль, лукавый грузин, злорадно усмехаясь, спросил у него вместо хозяина кабинета: „Ты что же, Виктор, нашим органам не доверяешь?“...

— Вот что, — продолжая стоять спиной к Владу, заговорил Ильин, — напиши объяснительную записку в секретариат, мы тут разберемся, что к чему, а пока, если

хочешь, поезжай-ка в Дом творчества, хотя бы в Дубулты, я позвоню в Литфонд, чтобы тебя даром устроили, там в эту пору все равно пусто, так же как в твоём кармане, не обедняют. Посиди у моря, подумай над своим дальнейшим житьем-бытьем, может, что и надумаешь. Будь здоров.

Сказал, но так и не обернулся, чтобы проводить или попрощаться.

## 11

Искусство не подарок граций,  
Не даровая благодать,  
А бой, где выжить — значит, сдаться,  
Быть только раненым — предать.  
Забыв о славе и обидах,  
Солдат ложится вверх лицом:  
Искусство — это только выдох  
Перед концом.

## 12

И снова, в который уже раз на его веку, перед ним раскинулось море. Оно поплескивало за окном отведенного Владу номера — холодное, белесое, в серой дымке по горизонту, совсем непохожее на то, что привелось ему видеть до сих пор. Берег тоже оказался под стать льнущей к нему воде — спокойный и тусклый, с уютными дачами в сосновых борах по всей излучине. Снаружи в номер по утрам веяло волглой тишиной, замешанной на запахе хвои и гниющих водорослей. Кругом было сонно, глухо, безветренно.

В Дубулты Влад явился не один. Дня за три до отъезда он, походя заглянув к своему приятелю — скульпто-

ру, с которым незадолго до этого познакомился, между двумя рюмками уговорил того махнуть сюда вместе с ним, поработать вдалеке от городской суеты, а заодно и проветриться.

Помнится, едва войдя в первый раз к тому в мастерскую, Влад был смят, ошарашен, ошеломлен прежде всего количеством теснившихся здесь работ и размахом заложенной в них мощи. Выросши на литературе и живя только ею, Влад, по правде говоря, долгое время оставался глух и незряч к иному искусству, но, очутившись среди разновеликих фигур и слепков, казалось, самим своим существованием образующих вокруг себя поле высокого напряжения, он вдруг остро почувствовал, что немые изваяния способны так же, как и слово, кричать, светиться и кровоточить, воссоздавая гармонию из разрушения и распада.

(Придет время, он пристрастится и к музыке, услышав однажды говорящую человеческим языком виолончель великого Ростроповича: уймитесь, волнения страсти!).

Посидев с утра над рисунками, художник где-то к полудню шумно вламывался к нему и принимался фонтанировать в бесконечном монологе. Видно, в непривычной для себя комнатной пустоте, вне круга немого хора своих творений, тот, словно рыба, выброшенная на песок, пытался высвободить изнутри разъедающий ему душу ядовитый воздух вынужденного безделья:

— Понимаешь, старик, все, что ты видел до сих пор из моего, это, можно сказать, пробы, опыты, заготовки, этюды к целому, моя мечта поставить древо жизни — историю человечества в металле и камне, на века поставить, чтобы и через тысячу лет не состарилось. — Бесцельное, вразвалочку кружение гостя по комнате не вышло с выношенной определенностью, исходившей от него речи, будто в эти минуты он лишь проговаривал

вслух издавна отстоявшиеся в нем слова, а сам уже жил какой-то другой мыслью или мукой, которая изводила, будоражила в нем сейчас его горячее воображение. — Только разве наши тит титычи номенклатурные дадут поставить такое! Им мухинских монстров с квадратными челюстями подавай, весом побольше, размером поздоровей, — на эту бездарную херню им денег не жалко, сколько ни потратишь, еще дадут, — а вот додуматься сделать свою жлобскую идею красивой, одухотворить ее изнутри умом и талантом, хотя бы чужим, на это у них даже капли серого вещества не хватает. — Он вдруг, как бы наконец закрепив в себе ускользавшее от него до сих пор состояние, остановился и, глядя куда-то поверх Влада, снисходительно обмяк. — Впрочем, может быть, они и правы: их идея живет не красотой, а силой... Айда на пленер, Влад, знающие люди говорят, что тут есть разгуляться где на воле...

Сквозь сизые сумерки, вдоль дачного штакетника, мимо мачтовых роц их несло от одних зланных огней до других в обманчивой легкости хмельного загула. Ямщик, не гони лошадей!

В пестром разломе летучей яви взбужшее от вина и ярости лицо Влада спутника неизменно маячило перед ним, взыскующе впиваясь в него угольными, без проблеска памяти глазами:

— Понимаешь, старик, — снова и снова заводил тот, будто бредил или раздумывал вслух, — я еду в чужом поезде, на свой я опоздал ровно на триста лет или даже немного больше. Мои подлинные попугачики это Данте, Микеланджело, Рафаэль, Сервантес, а судьба-проводница спяну или со зла сунула меня в купе к Евтушенко с Глазуновым и двумя командировочными жлобами в придачу, хоть одеколон с ними пей, хоть в козла забивай, хоть иди в клозет и удавись от тоски к чертовой матери!..

Тот не мог, не умел, не хотел говорить просто так, между прочим, обо всем понемногу. О чем бы он ни рассказывал, что бы ему ни вспоминалось, его не столько интересовала тема разговора, событие или сюжет, сколько их скрытый от него, но возможный смысл. Выговариваясь, он словно бы разгадывал вслух какую-то одну и ту же, постоянно изводившую его тайну: как, зачем, почему?

— Легкая рука была у маразматика Горького, запустил старик ханыгам от искусства ежа за пазуху — социалистический реализм, задал им работу и прокормление на сто лет вперед. Сколько уже томов написано, сколько следственных протоколов на Лубянке заведено, сколько крови человеческой пролито из-за этой мудни, а ведь все проще простого. Нету никакого такого соцреализма как метода, есть соцреализм как идеологический стереотип. Если ты напишешь, к примеру, колхозницу, у которой в руках будет одна картофелина, то, будь ты хоть суперреалистом, тебя обвинят в формализме. А вот если ты напишешь ее с мешком картошки, а еще лучше с двумя, то в какой бы манере ты ни работал, можешь даже в абстрактной, все равно тебе государственная премия обеспечена. Вон Шостакович назвал свою лучшую симфонию „Тысяча девятьсот Пятый год“, и „Правда“ писает под себя горячим кипятком от восторга, и ей нет никакого дела до того, что это о вечности, о смерти, о распаде, главное, что творец соглашается заключить свою личную муку в багетную раму идеологии, а на остальное им наплевать, народ симфоний не слушает, народ слушает радио, читает газеты и заключает: Шостакович — наш человек, соцреалист, идейно выдержанный художник. Я, должен тебе сказать, начинал подсобником у Меркулова, Царство ему Небесное, вот уж на кого наши талмудисты из Мосха, как на икону до сих пор молятся, в соцреалистические святцы золотыми буквами поспешили записать, а он такой же соцреалист,

как Кафка в литературе, он всю жизнь только и делал что издевался над ними их собственными средствами, по всей стране понаставил памятников их убожеству, которые не переживали самих себя, в нем, если хочешь знать, больше мистики, чем во всех наших вшивых новаторах, вместе взятых!

В другой раз он вспоминал:

— Знаешь, ко мне однажды сам Сартр заявился. „Давно, — говорит, — хотел с вами познакомиться, давайте, — говорит, — побеседуем.” — „О чем же, — говорю, — господин Сартр, может, о смысле жизни?” — „Нет, — говорит, — уже все обговорено, давайте лучше о конфликте между капитализмом и социализмом как основной проблеме современности”. И, веришь, начинает мне рассказывать об ужасах эксплуатации человека человеком, отчуждении и преимуществах социализма. Долго говорил, красиво, переводчица еле за ним успевала. Послушал, послушал я его и говорю: „Дорогой господин Жан-Поль Сартр, все, что вы мне сообщаете, это прямо-таки захватывающе интересно, но, к сожалению, я не имею возможности эмпирически проверить ваши доводы, меня даже в Югославию не хотят пускать, хотя я там первую премию получил на международном конкурсе, а уж о капиталистической стране мне и мечтать не приходится, потому что, по законам зрелого социализма, там советскому человеку просто делать нечего. Выходит, — говорю, — вам со мной дискуссировать по этому вопросу все равно что с советским эком-двадцатипятилетником о преимуществах гомосексуализма в сравнении с традиционной половой жизнью. Ведь он за свой срок только тем и занимался, что петухов в очко харил, а женщин видел лишь в кино: согласитесь, что, прежде чем с ним о разнице говорить, ему надо дать для опыта попробовать женщину”. Обиделся, уехал. Переводчица, кстати сказать, после него беременной осталась. Этому бы недоумку в школе для дефективных до старости до-

учиваться, а он, поди ж ты, в стране Руссо и Вольтера великим философом считается...

Так же, как их встречи — от разговора к разговору, двигался и Владов роман. Едва ли даже эту попытку связать воедино клубок разнохарактерных историй и судеб, заключив их в жесткую схему полуфантастической ситуации, можно было назвать романом. Скорее, вещь разрасталась в некую весьма расплывчатую мозаику, которая сама по себе уже исключала сколько-нибудь гармоническое целое. Ее горизонтальная полифония стелилась по плоскости явлений, не проникая в их глубину и не поднимая их над собой.

Но в том взвинченном состоянии, в каком он теперь находился, только такая книга, может быть, и могла разрядить в нем копившуюся годами гремучую смесь человеческой разноголосицы. Поэтому он лихорадочно вытягивал из себя или из окружающего все, что помнил, знал, слышал, видел и о чем лишь догадывался. Только потом, спустя годы, перечитывая написанное, его осенило, что в ту пору он, хотя и безуспешно, пытался написать историю своей души, изъеденной химерами снов и предчувствий.

„Всякий человек есть сам по себе запись всей земной истории. В нас с вами записано все: охота на мамонтов и восточная клинопись, тайны пирамид и Библия, откровения французской кухни и теория относительности. Все, буквально все, зашифровано в наших генах. Надо лишь подобрать ключик к этому шифру. И тогда окажется, что мы с вами не только встречались, но и находимся, так сказать, в родстве, фигурально, разумеется... Не смейтесь, у нас у всех один праотец — Адам. К сожалению, а может быть, к счастью, ключик этот спрятан весьма надежно. Иначе бы на земле от пророков ходу бы не стало. Заставь тогда кого-нибудь работать! Кое-кому, правда, удастся огромным усилием воли и ума вскрыть в себе частичку-другую. В результате на свете

появляется Магомет, или Бах, или еще что-либо стоящее. А мы с вами, мой друг, можем только догадываться, догадываться и уповать. Да, да, догадываться и уповать! Иной раз провидение балует нашу память мимолетным фрагментом из давно минувшего, и мы начинаем томиться духом и скорбеть. И все, и ничего более. Никто не может прочесть всего, никто. Никому, никому не дано заполучить ключик”.

В последний их вечер в Дубултах они подались в Ригу. Сусальный грим, наведенный на нее в центре ради извлечения из легковых туристов денежных излишков, а главное, дефицитной валюты, едва скрывал тлен и запустение, точившее эту пряничную старину изнутри. Но город все же оставался неповторимым и в этом своем подкрашенном увядании, излучая атмосферу ностальгической праздничности.

В первом же кафе друзья, начав с невинного сухого, вскоре вошли во вкус и, кочуя от порога к порогу, наконец потеряли счет выпитому в разных дозах и смешениях.

Где-то к ночи, в одном из ресторанчиков Старого города, прямо против Влада возникло неожиданно курносое, со смеющимися ямочками на щеках лицо знакомой цыганки Тани, молоденькой официантки из Дубулт, которая, держа его ладонь перед собой, водила по ней на маникюрным ноготком:

— Ждет тебя, сероглазый, дальняя дорога с бубновой дамой и большие хлопоты, а детишек у тебя будет двое, и проживешь ты пятьдесят три года и ни днем больше, да так далеко, что от дома не видать...

Затем на ее месте появлялся уже остекленевший от хмеля скульптор, скрипел зубами, рычал в пространство перед собой:

— Слышишь, пришел я к нему, а он меня на „ты”, представляешь! Ну я ему и выложил все, что я о нем думаю. „Слушай, — говорю, — меня, рвань вологодская, я

с тобой свиней не пас и церковей курочить не ходил, у меня отец — уральский золотопромышленник, а мать — интеллигентка в третьем поколении, у меня две огнестрельных и одна осколочная, меня Манцу своим учителем считает, а Ренато Гуттузо у меня руки при свидетелях целовал, а ты мне „тыкаешь”. Тут он мне, слышишь, начинает мозги пудрить: я, мол, помощник Косыгина и все такое прочее. „Да плевать мне, — говорю, — на твоего Косыгина и на тебя вместе с ним, я с вами всеми не только говорить, срать рядом на одном поле не сяду!..”

Свет и тени скрещивались в сознании Влада, и мир вокруг него, словно в обманчивом свете зеркального фонаря, исходил цветовыми пятнами. „Только бы не свалиться, — судорожно цеплялся он за попадавшие ему под руку углы и плоскости, — только бы не свалиться!”

К себе они возвращались под утро. Таксист, средних лет толстяк в сдвинутой набекрень кепке, глядя на них в зеркальце над собой, понимающе посмеивался, балагурил:

— Верно вам говорю, ребята, человеку на веку ведро спермы отпущено, ни капли больше, ни капли меньше, хочешь враз спусти, хочешь на всю жизнь растягивай. Вот я, к слову, в молодости порастратился, сейчас жалею. Подцепил я тут по случаю одну, молоденькая совсем, только-только школу кончила, девочка, честно скажу, что надо. Закрутил было на всю катушку, потом вижу, не тяну, выдыхаюсь. Сами понимаете, жене палку надо бросить? Надо. А с молодой и одной палкой не обойдешься, две-три требуется, как минимум. Пришлось белый флаг выбросить, сдать на милость жены, сами понимаете, из одного хера на двоих не выкроишь...

Под перекрестными взглядами топтавшейся внизу obsługi, друзья, самоотверженно подпирая друг друга, пересекли вестибюль, но в ожидании лифта замешкались, и тут Влад услышал у себя за спиной довольно

отчетливый полусшепот с едва уловимым акцентом в произношении:

— Русские свиньи и на чужой земле напиваются, как у себя в московском свинарнике.

Словно от удара хлыста вдоль позвоночника, Влад обернулся, перехватив на повороте две усмешки взаимопонимания, какими обменялись стоявший у вахтерского стола директор Дома Бауман и щеголеватый, в белесой поросли латыш с депутатским флажком на лацкане импортного пиджака. Кровь яростно бросилась ему в голову, и он двинулся на них в почти слепом иступлении:

— Слушай ты, гнусная гадина, я же тебя знаю, ты — Цирулис, рвань с местной Лубянки, ты такой же латыш, как я — эфиоп, ты по национальности и профессии — негодяй. Я — русский, твой поработитель, в тысячу раз талантливее, умнее, честнее тебя, а живу в своей империи, как нелюбимая собака, не имею ни кола ни двора, и не знаю, чем буду жить завтра, а у тебя, порабощенного, — русская машина с русским шофером, русская домработница стирает твои затруханные кальсоны и русский дворник подметает за тобой твою вонючую грязь. Может быть, ты мне скажешь, угнетенный Цирулис, за какие заслуги тебе причитается эта сладкая жизнь? — Влад намotal его галстук на руку и притянул обессилевшего от страха латыша к себе. — Или, если хочешь, полюбуйся на своего приятеля Баумана, он тоже считает себя евреем, угнетенным евреем, но великий еврейский поэт Овсей Дриз живет у него в самом захудалом номере, а бездарный русский Баруздин в самом роскошном. И потом, с какой это стати его — еврея — здесь директором поставили? Что, русского империалиста на это теплое место не нашлось? Оглянись вокруг себя, гнусный Цирулис, русские империалистки по его указанию здесь клозеты чистят и полы моют. Может быть, сообщить тебе, почему это происходит? Да потому, мерзавец, что он такой же еврей, как ты — латыш. Вы все — банда, у

вас нет национальности, как нет национальности у крыс и шакалов, и висеть вам всем на одной перекладине, ты меня понял, Цирулис?

Влад с силой оттолкнул того от себя и, более не оборачиваясь, двинулся к лифту в робком сопровождении жалобно причитавшей у него за спиной вахтерши:

— Ну, зачем вы так! Они начальство — им виднее, ничего ведь не добьетесь, только себя растравляете, побеглись бы лучше, вам еще жить да жить, плетью обуха не перешибешь...

Утром Влад еще нашел в себе силы закончить страничку и поставить заключительную точку:

„Первые, озаренные восходом облака оторвались от горизонта и плавно двинулись к зениту. Цвет их, по мере движения, менялся: розовый переходил в золотистый, затем иссиня-белый и наконец в голубой. Нанизываясь одно на другое, они мало-помалу обретали контуры туго заполненных ветром парусов. Голубые паруса с каждым мгновением становились все ближе и ближе, и Борис с благодарным замирием сердца почувствовал, как в нем томительно закипают чистые слезы встречи и торжества.

— Слава, слава Тебе, Господи, за то, что Ты породил меня и спас!”

В лифте он оказался вместе с двумя отпускниками, из тех, кому сдавались пустовавшие зимой номера. Их тяжелый спуск вниз окрыляло предвкушение близкой опохмелки:

— С чего начнем, Вася?

— А с пивка, Федя, с пивка.

— Отлакировать бы надо, Вася.

— А шаньпаньским, Федя, шаньпаньским...

Этот короткий, но весьма содержательный диалог так и остался его последним воспоминанием о Дубултах.

Как-то в разговоре с Паустовским Влад поделился своим новым замыслом, на что тот, выслушав гостя, заинтересовался:

— Послушайте, дружок, а что с той задумкой, о которой вы мне рассказывали в прошлый раз?

Влад растерялся:

— Знаете, Константин Георгиевич, я берегу ее до лучших времен, сейчас ведь все равно не пройдет.

— А вы так уверены, — добродушно усмехнулся старик, — что доживете хотя бы до следующей минуты?

С тех пор, заканчивая очередную вещь, Влад жил еще секундным ощущением приближения неминуемой гибели.

К удивлению Влада, история эта не имела для него никакого продолжения. Мало того, Ильин при встречах стал раскланиваться с ним с особой подчеркнутостью, а Наровчатов, ставший руководителем Московского отделения, даже затащил его однажды к себе в кабинет, долго мялся, затем, поблудив глазами по столу перед собой, выговорился:

— Вот что, Самсонов, всякое может произойти, но ты знай, я всегда ценил тебя по гамбургскому счету... Если нужда будет, запросто заходи — чем могу, помогу...

Эх, Сергей Сергееч, Сергей Сергееч, дворянский отпрыск и окопный поэт, что же это с тобой приключилось, что, бросившись сразу после фронта в многолетний запой, спасавший тебя от всеобщей трясины, оказался ты в конце концов в этом кресле, чтобы володеть и править писательской лавочкой, к которой никогда не испытывал ничего, кроме брезгливости и презрения? Не

ты ли лет пятнадцать назад, по пьяному делу, божился, что предпочтешь сдохнуть под забором, чем продашь свою неповторимую душу литературному дьяволу? Видно, ходить в рост на немецкие пулеметы и вытаскивать на себе собственного дружка Луконина (тварь столь же лукавую, сколь и бесталанную) легче, нежели устоять перед соблазном комфортабельной капитуляции? А не тобою ли в минуту светлого отрезвления было написано: „Но в этот вечер я не встал со стула, история мне не простит вовек, что пес замерз, девчонка утонула, великий не родился человек”. Так и не встал ты, Сергей Сергеич, не встал, и, правда твоя, история тебе уже ничего не простит, ибо девчонка все же утонула, собака замерзла, а поэт так и не состоялся. Хотя, Царствие тебе Небесное, Сергей Сергеич, чтобы такое написать, надо тоже совесть иметь и — большую совесть!..

Эта, на первый взгляд, дружеская беседа не предвещала Владу ничего хорошего. Судя по всему, первая книга его уже выходила на публичную орбиту по ту сторону отечественного рая, тревожным эхом отзываясь в здешних кабинетах властей предержавших. Наровчатов явно торопился облегчить свою совесть на случай возможных последствий.

И события не заставили себя ждать. Вскоре, столкнувшись с ним в клубном фойе, Ильин мимоходом и как бы невзначай обронил:

— Зашел бы, разговор есть.

— Когда? — вдогонку ему встрепенулся Влад.

— Хоть сейчас, — было ответом.

Расстояние, отделявшее Влада от ильинского кабинета, он преодолевал, словно идя против сильного встречного ветра, таким долгим на этот раз оно ему показалось.

Когда он вошел, Ильин, по обыкновению, стоял лицом к окну, заложив руки за спину и слегка покачиваясь из стороны в сторону. Затем, повернувшись к Владу,

некоторое время пристально смотрел на него, скорее даже рассматривал, будто заново узнавая.

— Так, Самсонов, так, дорогой товарищ, значит, решил идти ва-банк, как говорится, или грудь в крестах, или голова в кустах? — Он принялся размеренно кружить по ковру около окна. — Ох не прост ты оказался, Самсонов, ох как не прост! Рубаху-парня из себя разыгрывал, своего в доску, от станка, от сохи, от самого что ни на есть рабочего корня, а сам тихой сапой под советскую власть яму рыл? Только ведь, друг дорогой, сам в нее попадешь, мы, брат, не таким оленям рога обламывали, не по росту себе противника выбираешь, Самсонов. — Его вдруг досадливо передернуло. — Да ты не валяй дурочку, будто ты ни сном ни духом: читал я твое сочинение от корки до корки, что называется. Не один год, видно, строчил, надрывался, а с нами ваньку валял, мол, смотрите, какой я посконный-домотканый, святая простота, от неотесанности своей, мол, везде правду-матку режу, к тсму же и алкаш, чего, мол, с меня взять? — Он в сердцах ткнул себя кулаком в висок. — А ведь я знал, знал, докладывали, что разговорчики ведешь, что лозунгами кидаешься, что антисоветчиной от тебя за версту разит! Думал, молод еще, перебесится, водка языком ворочает, а выходит, ты даже не скрывался, выходит, ты меня, старого чекиста, вокруг пальца обвел, что ж, спасибо за науку, век живи, говорят, век учись! — Он наконец обогнул стол, тяжело осел в кресло и вдруг излился в тоскливом недоумении: — Ну, ладно, этот академик малахольный, с жиру бесится, у Денисыча, или как его там, у Исаича этого зуб против нас, а ты-то что туда же тянешься, ведь наша, рабочая в тебе кровь, где же твое пролетарское чутье, классовое самосознание?..

Нет, Виктор Николаевич, не пошла тебе, видно, впрок твоя восьмилетняя одиночка! Так и не взвесил ты за тяжкие эти годы, во что обходится фунт социалистиче-

ского лиха нашему простому, да и не простому советскому заключенному, так и не клюнул тебя жареный пух в мягкое место, хотя, поднимаясь в камере утром, ты не надеялся, что доживешь до вечера или проснешься на следующий день! Однажды на службе у этой всепожирающей машины потеряв все: дом, семью, свободу — и уцелев благодаря чистой случайности, ты снова устремляешься в огонь этой ненасытной прорвы, которая в конце концов опять поглотит тебя, но уже без возврата. Ну, да Бог тебе судья, Виктор Николаевич, спасибо хоть за откровенность, а то ведь, как говорится, мог бы и зарезать. Увы, мертвые продолжают хоронить своих мертвецов!

В эту минуту Владу вспомнилось, как однажды на вопрос об Абакумове тот с прямо-таки эпическим простодушием ответил ему: „Когда мы в тридцать седьмом зашивались с делами, сам знаешь, тогда на миллионы считали, его к нам из угрозыска в числе других на подмогу прислали, парень оказался не промах, начальству понравился, в гору двинулся, вошел в доверие к Сталину. Стал настоящим чекистом, только одну слабость имел: приедет, бывало, утром в министерство, хватит стакан-другой коньяку, и подавай ему старых большевичек из камеры, приказывал раздевать и сек на ковре треххвосткой, а так ничего мужик, компанейский”.

Влад не отдавал себе отчета, почему на память сейчас ему пришло именно это, но, мгновенно оценив ситуацию, уверенно заключил, что в предстоящем единоборстве с ними пощады ему не будет, а поэтому решил окончательно жечь мосты:

— Послушайте, Виктор Николаевич, — холодея от ярости, сломя голову кинулся он вперед, — если у вас еще осталось чувство юмора, попробуйте оценить момент: вы, сын гувернантки и приказчика, учите меня, потомка тульских крестьян и железнодорожников, классовому самосознанию.

Тот резко откинулся на спинку кресла, кровь отлила от его холеного лица.

— Ты еще и демагог, Самсонов, — отчеканил он, словно вынося приговор. — Я тебя больше не задерживаю. Только напиши нам объяснительную по поводу публикации твоего, с позволения сказать, романа в эмигрантском издательстве „Посев”. — И сразу же, будто исполнив какую-то обязательную, но неприятную повинность, угас. — Что ж, я буду помнить, что был знаком с тобой, Самсонов. Все. Иди...

Внизу к тому времени уже стоял дым коромыслом. На подступах к буфету два знакомых поэта-песенника делились утренними впечатлениями:

- Ты чем нынче опохмелялся, Эд?
- Как всегда — тройным, Витек, ты же знаешь.
- Я только сегодня понял, Эд, цветочный — лучше.
- Поделись.
- Понимаешь, сразу память снимает.
- Гуманно...

Перед буфетной стойкой Влада перехватил партийный философ Юра К., как всегда, под заметным, но умеренным градусом, и, увлекая его к столику в глубине зала, рассыпался у него над ухом привычной скороговоркой:

— Пойдем, я тебя познакомлю с одним мужиком, занятный, я тебе скажу, экземпляр, весьма занятный, то ли шиз, то ли сектант, из бывших режиссеров, „Народовольцев” в „Современнике” ставил, излагает, надо сказать, красиво, ну да сейчас сам увидишь...

Юра знал всех, и Юра знали все. Проявившись в начале шестидесятых, в пору хрущевской оттепели, статьей о Солженицыне в „Проблемах мира и социализма”, он после возвращения из Праги сделался завсегдаем столичных салонов и творческих забегаловок. Иметь его в коллекции престижных знакомых считалось среди московских снобов признаком хорошего тона. Он об этом

догадывался и пользовался всеобщим гостеприимством напрапую: не было в городе сколько-нибудь известного дома или значного места, где бы он не пил или не закусьвал. Работой Юра себя не обременял, предпочитая в перерывах между выпивками заседать в разных худсоветах и редколлегиях, куда его, следуя моде, включали. Числясь в номенклатуре, он перекочевывал вместе со своим неизменным шефом, сановным либералом Румянцевым, с места на место, пока не осел референтом в институте социологии — последнем прибежище всех поговорших на чем-либо идеологов. Слушать он не умел, говорил без умолку, спорил отчаянно, но, приглядевшись, нетрудно было заметить, что за внешней видимостью этакого вечного бурсака кроется цепкая хватка крестьянского самородка, себе на уме, и это заставляло Влада держаться с ним хотя и дружески, а все же настороже...

Человек за столиком был лыс не по летам, лобаст, смугл. Из-под сильно выдвинутых надбровий в собеседника упирались выпуклые, с коричневыми ядрами внутри, внимательные глаза. Грубый свитер выглядел на нем тяжелой кольчугой, под которой угадывалось крепко сбитое, уверенное в себе тело.

— Евгений, — улыбнулся тот одними глазами, обмениваясь с Владом рукопожатиями. — Кстати, мы с вами встречались, нас как-то знакомил в троллейбусе Валя Никулин из „Современника”, — и, видно, продолжая начатый до этого разговор, повернулся к Карякину. — Бог — это Любовь, Юра, Любовь как всепроникающая субстанция, а такая Любовь сама по себе исключает адские муки. Наше наказание не в смоле и раскаленных угольях, а в нашей совести. Она высвобождается целиком только в минуту окончания нашей земной жизни. С этого момента и начинается ее хождение по девяти кругам собственной памяти. Поэтому спасение душ — в покаянии при жизни, сама жизнь должна стать перманентным покаянием. Но для этого и Церкви пора отка-

заться от средневековой мифологии, христианские догматы следует теперь привести в соответствие с современным сознанием человека, если мы хотим стать по-настоящему свободными людьми...

Ах, Женя, Женя неисправимый реформатор и резонер! Близкое их знакомство продолжалось недолго, к тому же с изменчивыми срывами и резкими перебоями, но впоследствии, вспоминая о бывших между ними разговорах, Влад не пожалеет об этой встрече, которая многое отложила в нем и многому научила. Сквозь позу, актерство, бешеное честолюбие рвалась из того подлинность чувства и страсти, подвигавшая в иные времена старобрядцев на их отрешенное самопожертвование. Текшая в жилах недавнего режиссера ослепительная смесь тевтонской целеустремленности с армянским темпераментом сообщала его горению особую яркость.

В этот вечер они вышли из клуба вместе. Долго бродили по запорошенным тонким снежком арбатским переулкам, и тот продолжал убеждать Влада, хотя он и не пытался ему перечить:

— Вы все ждете от Бога справедливости, причем вашей, человеческой справедливости, но справедливость — это не мистическая, это социальная категория, Бог в ней не присутствует. Бог возлюбил, познав через крестную муку Сына страдания земной твари. Он не распределяет земных благ и не сводит с человеком счеты. Он — любит. Поэтому прав святой Сирин, когда говорит: „Не взывай к справедливости Господа, — если бы он был справедлив, ты был бы уже наказан”. Каяться нам всем надо, беспрерывно каяться за все наши дела и помыслы, вот в чем наше спасение...

Помнится, тогда, в ту вечернюю прогулку, Влад поймал себя на том, что никогда в жизни ничего не ожидал для себя Свыше. Грешил, даже порою богохульствовал в загульной молодости, иногда просил у людей, чаще — у себя, но *никогда и ничего* — у Господа. Сколько

он себя помнил, его реакцией на все случившееся с ним была благодарность. В детстве он вспоминал о побоях, когда они прекращались, и — благодарил. В юности он думал о голоде, когда насыщался, и — благодарил. В зрелом возрасте подсчитывал обиды, когда они улетучивались, и тоже благодарил. Если бы благодарность могла возместить его греховные слабости, он был бы уже прощен...

По дороге домой Влад, перебирая в памяти состоявшийся разговор, вдруг озаботился, что давно не показывался у отца Димитрия, что это с его стороны было, по меньшей мере, некрасиво и что в ближайшие дни, при всех обстоятельствах, следует заглянуть на Преображенку.

## 15

Думал ли тогда Влад, что всего через несколько лет он будет сидеть под смоковей в Гефсиманском саду, глядя на расстилающийся внизу город и гадая про себя, о чем думал Спаситель, когда исходил здесь смертной мукой в ночь перед Голгофой?

Желтый город, весь в крестах и минаретах, как, наверное, и две тысячи лет назад, тонул в утренней дымке, одними своими обозначениями приобщая человека к вечности: Гефсимания, Голгофа, Геенна Огненная!

Хмельной мужичок из заштатных расстриг, взявшийся здесь служить ему гидом, растекался у него сбоку застиранным подрясником, дышал винным парком, рассказывал:

— В этой земле, браток, всякой твари по паре — иудеи, православные, магометане, а уж католиков хоть пруд пруди, секта на секте сектой погоняет. Есть даже молчальники, трапписты по-ихнему называются, винцо гонют перьевый сорт, я нет-нет да и загляну к ним, завсегда

угостят, только трепачи такие, что не приведи Господи, не сбежишь — на смерть заговорят, такие это молчалники...

Потом Влад кружил в одиночестве по тесным иерусалимским улочкам, вглядываясь в их затаенную полутьму, с каждым шагом все более и более проникаясь уверенностью, что запечатленное Святыми Апостолами в Евангелии на самом деле случилось: Он ходил тут, Он тут мучился, Он тут простил.

Когда в день отлета самолет поднял Влада над этой землей, последней мыслью его было: жить и умереть в Иерусалиме!

## 16

Заложив село Преображенское ради потешных игр и собственной безопасности, молодой Петр, конечно же, не мог предположить, как много его беспечное творенье будет означать для жителя Сокольнической окраины в эпоху зрелого социализма. Вырванная с корнем из векового деревенского уклада гражданской войной, а затем голодухой и коллективизацией, крестьянская поросль, осев здесь в смутные времена, сплела новую, хотя и серую, но весьма жизнестойкую паутину, связавшую в конце концов бывший пригород со столицей. Она-то, эта паутина, и вывела на свет Божий то поколение матерых воров, патологических хулиганов, профессиональных алкашей и социально опасных шизоидов, каковое по сей день составляет основной костяк отечественных детдомов, тюрем и психиатрических больниц.

Спрос, как справедливо указывают классики марксизма-ленинизма, рождает предложение: вскоре после революции, к услугам вновь возникшей цивилизации, в районе Преображенки появился знаменитый толкучий рынок, где сбывалось краденое, пропивалась добыча и

сводились счеты, затем тюрьма с элегическим названием „Матросская Тишина”, где наиболее неосторожные расплачивались за свое легкомыслие, и, наконец, два сумасшедших дома — один под тем же, что и тюрьма, обозначением, другой — по имени старорежимного психиатра Ганнушкина, где наименее приспособленные находили себе последнее пристанище.

Украшением района считалось кладбище. Заложено еще при Петре, кладбище являло собой наглядную кривую русской истории: внушительное и даже, можно сказать, несколько помпезное в центре, оно, разрастаясь, с течением времени становилось все более скромным и непритязательным, пока наконец уже в нашу материалистическую эпоху не сделалось в периферийной своей части похожим на безликий сельский погост. Правда, в самые последние годы, видимо, в связи с непрерывным ростом благосостояния широких масс, личных накоплений и возможностей безнаказанно красть, его окраины снова стали обрастать добротными надгробьями, хотя, разумеется, поставленными с таким расчетом, чтобы, упаси Боже, не оскорбить классового сознания почивших или, того хуже, не привлечь своими вызывающими размерами зоркого внимания следственных органов.

Одно из таких надгробий, ближе к выходу, — опрокинутая навзничь мраморная плита с высеченным на ней именем подполковника инженерно-технической службы Зайцева Василия Никаноровича, видимо, забытого своими близкими на следующий день после похорон, — служило местом ежеутренних встреч и застолий для патентованных алкашей преображенской округи, которые заливали здесь гулкое похмелье вчерашней пьянки купленным у ночных барыг „сучком” и политурой, без конца поминая при этом покойного инженера добрым и недобрым словом, чем как бы компенсировали ему небрежение забывчивых родственников.

В праздничные же и выходные дни кладбище превращалось в некое подобие парка для массовых гуляний. Вплотную примыкая с одной стороны к толкучке, с другой — к церковной ограде, оно оказывалось для этих людских вместилищ в их оживленную пору, так сказать, естественным каналом сообщающихся сосудов, куда, по заведенной годами привычке, и устремлялись оба потока: первый — после удачных сделок, а второй — после молитвенной службы, смешиваясь по пути с третьим — обычных посетителей в посильном трауре и с поминальными цветами в руках. Вся эта прорва растекалась по аллеям, дорожкам и тропкам между могил, лузгала семечки, перекликалась, пила, ела, плакала и смеялась, и неискушенному простаку, наверное, трудно было догадаться, что тут происходит: то ли веселые поминки, то ли грустные проводы.

Здесь, на этом кладбище, покоилась мать Влада и добрая половина его соседей по дому в Сокольниках. Отыгравшись, отшкольничав, отработав, отвоевав, отсидев, отругавшись и отболев, они сошлись на этом пятчке земли, чтобы навсегда забыть о своих счетах с судьбой и между собой. При одном только воспоминании о них — всех вместе и каждом в отдельности — Влада всегда подмывало горько отхохмиться: отговорила рота золотая! Что ж, до следующей остановки, дорогие товарищи!

Влад долго кружил по лабиринту кладбищенских стежек, прежде чем наткнулся на могилу матери. Ржавый крест торчал из наметенного сквозь ржавую ограду сугроба, а на приваренной к кресту ржавой табличке ржавые буквы истекали ржавыми подтеками: „Самсонова Федосья Савельевна 1900—1956 год”. Он вдруг с пронзительной остротой осознал, что пришел сюда последним и в последний раз, что вскоре на этом месте, наверное, не останется даже креста, и вечное забвение подведет окончательный итог тцете замыслов и амбиций

еще одной человеческой жизни. Прощай, Самсонова, Федосья Савельевна, прощай, несчастное дитя Свиридовской слободы и собственных фантазий!

„Панихиду, что ли, заказать? — без особого, впрочем, воодушевления подумал Влад. — Спрошу у отца Димитрия”.

Церковь оказалась запертой, но, когда он повернулся уходить, его окликнул сзади низкий, с простудной хрипотцой голос:

— Вам кого, гражданин?

Влад обернулся. На пороге лепившейся сбоку, в углу, церковной сторожки, чуть пригнувшись под притолокой дверного проема, стоял высокий блондин в накинутах на плечи нагольном полушубке, разглядывая гостя с веселым, хотя и выжидательным дружелюбием. Во всем его облике, в манере держаться, в произношении, с каким он спрашивал, в исходившем от него бесхитростным, но уважительном радушии сквозило что-то такое, что не вязалось ни с этой церковью, ни с ее сторожкой, ни с нагольным полушубком, сидевшим на нем, словно соболья накидка на плечах боярина.

Влад назвалса.

— Как же, как же, наслышан! — осветился тот еще большим дружелюбием. — Отец Димитрий о вас частенько вспоминает. — Он отступил в полутьму сторожки. — Да вы зайдите, здесь погрейтесь, он скоро будет, кого-то соборует на дому, к вечерней службе обязательно должен быть, а я вам пока чаю предложу. — И уже пропуская его мимо себя: — Раздевайтесь, здесь жарко...

В тесной сторожке размашистый и рослый блондин ухитрялся двигаться легко и свободно. И что бы он ни делал при этом: возился ли с чайником, расставлял ли посуду, — все выходило у него артистически непринужденно, словно получалось само по себе, помимо его воли. В нем чувствовалась осмысленная уверенность человека, осознавшего себя неотъемлемой частью окру-

жающего, где все заранее predetermined, а потому и предельно гармонично.

— Удивляетесь, наверно, откуда я здесь такой? — закончив чайные хлопоты, опустил тот против гостя на скрипучий табурет: такие посещения, видать, не были для него редкостью. — С человеком, знаете, всякое может случиться, почему я должен быть исключением? Но если говорить всерьез, Владислав Алексеич, мне просто оказалось не под силу жить там, — он кивнул в окно перед собой, — моя, так сказать, внутренняя конституция, видно, не приспособлена была выдерживать такие психологические нагрузки, тем более что по профессии я адвокат, то есть субъект, связанный с весьма сомнительным объектом деятельности. Пробовал я приспособиться и так и эдак, даже ушел из коллегии в юрисконсульты на строительство, но там оказалось еще хуже: пьянство беспробудное, воровство несусветное, даже не воровство, а всеобщий грабёж какой-то, тащат всё, что под руку попадет, каждый у каждого, а все вместе у государства, и, понимаете, когда задумаешься, виноватых нет, этаким заколдованный круг, в котором ничего не зависит от нравственных качеств или позиции человека, потому что выбор один: или — ты, или — тебя, третьего не дано. Тогда я окончательно понял, что, если не вырвусь из этой карусели, она меня втянет в свой омут. Спасибо приятелю одному, мы вместе когда-то в коллегии работали, свел он меня с отцом Димитрием, сам-то уж, приятель этот, давно сюда ходил, те же грехи замаливал. С отца Димитрия у меня все и началось по-другому, жизнь, что называется, заново перевернулась, все бросил: службу, связи, имущество, какое было, детям оставил, жена моя меня сама бросила, да я, знаете, и не в обиде, она ведь не за церковного сторожа выходила. Зато будто очистился: душа на месте и совесть спокойна. Живу как птица небесная: день будет — пища будет. — Он вдруг встал и подался к окну, призывно забарабанив по сте-

клу. — А вот и Димитрий Сергеич, увидите, как обрадуется, он вас очень любит...

Отец Димитрий не вошел, а ворвался в сторожку — легкий, сияющий, воодушевленный:

— Ах, Виктор, — с порога, еще не сориентировавшись в полутьме помещения, радостно всплеснул он руками, — я сейчас такого человека соборовал, не поверите, столько на нем черного на его веку, столько зла позади оставил, что ни в сказке сказать, ни пером описать, а ведь вспомнил о Боге, когда конец почувствовал, всю свою партийную кашу из головы выбросил, прощения просил, будто дитя малое. — Он торжествующе потер руки. — Просыпается Россия, Виктор, возвращается на стези своя. — Сияющие глаза его, вдруг остановившись на Владе, распахнулись еще шире и благодарнее. — Владислав Алексеевич! Какими судьбами! Вот не ждал! — И тут же виновато засмутился: — Чего уж там, грех беру на душу, ждал, давно ждал, даже сам найти хотел, вы же теперь не в Сокольниках живете. Хорошо, что пришли, Владислав Алексеич, очень я этому рад, пойдете-ка в храм, мне к литургии готовиться надо, там и поговорим. — И, уже пересекая заснеженный двор, поделился с гостем: — Я, знаете ли, Владислав Алексеич, добился у начальства проповеди говорить, сегодня как раз первая, сделайте одолжение старику, послушайте, мне очень интересно, что вы на это скажете...

То, что в конце службы Влад услышал, не отличалось особенной новизной сказанного или большим красноречием, слова у отца Димитрия складывались трудно и неповоротливо, но, одухотворенные искренностью и страстным желанием быть понятыми своими слушателями, слова эти вызывали в них, вопреки разнице в их душевных уровнях и внутренней разноголосице, одинаково благодарный отзвук:

— Да, у всех нас Бог один, но верим мы в Него по-разному. Потому что мы грешные и заблудились. Когда

заблудятся люди, они по-разному ищут выход. Но выход только один — к Богу. Раз ищут Бога — значит, хорошо. Плохо, когда не ищут. В каждом таком искании есть своя правда. И счастлив тот человек, который найдет самый верный выход, самую верную веру. Это большое счастье. На инаковерующих нельзя смотреть свысока. Тот, кто кичится своей верой, тот неверующий. Настоящий верующий с уважением и любовью относится к другим. Безбожники часто верующим ставят в упрек: если, мол, у вас много вер, то, значит, и Бога нет. Потому что, мол, Бога каждый понимает по-своему. Но эти люди не учитывают, что, когда ищут, всегда идут разными путями. Выходят же на верный путь, когда почувствуют приближение того, чего ищут. Если мы чувствуем как следует Бога, то будем исповедовать ту веру, которая верна. Нам выпало счастье исповедовать Православную веру. Нужно радоваться этому и дорожить своей верой. Кто не дорожит своей верой, тот вообще не тверд в вере в Бога. Православной верой надо дорожить, она самая правильная для нас. Других будет судить Бог, мы о себе будем думать. Когда среди нас не будет греха и заблуждения, у нас будет одна вера. А пока это есть, будут и разные веры. Всякая вера указывает на то, что мы ищем выход, ищем Бога — Источник жизни. Только неверие не ищет выхода, потому что оно одно. Но не искать выхода — это, значит, погибать. Безбожник не понимает, что грех — самое главное несчастье, и гибнет в этом грехе. Выход ищет не в освобождении от греха, а в освобождении от второстепенных причин: бедности и т. д. Но, освободясь от бедности, человек не становится счастливым. И мы видим сейчас, что самые обеспеченные люди становятся хулиганами, развратниками, пьяницами. А какое это счастье? Это гибель. Только Бог дает счастье.

Подойдя к кресту, Влад услышал над собой его удивительный шепот:

— Я ведь все про ваше нынешнее положение знаю, Владислав, — он впервые за их знакомство назвал Влада по имени, без отчества, — трудно вам теперь будет, приходите сюда почаще, церковь облегчает.

На этом они тогда и расстались...

Теперь, после того что случилось и о чем стало широко известно, ему легче было бы изобразить дело так, будто он, Влад, уже тогда предчувствовал или предполагал, чем кончится попытка этого незаурядного, в общемто, человека поднять и понести крест, который заранее был ему не по росту и не по плечу. Слишком многое в отце Димитрии и вправду располагало к этому: слабость обставляться людьми не по их удельному весу, а по степени их известности, где Солоухин мирно соседствовал у него с Синявским, а братаны Медведевы с Сахаровым; жажда непременно публиковать все выходящее из-под руки, будь то проповедь, жалкая проза или, того хуже, умопомрачительно бесталанные вирши, а в последнее время и претензия судить и рядить о вещах, недоступных ему уже в силу его удручающей малограмотности, — но все же сейчас, оглядываясь назад, Влад не взял бы на себя греха бросить в него камень или отказаться от благодатной Вести, каковой через него сподобился. Молись, отец Димитрий, и только Бог тебе судья!

## 17

Принимая его у себя на знаменитой ферме в Валлей-Коттедже, покойная Александра Толстая рассказывала ему:

— Знаете, был у меня попугай, замечательно умная птица, проказник был несусветный, помню, как-то однажды осенью, когда тоска у нас тут анафемская, попка

мой скакал, скакал по дому, потом сел на подоконник, поглядел в окно да как прокаркает:

— Стрррашно!

Действительно, как оглянешься порою вокруг: страшно.

## 18

Ситуация, в которой Влад теперь оказался, сама по себе, медленно, но неотвратно, словно полое тело на поверхность воды, выталкивала его из привычной, естественно сложившейся за многие годы среды в разреженное пространство отъединенности и одиночества. Одна за другой рвались еще вчера казавшиеся неразрывными связи, сужался круг знакомств и привычных маршрутов, все реже звонил телефон, все скуперее становилась почта, все тоскливее тянулось время в ожидании желанных гостей или дружеского разговора; окружающее, как это представляется порой в простудном жару, раздвигалось вокруг него, оставляя ему куцую пядь его однокомнатной клетки, откуда все виделось расплывчато и смутно, с бередящей душу недосыгаемостью. Еще толком не ведая (хотя и догадываясь!), что ждет его впереди, он уже жил, дышал, проникался першащим в горле воздухом прощания и прощения.

В предчувствии неминуемого душили Влада назойливые воспоминания. Он снова и снова, множество раз мысленно переживал прожитое в тщетной попытке увековечить в себе призраки и фантомы давно канувших в небытие лет, но, едва всплыв в сознании, они тут же рассыпались, таяли, исчезали, чтобы уступить место новым видениям, мгновенно возникавшим из их незримого праха.

Причем жизнь его в этих воспоминаниях как бы распадалась на две равные, но не имевшие друг к дру-

гу никакого отношения части, первая из которых вязкой силой своей подлинности властно преодолевала в нем праздную суетность и тщету второй.

Вынужденный обстоятельствами к уединению, он целыми днями бесцельно кружил по квартире, стараясь осмыслить, собрать воедино обе эти части, с тем чтобы подвести хоть какой-то итог пройденному пути. Но о чем бы ни думалось ему в эти дни, мысль его, поплутав лабиринтами повторов и ассоциаций, неизменно, по никому не ведомым законам, возвращалась к истоку выбранной им судьбы: к детству в Сокольниках и кровно связанному с этим пепелищу по имени Узловая. Узловая станция. Узел судеб. Узелок на долгую память.

В один из таких дней Влад, терзаясь изводившими его химерами, наконец не выдержал этого единоборства с памятью, не устоял перед искушением еще раз (может быть, в последний!), хотя бы мельком, хотя бы походя соприкоснуться с хрупкой явью ускользавшего от него прошлого, наскоро собрался и к вечеру уже покачивался на попутном поезде в узловском направлении.

И все было, как тогда, в детстве, в той давней поездке с отцом: пригашенный свет в проходе вагона, морозные кружева на оконном стекле, тихие разговоры и сонное бормотанье вокруг. Только напротив вместо отца сидел угреватый, с мутными от тяжелого похмелья глазами ефрейтор, чуть слышно, но остервенело матеря в пространство перед собой.

Снисходя к его муке, Влад заглянул в купе к проводнику, откуда после недолгих переговоров вернулся на место с бутылкой красного, двумя стаканами и плавленым сырком на закуску.

— Глотни, старшой, — Влад разлил по стаканам, подвинул соседу сырок, — полегчает.

Тот было недоуменно воззрился на Влада, но руки его помимо воли уже тянулись к желанной влаге, обхватывая стакан с двух сторон, словно драгоценную чашу.

— Спасибо, браток, век не забуду. — Вино, еще не успев осесть в нем, уже возвращало ему душевное равновесие. — Считаю, неделю гудел, на свадьбе в Москве женихался, до синих чертей допились. — Парня несло обманчивое оживление. — Познакомился, понимаешь, с одной заочницей по переписке, ну, понимаешь, слово за слово, хером по столу, она мне фотку прислала, гляжу, ничего, раз-другой на балду напялить годится, с год валандались, пока до дела дошло, одних конвертов, считай, на червонец извел, всякие там трали-вали чувихе расписывал, поломалась-поломалась для вида, потом клюнула, сговорились сочетаться законным браком. Накатал я рапорт и к командиру: так, мол, и так, прошу увольнительную по причине укрепления семьи и прочее. Подгребаю в столицу нашей родины, объявляюсь чин чинном, по всей форме, гляжу, квартирка хоть и в блочном доме, но в порядке: сервант, диван-кровать, телевизор, чувиха только с матерью вдвоем живет, мать тоже бабцо что надо, нестарая еще совсем, в теле и с перманентом, в торговле работает, короче, полный ажур, живи — не хочу! — Ефрейтор залпом опрокинул в себя вторую порцию, мгновенно охмелел и сделался еще словоохотливее: — Свадьбу справляли, на столе, считай, только птичьего молока не стояло, водяры хоть залейся, коньяк и тот тонкими стаканами глушили, про вино и говорить нечего, гостей полный дом, как на ярмарке, и все чокаются лезут, ну и, сам понимаешь, я по их милости ни днем, ни ночью не просыхал, до того допился, что, веришь, невесту забыл как зовут, а напоследок совсем тухло вышло, утром нынче с тещей проснулся, пошел отлить, а на кухне моя заочница с тремя амбалами вповалку, в чем мать родила. Такая жизнь, братишка, недаром говорят: не повезет, так на родной сестре трепака схватишь...

Постепенно затихая, парень еще долго сокрушался, жаловался на судьбу, клял себя на чем свет стоит, пока

хмель окончательно не сморил его, после чего он уткнулся стриженной головой в столик перед собой и тут же захрапел со свистом и клекотом.

Глядя на соседа, Влад тоже зыбко забылся, а когда пришел в себя, над ним склонялось помятое лицо проводника, который легонько тряс его за плечо:

— Гражданин, к Узловой-второй подходим, стоянка одна минута всего, не проспайте бы вам, собирайтесь!..

Студеная ночь встретила Влада крошечной тьмой и слабой поземкой. Пробираясь через станционные пути к редким огонькам впереди, он вновь ощутил себя мальчиком военного времени, когда эта станция сделалась для него вторым домом, кормилицей и убежищем от невзгод. Сквозь годы и расстояния его несло сейчас туда, в оставленную им здесь раннюю юность, чтобы попытаться собрать ее по крупичкам себе на память и, может быть, оставить себя в ней.

На его стук отозвался сначала детский плач, потом осветилось выходящее во двор окно, скрипнула дверь, и в сенях послышались шаркающие шаги:

— Кого это несет еще, на дворе ночь-переночь. — Певучий, с чуть заметной шепелявостью голос тетки Шуры пресекался сонной досадой. — Димка, ты, что ли, однорукый черт, нашел время гостевать ходить. — Но, услышав Влада, обморочно задохнулась. — Владик!.. Вот не ждала-то!.. Я сейчас... Сейчас... Руки не слушаются. — Последовала короткая переключка запоров. — Входи, входи, родной, ишь холодина какая!..

В последовавшей затем безалаберной суете сквозило едва скрываемое в словах и движениях любопытство: с чем это, с какой нуждой пожаловал к ним неожиданный гость и чего ему на этот раз понадобилось в Узловой?

С тех пор как он в последний раз, на похоронах погибшего спяну под колесами маневрового паровоза дядьки, побывал здесь, агуреевская поросль вновь увеличилась: из-за полога единственной в доме кровати его

украдкой изучали две пары детских глаз. „Татьянины, — догадался Влад, примериваясь к заметно обабившейся с той поры двоюродной своей сестре, — скажи на милость, давно ли девчонкой бегала, ничего не попишешь, михеевская порода — спешит жить!”

Сыновья тетки Шуры, которых Влад запомнил нескладными пацанами со сбитыми коленками, вымахали в уже отслуживших армию молодцов — застенчивых и угловатых. Пили они наравне с ним, вдумчиво закусывали и, хотя приходились ему двоюродными братьями, называли его в разговоре „дядей”.

Собранное на скорую руку застолье, с его бессвязными разговорами и обрывками песен под расхлябанную трехрядку, затянулось почти до третьих петухов. Потом Влад лежал в кухне, на топчане, укрытый старым лоскутным одеялом, потолок, весь в известковой перхоти, плавно кружил над ним, а у его изголовья плел свою певучую вязь убаюкивающий голос тетки:

— Чего ты все мечешься, Владик, чего тебе нейдется, ты у нас один в люди вышел, вон каким человеком стал, живи себе да радуйся, или ты не помнишь разве, как мы с тобой из кожеры от прелой картошки с отрубями котлеты на олифе жарили, как крапивными щами по неделям пробавлялись, а ты с Клашкиными ребятами одни валяные опорки на троих по очереди носил? А теперь, слава Богу, жаловаться грех, без хлеба не сидим, молочком балуемся, завтра встанешь, я тебе яишню сготовлю, куры свои, сало на зиму засолили, чай не вприглядку — вприкуску пьем, а детишки так и с пряниками. Чего тебе все не по душе, Владик, по-своему-то все равно не переделаешь? Погляди на меня, чего мне еще просить у Господа: до старости дожила, детей вырастила, внуков вон, хоть и незнамо от кого, а имею, все при деле, все пристроены, помру — не пропадут. Жил бы ты, Владик, как другие, не мучил бы себя понапрасну, оттого и пьешь, видно, что никак не успокоишься, в отца пошел,

только вспомни, какой из евонной гордости толк вышел, самые молодые годы по тюрьмам растерял, неужто и тебя туда тянет? Ладно, спи, голова твоя забубенная, завтра выходной, мои до обеда не подымутся, отсыпайся, утро-то вечера мудренее, может, к завтраму и поумнеешь, порадуешь тетку, сам знаешь, сколько ей осталось! Спи, холодно станет — кликни, я тебя тулупом еще прикрою, у меня добрый тулуп есть, казенный...

„Как же надо обездолить человека с самого начала, — слушая тетку, не переставал удивляться он, — если в конце он и такой нищенской нищете радуется?“

Ее теплая рука легла на лоб Влада. Умиrotворяясь сердцем, он закрыл глаза, и его блаженно понесло туда, где каждый новый день кажется голубым и зеленым, а будущее — беспечным и полным надежд. Земная жизнь наша по-своему справедлива — каждому на веку отпущена своя земляничная поляна.

Влад проснулся и наспех, чтобы никого не будить, одевшись, выбрался в осиянное февральским солнцем морозное утро. Вчерашняя метелица укрыла округу волнообразным слоем ломкого снега. Окутанный сиреневым маревом город плыл навстречу ему, дымясь в белесое небо печным теплом и промышленными испарениями. В слитном снеговом убранстве Узловая казалась издалека единым организмом, выдыхающим в мир тепло своей животворящей плоти.

За эти годы город разросся, отплескиваясь во все стороны асфальтовыми потеками с карточными домиками стандартных поселков по обочинам. Но изначально деревенская его суть, словно угасающая, но здоровая ткань сквозь коросту, проступала в нем на каждом шагу: с поселковых участков веяло навозной прелью и куриным пометом, вдоль окраин тянулись изгороди садов и огородов, а к жилым коробкам из бетона и силикатного кирпича наподобие пришвартованных лодчонок лепились замшелые срубы дедовских изб и станционных

пятистенников. Во что Ваню ни одень — углядят, кому не лень.

Пересекая полупустую базарную площадь, Влад невольно задержал шаг: там, на противоположной ее стороне, начиналась Свиридовская слобода — краткая, но емкая часть его жизни, его затаенная боль, его давний завет и горькая привязанность.

И вот она открылась перед ним из конца в конец, вся в белых свечах телеграфных столбов, в кружевах заиндевелых палисадников и в застуженных глазницах резных окон. Ее хотя уже и разреженная казенными строениями прямая все так же выходила в ближнее поле, упираясь своим истоком в синеющие вдали кущи городского кладбища, а пешеходные тропы по-прежнему стекали к Хитрову пруду за околицей. И вновь я посетил.

Слобода плыла сейчас мимо него, будто раздвоенная армада белоснежных парусников, молчаливо прощаясь с ним, как с потерпевшим поражение флотоводцем, но в этом ее настороженном молчании не было ни вызова, ни осуждения, а только печаль — тихая, звенящая, пронзительная: прощай, отвоевавший неудачник, прощай, поверженный самим собой вожак, прощай, возврата и продолженья не будет!

На месте михеевского пятистенника зияла дыра, в глубине которой одиноко высилась дымящая труба котельного полуподвала, обрамленного по фронту заскорузлыми, в метельных хлопьях яблоньками дедовского сада, — последнее напоминание об их с дедом совместном житье, охлаждающее дыхание вложенного в эту землю человеческого тепла, скелет несостоявшегося клана, племени, рода. Исчезли юные забавы, как сон, как утренний туман.

Ни один след не отходил от дороги к кладбищу, оно было замечено сплошь — до самых макушек покосившихся крестов и редких надгробий. Несколько поколений путейских семей упокоились здесь, не оставив пос-

ле себя ни сколько-нибудь осязаемых плодов рук своих, ни долгой по себе памяти. Их несбывшиеся надежды, их невысказанные помыслы, их непретворенные дела струились теперь под землей лишь беспорядочной паутиной кладбищенских зарослей, среди которых в общем хороде витала и тень его деда — Савелия Михеева, компанейского обер-кондуктора, незадачливого комиссара, одного из первых обитателей политического домзака, пестуна, ворчуна, вещуна. Прощай, Савелий, сын Онуфрия, внук Михеев, первый его свет в зябком земном окошке, прощай до встречи в иных мирах, она уже не за горами!

Так и не сойдя с дороги, Влад повернул обратно, в бесприютный провал завьюженного города, к следующему порогу, за которым его также никто не ждал...

Тетка Клавдия предупредила его стук, широко распахнула перед ним дверь, отступила в сторону, пропускающая гостя вперед, радушно осклабилась металлом вставных зубов:

— Заходи, заходи, племянничек, я тебя еще в окно углядела, смотрю, племянничек, собственной персоной, вот, думаю, и у нас, нищих, на дворе престольный праздничек, открывай ворота, голь перекатная! — Она шумно посмеивалась, исподволь примериваясь к нему: не стряслось ли с ним чего, что упал ей как снег на голову. — Садись, садись, племянничек, грейся, сейчас чай пить будем, а желание есть, так и водочки поднесу...

И все, что тетка между тем делала: орудовала на кухне, собирала на стол, бегала в магазин, — получалось у нее резко, размашисто, уверенно, как у человека, знающего себе цену и убежденного в своей правоте.

Потом она сидела против гостя, уперев мослатое лицо в плотно сжатые кулаки, смотрела на него насмешливыми, цвета мыльной пены, глазами, доверительно изливалась:

— Видишь, Владька, в каких хоромах нынче обитаю, двухкомнатная, со всеми удобствами, живу сама себе хозяйка: хочу — ем, хочу — сплю, хочу — на картах гадаю. И никому не должна, своими руками заработала, просить у господ-товарищей не ходила, полгорода обшиваю, все барыни здешние у меня пороги околачивают, чего ни спрошу, из-под земли достанут. Отмучилась я на старости лет от вашего Свиридова, от бестолочи вашей михеевской, наголодалась, наголодалась, наишачилась за здорово живешь. Из-за Свиридова этого меня на всю жизнь изменщицей ославили, ни жилплощади, ни пенсии мне не положено, а всей измены, что старостой в слободе не по своей воле в войну оказалась, и пробыла-то я старостой этой без году неделя, зато слез потом пролила — иному на век хватит. Теперь ото всех отбоярилась, на мне поездили, дайте мне проехаться. Ребят на ноги подняла, в люди вывела, Маргаритка в горторге, свою копейку имеет, Славка с доски почета в депо не слезает, хоть и пьет сильно, а у начальства на первом счету, такой слесарь, из дерьма конфетку лепит, на книжке у меня тоже не пусто, руки отсохнут — с голоду не умру, только, как вспомню кагал ваш михеевский, с политикой ихней проклятой, волком выть хочется, до того тошно. Да ладно, чего уж там, про себя рассказика, Славка нет-нет да и спросит, как там детский дружок его живет-поживает, вместе ведь когда-то друг под дружку мочились, от вашей вони в избе продыху не было, черти глазастые, михеевская кровь!

Но, слушая Влада, она не слышала его, глядела, как замороженная, куда-то сквозь него, словно там, у него за спиной, ей представлялось что-то такое, к чему гость не имел ни малейшего отношения и от чего в ее сознании он был однажды и теперь уже навсегда отторгнут.

„Что ж, может, это и к лучшему, — горько смирялся под ее невидящим взглядом Влад, — легче забудется все”.

Вечером тетка провожала его на вокзал. По дороге вела себя с размашистым вызовом, то и дело снисходительно отвечая на поклоны встречающих, в зале ожидания демонстративно прошла мимо очереди у кассы, царственно скрылась за дверью с надписью „Начальник станции” и вскоре выплыла оттуда с билетом для Влада в руках: знай, мол, наших.

— Держи, племянничек: место у окна, — подмигнула она ему, протягивая билет, — нынче без блата никуда. — Презрительный кивок в сторону очереди у кассы. — Что я им, нанятая, что ли, с ними вместе топтаться. — И, вдруг взглянув на него пристально, неожиданно осеклась и затихла: — А ведь мы не увидимся больше, Владька?

И столько вещей догадливости, столько обморочного удивления прозвучало в этот момент в ее голосе, что он не нашел в себе мужества слукавить или чем-то отговориться, согласился покорно:

— Не увидимся, тетя Клаша.

Только тут ее прорвало. Она беззвучно затряслась, заковыхалась всем своим костистым и рослым телом, припала к его голове, после чего шепотно запричитала у него над ухом:

— Пропадешь ты, Владька, пропадешь, чует мое сердце, я ведь сразу углядела, лицо у тебя нехорошее, будто не жилец уже, а я ведь какая-никакая, а родня тебе, хоть и седьмая вода на киселе, ты мне все равно как родной, из сердца всего не выкинешь, одна беда породнила, одна тоска нянчила. — И на перроне, уже перед ступеньками вагона, тетка все еще цеплялась за него, словно с его отъездом она страшилась потерять что-то куда более решающее, чем ее победительная уверенность в себе. — Прощай, Владик, может, вспомнишь часом тетку свою непутевую...

Затем она на мгновение появилась в окне вагона — жалкая, плачущая, со сбитым набок платком, чтобы тут

же исчезнуть за срезом оконной рамы, оставляя Влада наедине с самим собой и неведомым ему завтрашним днем.

Прошлое протекло у него, как вода сквозь пальцы, и рука повисла в пространстве в ожидании будущего, на пути из ниоткуда в никуда.

## 19

Так началась его новая книга. Она возникала и обрела форму параллельно тому отрезку быстротекущего времени, который отделял теперь Влада от чужбины. Ему казалось, что, доверяясь бумаге, он освободится наконец от той изнуряющей ноши, которая отягощала его всю жизнь, лишая его спокойного сна и душевного равновесия: доставшаяся ему по наследству от отца обидчиво цепкая память была искусителем и истязателем Влада, обрекая его во власть мстительных химер и соблазняющих фантомов. Но прошлое, вроде бы выброшенное из себя в обманчивое никуда рукописи, наподобие бумеранга возвращалось к нему с дразнящей новыми подробностями назойливостью. Поэтому и начатой им книге не видно было конца — она, как и его судьба, могла и оборваться через мгновение, и затянуться до бесконечности.

Ему оставалось подчиниться ее собственным законам и предопределенной заранее неизбежности.

Мне голос был.

## ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

### 1

И вот наконец его последний выдох: „Израиль, Израиль!” Он еще жил, существовал, действовал в окружении привычных вещей, мест, обстоятельств и соприкасался с окружающими его людьми, но душа в нем уже не соучаствовала в повседневном круговороте, мысленно перемещаясь в другую свою ипостась и в иные предназначенные ей отныне пределы.

С каждым днем все притягательнее сладкая пропасть чужбины манила его, настойчиво напоминая о себе то телефонным звонком сестры из Хайфы, то письмом с иноземными марками на конверте, то радиоволной издавека с его именем на случайном всплеске, а то робким визитом заезжего гостя, по самую макушку нагруженного печатными и устными приветами от знакомых и незнакомых доброхотов из-за рубежа. Даже сны ему теперь снились вязкие и прерывистые, какие снятся обычно только в дороге и от каких он то и дело просыпался в дрожи и холодном поту. Судьба высвобождала его из тесного кокона минувшей жизни, обещая впереди лишь тревожный холод и смутную неизвестность.

Страна вокруг него дышала в ту пору хмельным воздухом своего Третьего Великого Исхода. Рушилась, казалось бы, нерушимая структура человеческих взаимосвязей, распадались кланы и семьи, выветривалось тепло гнезд, строившихся несколькими поколениями. Но при всей кажущейся новизне и неповторимости этот

третий поток беглецов, помимо воли его участников, был естественным продолжением первого и второго или, вернее, Общего Процесса, подчиненного собственным законам, по которым русский престолонаследник становился владельцем скромного гаража и заурядным автогонщиком, бывший советский заключенный из Литвы — главой правительства Земли Обетованной, а тульская крестьянка из Узловой — полноправной израильской гражданкой. Российская одиссея растекалась по земле предвестницей новой социальной цивилизации, не имеющей никаких корней во всей предыдущей истории.

Уже в эмиграции, в американской поездке, по странному стечению обстоятельств Влад оказался однажды за одним столом с дочерью Сталина и потомком Николая Второго, как бы заключив собою трагическое триединство отеческого изгнания: на другом конце земли судьбы свела и посадила рядом детей тех, кто осуществлял Революцию, против кого она совершалась и ради кого ее делали. Так история замкнула свой очередной магический круг.

## 2

Влад еще ходил в этот дом, еще продолжал тянуть эту светскую вольнку с ее перманентной пьянкой, необязательными, обо всем и ни о чем, разговорами и выяснениями отношений. Но все это выглядело для него, как в стереокино, где окружающее только притворяется реальностью, а на самом деле не имеет с нею никакого соприкосновения. К тому же в последнее время Влад чувствовал себя здесь словно под стеклянным колпаком: куда бы он тут ни уединился, где бы ни сел и с бы ни разговаривал, всюду его сопровождало чье-то неотступное и пристальное внимание. Вначале это сильно угнетало, вызывая в нем удушливое чувство бессильно-

го протеста, но с течением дней он пообвык в сложившейся вокруг него ситуации, постепенно приучившей его к самоконтролю и осторожности.

Помнится, как-то в конце жаркого августа он мимоходом завернул туда, столкнувшись у самого входа со своим давним игарским приятелем. В повседневной суете их пути пересекались довольно часто, порою они обменивались словом-другим, даже изредка выпивали на ходу, но поговорить, как бывало, по душам, с глазу на глаз, все никак не удавалось, и друзья расходились в уверенности, что впереди у них еще много времени для такой встречи и такого разговора.

— Привет, малыш, — сразу же загорелся тот, — на ловца, сказано, и зверь бежит, а то, смотрю, ни одной собаки в этой лавочке, даже по матушке послать некого. Пошли, малыш, рванем по маленькой, давно нам с тобой надо было бы посидеть без свидетелей, много всякого накопилось.

Первую они выпили молча у стойки, затем заняли столик в пустынном углу веранды, и только тут Влад решился спросить:

— Ты, Юра, наверное, уже знаешь, что меня берут за горло?

— Что ж, малыш, как выражаются французы, ты сам этого хотел, Жорж Данден! — Тот добродушно взбыл в сторону собеседника кудлатой, неседующей головой. — Моя совесть перед тобой чиста, я тебя предупредил, если помнишь, еще в самом начале: не лезь в эту соблазнительную ловушку, не снесешь головы или окажешься в клетке, может быть, даже золотой. Ты не послушал меня, да я и не надеялся, что послушаешь, уж больно много дотошной ярости в тебе тогда кипело, теперь пришел твой час расплачиваться за многое, как говорится, знание, и печали тебе предстоят немалые, трудно еще сказать, что будет, голь наша бюрократическая на выдумки хитра, но готовиться тебе надо ко

всему, даже к самому худшему. — И тут же, как бы перечеркивая сказанное, решительно тряхнул аспидной копной: — Хотя, по правде говоря, завидую! Двадцать лет тому, у черта на куличках я поучал тебя уму-разуму, наставлял на путь истинный, а теперь мне, старому дураку, в пору самому поучиться. Я-то ведь уже и тогда всему цену знал, а до сих пор все не отелюсь, все тяну резину, все самого себя перехитрить хочу. Ты же начал с дерьмовых стишков, какими, прости, и подтираться тошно было, а сумел-таки труху эту переварить и выплюнуть из себя, плохо ли, хорошо ли, это потомкам определять, но дошел до сути, написал свое заветное и напечатать не побоялся. Спасибо за урок, малыш, пора мне выплывать из-под воды, пора положить камушек на их гробницу, отдать им должок свой давний, чтобы помнили, по каким счетам ихней братии рано или поздно платить придется. Выскажусь, выложу до конца, а тогда и помирать не страшно, будет с чем к Господу-Богу на глаза показаться. — Ожесточенный взгляд его, мгновенно оттаяв, вдруг устремился куда-то за спину Влада. — Ба, кого я вижу! — И уже гостеприимно привстав. — Саша, приземляйся с нами, составь компанию, мы здесь как раз за жизнь обсуждаем...

С человеком, который сразу вслед за этим объявился у их стола, Влад был и знаком и незнаком. Знаком постольку, поскольку неисповедимые пути разных, порою даже как будто бы взаимоисключающих судеб, по странному и случайному, на первый взгляд, но заранее предопределенному стечению обстоятельств, в продолжение многих лет неоднократно пересекаются, чтобы однажды, в пиковый час жизни, сойтись окончательно, завязав мистический узел новых путей и других судеб.

Но в то же время, когда собеседник представил их друг другу, Влад впервые соединил в своем сознании знакомый облик с еще более знакомым, но не сливавшимся до сих пор с этим обликом в одно целое именем.

— Ну еще бы, конечно, слышал, — пытливо вглядываясь в него, тот обрадованно затряс ему руку, — очень рад познакомиться. — Он присел на краешек стула, беспокойно огляделся вокруг и снова отнесся к ним с веселым вызовом: — Меня, кажется, сегодня того... Исключают.

И хотя после шабаша вокруг „дела Солженицына” писательская надзорслужба вошла во вкус, и от нее можно было ожидать самого худшего, новость эта прозвучала неожиданно.

— Брось, Саша, — недоверчиво отозвался Владов приятель, — с чего это ты взял? Мало ли за каким лешим могут наверх вызвать, может, так, для остратки или кто-нибудь опять настучал насчет твоих надомных концертов, вот и всполошились, надо же им галочку у себя в отчетах поставить, так сказать, отреагировать, что тебе, в первый раз, что ли, отплюешься, держи, старик, хвост пистолетом.

Тот коротко и печально усмехнулся, положил руку на плечо собеседника, грузно встал:

— Твоими бы устами, Юра, твоими бы устами... — И, лишь отходя, проявился к Владу. — Давайте созвонимся днями, Владислав Алексеич, встретимся, поговорим, как жить дальше...

По правде говоря, тогда эта снисходительная обреченность показалась Владу слегка наигранной: в сравнении с тем фундаментальным колебанием общественной почвы, какое ощущалось в стране с приходом в ее литературу еще вчера безвестного рязанского учителя, политические речитативы под гитару представлялись ему лишь претенциозным сотрясанием воздуха, чтобы иметь для их исполнителя сколько-нибудь серьезные административные последствия. Но позже, оглядываясь назад, он с годами все более убеждался, что инстинкт самосохранения и чувство опасности у Системы развиты гораздо сильнее, чем это выглядит со стороны, поэтому, сталки-

ваясь с какой-либо потенциально опасной для нее силой, она стремится искоренить не только угрожающее ей явление, но и всю ту животворящую ткань, которая его, это явление, породила или могла бы вновь породить в будущем.

Возникшие в свое время, словно бы из ничего, как скороспелый плод интеллектуальных посиделок и вольнодумных вечеров — раскованные песенки под гитару, растекаясь по стране в виде магнитофонных записей и самодеятельных перепечаток, принялись, наподобие врачующей щелочи, выедать из окоченевшего в страхе сознания злокачественную опухоль многолетнего самообмана и, таким образом, восстановили в общественном организме социальный слух, духовное зрение и способность воспринять затем свидетельства и очевидности, с пророческой мощью явленные вскоре миру памятливым посланцем ГУЛага. С течением времени Влад лишь укрепился в уверенности, что, не будь этого обновляющего жанра и всего связанного с ним, лагерные откровения минувших лет еще долго оставались бы доступными для одних только следователей Лубянки и судебных экспертов. Как известно, большие обвалы начинаются с крохотного камешка...

С уходом барда разговор между ними, подточенный внезапной тревогой, более не склеивался, бесцельно перескакивая с одного на другое, они пытались было склеить его вереницей взаимных здравниц, но незаметно для себя напились, после чего лица напротив Влада взялись сменяться на манер тасуемых перед глазами карточных особ, в которых смутно угадывались знакомые черты клубных приятелей.

— Понимаешь, старичок, — призрачно расплывался впереди потрепанный силуэт бубнового валета, чем-то, скорее всего этой своей потрепанностью, напоминавший ему Гену Снегирева, — печалюсь я в последнее время, обо всем печалюсь, все кругом вырождается — мир, ве-

щи, люди, никому веры нет, не на что надеяться. Сам по-суди, получил я недавно двухкомнатную квартиру на Малой Грузинской, куда мне, думаю, одному столько, не люблю, понимаешь, больших пространств, дай-ка, думаю, сооружу в одной комнате бассейн, с похмелья, говорят, здорово освежает, ну, выставил я, понимаешь, ребятам с ближней стройки, что полагается, а они мне в неделю все оборудовали, любо-дорого посмотреть, не бассейн — Бахчисарайский фонтан целый, в метлахской плитке и мраморе, такая работа, что Левша позавидовал бы! Только разве наш родной советский человек способен чужому счастью радоваться! Не успел я воды налить и разок окунуться, как у меня милиция дверь выломала и — крик на весь дом. Нашли, понимаешь, об чем кричать, ну протекло малость, ну подмочило, так не утонули ведь, живы остались. Нет, печалуюсь я, старичок, о падении нравов печалуюсь, о вырождении личности, но, поверь мне, старичок, печаль моя светла...

После него, в перспективе, выявился франтоватый король крестей — Юра Л., вырुливая к нему бальзаковскими усами:

— Слушай меня внимательно, Влад, колокол по тебе может зазвонить со дня на день, но, по моим сведениям, они еще не потеряли надежды тебя согнуть. Согнешься, никто не осудит, в нашей конторе к этому привыкли, но, сам понимаешь, на себе тогда ты можешь поставить крест. Пойми меня правильно, я и сам не большой любитель бросаться под танки и не мне тебя к этому призывать, меня интересует только, пить ли мне во здравие или за упокой?..

И сразу же следом за ним, взлет, по обе стороны стола обозначились две сияющие свежим гляncем дамы — пиковой и червонной масти. С пиковой в эти дни у него заканчивались последние счета, а вот червонную в такой близости он видел впервые.

О ней и пойдет речь.

Он запомнил ее еще совсем юной, почти девочкой. Сколько ей было тогда? Наверное, не более семнадцати. Сначала ему бросилась в глаза ее походка: почти не сгибая колен и часто-часто перебирая ногами, она, казалось, не шла, а невесомо неслась по волнам одной ей ведомого моря. Потом он разглядывал ее издали, скорее угадывая, чем запечатлевая чуть продолговатое, с резким разрезом близоруких глаз лицо в обрамлении ржаного шлема текучих волос, упрямое тело в чешуе расхожего свитера, упругие икры по-спортивному пружинистых ног, и обмирал от упоительной обреченности: он даже помыслить не мог, чтобы подойти к ней, такой недоступной и недосыгаемой она ему представлялась. „Возьми себя в руки, — мысленно сопротивлялся он безнадежному соблазну, — не становись посмешищем!”

Сидя за единственным столиком в полуподвальном буфете Клуба, Влад любил наблюдать, как в смежном с этим буфетом партере она перебрасывалась в пинг-понг с его приятелем Толей Г., модным тогда прозаиком из свежее испеченных мовистов. При каждой подаче стремительная фигура ее как бы вытягивалась следом за мячом, и в этот момент грезилось, будто она летит над теннисным столом, преодолевая самое себя, а заодно с собой и земное притяжение.

Всякий раз с ее уходом в нем что-то гулко обваливалось, образуя внутри сосущую пустоту, какую требовалось немедленно залить, заглушить, заполнить.

Как всегда, тут же присаживался Толя и, потягивая пиво, понятливо посмеивался:

— Чего ты ждешь, старик, чего тушуешься, смелость города берет, а здесь всего лишь девочка, действуй, я бы и сам не прочь, если бы я не был занят.

В ответ Влад угрюмо отмалчивался или вставал и уходил, чтобы не сорваться в безотчетной истерике...

Со временем, а вернее, с возрастом, в лихорадочной погоне за призраком успеха и в круговороте иных

встреч и других расставаний его память о ней притупилась, облик ее слился с вереницей обиденного окружения, лишь изредка, при случайных пересечениях вызывая в нем смутный, но болезненный отзвук. Я вас любил.

И вот теперь на расстоянии протянутой руки она расплывчато маячила сбоку от него, беззвучно смеялась своими недоумевающими, резкого разреза глазами, озорно поддразнивала:

— Может быть, хватит, Владислав Алексеич?

— Мой дед, Царствие ему Небесное, — возносило его праздничное восхищение, — наказывал мне никогда не перепивать, но и от недопива тоже предостерегал, советовал пить точно в меру.

— Смотрите, Владислав Алексеевич, не переоцените своих возможностей — у всякой меры есть границы.

— Погодите, мы еще у меня продолжим.

— Хватит ли вас, Владислав Алексеич?

— Еще останется. — Все в нем обжигающе взметнулось. — Поедете со мной?

— Посмотрим...

Потом вечерняя Москва летела сквозь него, улицы впереди разбегались в душную темноту позднего лета, теплый ветер бил в лицо через приоткрытое стекло такси, а скорая ночь предвещала ему даму сердца и дальнюю дорогу затем.

„Вот уж воистину: не знаешь, где найдешь, где — потеряешь! — Уверенно трезвел он. — Могу себе представить, что сказал бы сейчас ее отец!”

Где-то в самом начале шестидесятых, тогда ей было, наверное, лет пятнадцать, не больше, он подвизался внештатником в одном из близких к литературе столичных изданий, которое организовал и редактировал ее отец — сухопарый ортодокс со стоячими от базедки глазами. В очередной командировке по городам и весям российской глубинки Влада угораздило поцапаться с

местным начальством, в результате чего он по возвращении был вызван „на ковер” к Главному, который принял его стоя, руки не подал, а только прочитал ему прощальную нотацию и тут же отвернулся, давая этим понять бывшему сотруднику, что разговор окончен.

По тем тугим для него временам удар пришелся ему, как говорится, под самое солнечное сплетение, Влад жил тогда у тетки, на птичьих правах, без прописки и сколько-нибудь обнадеживающих перспектив, поэтому, выходя из редакторского кабинета, он в сердцах, безо всякой, впрочем, задней мысли, облегчил себя напоследок:

— Что ж, Виктор Васильевич, долг платежом красен, еще встретимся, не пожалеть бы вам!

Тот лишь пренебрежительно отмахнулся, настолько пустой и нелепой показалась ему, видно, эта мальчишеская угроза.

„Выходит, поспешил ты отмахиваться, Виктор Васильевич, друг дорогой, — вспомнил об этом Влад, распахивая перед гостьей дверь своего холостяцкого логова, — один Бог знает, чем это все теперь кончится?”

— Как вы находите мои хоромы, мадам?

— Жить можно.

— Что будем пить?

— Чай...

И была ночь, и было утро.

### 3

Теперь, когда у них позади почти десять лет жизни, не один пуд горькой соли и двое детей, когда судьба его завершает последний свой круг, а чужбина более не предвещает надежд, ему остается только благодарить Всевышнего за тот вечер, ту ночь и наступившее затем утро. Больше ему нечего желать!

Говорят, что для того, чтобы умереть спокойно, человек должен в отпущенные ему сроки посадить дерево, построить дом, написать книгу и оставить после себя детей.

Влад сажал деревья и строил дома, писал книги и зачислял детей, но до сих пор не уверен, сможет ли он умереть со спокойной совестью, ибо кто поручится, что сегодня или завтра все это не взлетит на воздух?

#### 4

Существует поверье, что в предчувствии близкого конца человек и плотью и памятью принимается тянуться к своему прошлому. Нечто подобное происходило в ту пору и с Владом: ему не работалось, не сиделось дома, какая-то властная сила выманивала его на улицу, заставляя первым попавшимся транспортом отправляться по знакомым с детства маршрутам: Преображенка — Сокольники — Таганка — Бутырский хутор.

Старая Преображенка едва угадывалась за бетонными свечами многоэтажных застроек, Сокольники день ото дня становились все помпезнее, на месте Таганской тюрьмы в чахлах сквериках между подъездами возились ребятишки, а стоявший когда-то на отшибе трехэтажный комплекс Бутырского хутора все больше терялся в разрастающихся вокруг него городских окраинах: пережитое проступало здесь лишь как первоначальный эскиз сквозь густой подмалевок нового замысла.

Влад упорно, изо дня в день, кружился по этим маршрутам, судорожно собирал по капле, по крупинке, по черточке свое детство и юность, дорисовывая недостающие детали с помощью памяти и воображения. В тщетной попытке закрепить в себе прошлое, он словно бы потерял ощущение времени и пространства. Ему порою чудилось, что душа в нем отделяется от его стареющего

тела и начинает существовать самостоятельно, запечатлев собою всю прожитую им жизнь.

Но стоило Владу свернуть с проторенных в детстве дорожек в сопредельные лабиринты города, как навязание улетучивалось и явь возвращалась к нему, вновь расставляя все вокруг него по своим местам: гальванизировать почившее навсегда — только травмировать себя, ничто не воскресает из тлена, ничто не возрождается из небытия. Не пробуждай, мой мальчик, не пробуждай!

Оказавшись однажды в таком состоянии в вестибюле Ярославского вокзала, он вдруг загорелся, бросился к кассе, взял билет и с чем и в чем есть первым же попутным поездом подался в сторону Вологды, в очередную погоню за исчезающим призраком.

Чем севернее уносился состав, тем бледнее и сиротливее выглядела даль за окном: лето как бы убывало на глазах, исподволь обесцвечивая и без того скудный окрест. Леса в первой ржавчине и желтизне с расстоянием густели, но все более приземлялись, ручьи и речки множились, но одновременно истончались и мелели, поля и пашни делались шире, но бесприютнее. Россия. Север. Пора увяданья.

Сосед Влада по купе — жилистый мужичок в потертом, выцветшем от времени шевиотовом кителе с орденской планкой поверх нагрудного кармана — в начале пути долго мялся, изнывал, поглядывал на него вопросительными глазами, но наконец видно, не выдержал, подступился к нему:

— Не обессудьте, закушу.

— Сделайте одолжение.

Тот мгновенно ожил, завозился над дорожной корзиной около себя, выпрастывая оттуда на столик перед окном разную городскую снедь, бережливо разложил ее на предварительно простеленной газетке и лишь после этого достал из брючного кармана непечатую еще чет-

вертинку и смущенно заулыбался в сторону собеседника прокурренным ртом:

— Может, не побрезгуете со мной по маленькой?

Влад не побрезговал. За первой четвертинкой последовала вторая, затем третья, после чего оборотистый проводник еще несколько раз поставлял им подкрепление. В итоге собутыльники вошли в то умиротворенное состояние, когда плоть возжаждала покоя, а душа музыки. Что же ты, моя старушка, приуныла у окна!

— Колхоз у меня маленький, — убаюкивал сосед Влада своею окающей скороговоркой, — земли с гулькин нос, людей — полтора инвалида с дюжиной баб в придачу, одна слава, что хлеборобы, а если по правде, то хлебобеды, урожаи наши слезы одне, животноводство и того хуже, что фермы, что кормовая база, все на соплях держится, кого на работу выгонять, хоть с палкой по избам ходи, отвык народ от работы, сперва интересу не было, теперь в город, как в лес, глядят. Я ить, товарищ дорогой, с молодых ногтей, по слабому здоровью, в руководящем активе состою, на моих глазах деревня под гору поехала, помню, перед самой коллективизацией школу мы открыли, считай, по дворам больше сотни ребятишек набралось, а в прошлом-то годе совсем пришлось закрыть, всего трое наскреблось, кто ж на их троих бюджет отпустит, одних дров не напасешься, так и живем: белым днем пьем, утром — похмеляемся, ни свет ни заря вся деревня у сельпа сидит, на замок глядя, когда откроют, что мужики, что бабы, скопом... Поди, спроси с них работу, всем кагалом отматюкают. Свое хозяйство и то позабросили, огороды лопухами-лебедой зарастают, спрашиваю тут как-то соседку свою, чего, мол, Петровна, коровку-то не заведешь, а она мне: „Я, — говорит, — голубок, чего не допью, то досплю”. Вот тебе и весь разговор. Эх, товарищ дорогой, посмотришь кругом, сердце кровью обливается, а виноватых нет, кого ни возьми, все одной бедой повязаны. Эх!..

Эти жилистые мужички с виноватыми глазами не раз попадались Владу на извилистых путях его жизненной одиссеи. Будучи незлобивыми и уступчивыми по природе, они, приспособливаясь к обстоятельствам Системы, угрызались слабой душой от ее зверств и несуразностей, старались, в меру своих робких сил, смягчить, облегчить для окружающих ее бессмысленные тяготы, но, если она, эта Система, не оставляла им выбора, они безропотно подчинялись ее спасительному правилу: ты умри сегодня, а я — завтра! И, беспрекословно подчиняясь приказам свыше, сажали, расстреливали, разоряли. Впрочем, все с тою же виноватою миной.

При этом ему сразу же отчетливо вспомнился Антон Гаврилыч Косивцов — парторг из Пластуновской с его вечной присказкой на безвольных губах: „И бе пророк Иона во щреве кита три дня и три ноци, а кого ибе, в Святом Писании не сказано”.

„Силен ваш брат в жилетку хныкать, — проваливаясь в сон, заключил Влад, — крокодилы, говорят, тоже после обеда плачут”.

Когда же он на подъезде к Вологде очнулся, от соседа и след простыл. Видно, сошел по дороге, предварительно изъяв из батареи бутылок на столике принадлежащие ему пустые четвертинки.

За минувшие годы город почти не изменялся. Те же пыльные, в липах улицы, те же рубленые пятистенники с замшелыми крышами вперемежку с обшарпанными лабазами дедовской еще кладки, те же, приспособленные под административные учреждения, купеческие особняки. Лишь перемены в лозунгах и официальных портретах да телевизионная вышка над городскими кровлями молчаливо свидетельствовали перед равнодушным миром, что время не остановилось, что все течет и меняется и что Вологду не миновали обновляющие преобразования развенчания эпохи волонтаризма и торжества всеобщей акселерации.

Только тут на привокзальной площади Влад, угнетаясь, вдруг осознал бессмысленность, нелепость, тщету порыва, подвигнувшего его на эту поездку: зачем он сюда приехал, кто его здесь ждет, с кем ему тут встретиться или разговаривать?

С этого момента чувство угнетения уже не оставляло его. В таком настроении он скоротал унылую ночь в холле случайной гостиницы, затем, ранним утром выбравшись в город, ловил такси и ехал потом в сторону Кувшинова. „Что я там буду делать, — изводился он по пути, — кого я там найду, чуть не двадцать лет прошло!”

Но когда еще издали перед ним, на взгорье другого берега, возникла густая россыпь села, лепившегося тесовыми коньками к приземистым, потемневшим от времени больничным корпусам, душа в нем благостно обмерла и, оживая, напряглась в ожидании предстоящей встречи. Невольно к этим берегам...

У переправы он вышел из машины, спустился к воде и замер, мысленно возвращаясь в ту пору, которая длилась, наверное, менее года, но вобрала в себя так много, что сделалась для него памятной на всю его последующую жизнь.

Вологда текла у Владовых ног, кружила ему голову своей беззвучной ворожкой, поворачивала время вспять, дразнила запахами и голосами:

— Ну как, рабочийчек, в коленках не больно?

— Подумаешь!

— Неужто нравится?

— Ага...

Вода струилась у ног, видения накладывались на видения, слова на слова:

— Двенадцатого умру, это последний срок, ровно в три часа дня, как раз после обеда. Во мне второй человек сидит, он мне все предсказывает, что со мной будет.

И еще:

— Я говорю вам это, Владик, неспроста. Я верю, что вам дано больше, чем другим. И в любви и в ненависти. Если вы начнете ненавидеть, ненависть поработит вас целиком. Но, любя, вы сумеете сделать многое. Вы редкий экземпляр человека, я многого жду от вас. Вам неизмеримо много дано, но именно поэтому и неизмеримо больше спросится...

Затем снова, в те же, первые два, дыхания:

— Насиделся взаперти, вот тебе и в охотку.

— Тебе что, завидно?

— Скажешь тоже!.. А ну, не отставай!

— За мной дело не станет.

— Посмотрим!..

Боже мой, Боже мой, как давно это было! Иногда, подытоживая пройденное, Влад невольно удивлялся самому себе и времени, его породившему: надо же было ему появиться на свет и прозябать затем в такую эпоху, когда свое жите-бытье в буйной палате сумасшедшего дома человек вспоминает, как тихую пристань, ставшую для него подарком судьбы!

Кувшиново! Кувшинчик, кувшин, кувшинка. Слово одновременно округлое и продолговатое, как и само село, дугою вытянутое вдоль берегового склона. Влад бесцельно кружил по его беспорядочным улочкам, скользил по зарешеченным окнам больничных отделений, высматривал редких в этот час прохожих в надежде кого-либо узнать, но все кругом было глухо, слепо, неузнаваемо. Не отзывалось. Не смотрело. Не отсвечивало. И, казалось, будто незнакомая явь немо кричала ему вдогонку: не оборачивайся, залетный, не оборачивайся, чтобы не застыть тебе здесь соляным столбом в назидание любителям оглядываться назад. Прошлое не возвращается!

Уже смирившись с постигшей его неудачей, он подался было обратно, но на повороте к пристани перед ним вдруг выявилась стоявшая у калитки углового дома

крохотная старушка в надвинутом по самые глаза темном платке, в которой сквозь паутину морщин, словно сквозь дождевую кисею, легко угадывался памятный облик дежурной сестры Марьи Васильевны, по прозвищу „Колобок“, уж больно всегда приметна была она своим ребячьим ростом и курносым, ноздри кверху, личиком.

— Марья Васильевна, здравствуйте, — расплылся, расстрогался около нее Влад, — не узнаете!

Та бегло скользнула по нему блеклым взглядом, недоверчиво поджала тонкие губы:

— Не упомяну чтой-то, мил-человек.

— Лежал я тут у вас в вашем отделении лет двадцать тому.

— Много, однако, тут народу леживало, — с любопытством вгляделась в него старуха, — всех не упомнишь.

— Из Шексны меня тогда привезли.

— Оттудова всякие тоже леживали.

— Вы еще тогда с Агнюшей в одну смену дежурили.

— С Агнией-то? — В ее любопытстве пробилась осмысленная заинтересованность. — Померла девка, еще года три как померла, в одночасье сердцем скрутило...

Душа в нем на мгновенье оборвалась, холодок студенным лезвием полоснул по сердцу, слова переполнили его, но сложились вслух первые попавшиеся:

— Может, помянем, Марья Васильевна, а?

Старуха сразу же просияла всей своей морщинистой паутиной, будто только и ждала от него этого.

— А чего не помянуть, коли есть на что! — И гостеприимно посторонилась, пропуская его мимо себя. — Заходи, мил-человек, посиди тут на солнышке, я разом обернусь, вон, гляди, тебе, — она кивнула в глубь куцега двора, — и дружок для компании... Чего брать-то?

В дворовом углу, у лядащего, сбитого наспех верстачка орудовал рубанком стриженный наголо мужик лет сорока в больничной спецовке и подшитых резиной валеных опорках. Во все время, пока Влад разговаривал

с хозяйкой, объяснялся с ней, отсчитывал ей деньги, тот искоса, через плечо, поглядывал в его сторону, словно примериваясь к нему и прикидывая про себя, добра или худа ждать ему от внезапного гостя.

— Порядок, мужик, не тушуйся, — успокоил его Влад после ухода хозяйки, — я сам здесь почти год прокантовался, по старой памяти завернул, думал, может, кого встречу. — И, почти заискивая, поинтересовался: — На вольном хождении, что ли?

Тот даже не повернулся к нему, угрюмо прогудел куда-то впереди себя:

— Ну.

— Давно здесь?

— Хватает.

— Из лагеря?

— Чего я там не видел.

— Сердит ты, брат!

— Какой есть...

Таким манером — угрюмо и отрывисто — тот продолжал переговариваться с ним и в течение всего собранного хозяйкой тут же во дворе, на краешке верстачка, застолья, и позже, у сельмага, где они распивали прямо из горлышка, и затем, когда, запасшись дешевым портвейном, отправились вдвоем на кладбище поминать Агнюшу.

И только уже у переправы, перед самым отходом парома, слегка обмягшее от выпитого отечное лицо собутельника вдруг озарилось решительностью, и он захлебнулся в распивавших его словах:

— Махну-ка я с тобой, мужик, в город, гульну за милую душу, а там пускай опять под замок сажают, семь бед — один ответ, остохерела мне эта больничка хуже горькой редьки!..

Прощай, Кувшиново, часть ускользавшей от него жизни!..

Все последующее потонуло для Влада в призрачной дымке хмельного воодушевления. Один прилавок сменялся другим, окошко винного ларька — буфетной стойкой, пивная — закуской; мелькали лица, кружились обрывки речей, захлебывался над ухом голос спутника, обнаружившего в возникавших друг за другом ситуациях необыкновенную разговорчивость:

— Чего я только не пил, мужик, на своем веку! Торозную жидкость пил, про политуру уж и не говорю — за коньяк шла, деревянный спирт — стаканами, и хоть бы что, кроме белой горячки, никакой леший не брал, братуха демобилизовался, даже гуталин выпаривать меня надоумил, тожесть, оказывается, градус дает, только потом сильно на воду тянет, а то, часом, зубную пасту разводил, опять же веселит душу, а вот как с работками, на портвешок перешел, так и сломался, пошел по больничкам, будто по кочкам болотным, считай, пятый год не вылазию...

В конце концов, к вечеру они оказались в ресторане речного вокзала, где в ожидании попутного парохода собутельник Влада в коротких паузах между выпивками рисовал ему радужные картины их предстоящего путешествия:

— Перво-наперво водяры с собой наберем, пивка тожесть не мешает, пивком осаживать хорошо, насосемся до чертей, а там будь, что будет, двум смертям не бывать, говорят, зато, если с...ать приспичит, бросай хер прямо в речку, делай наводнение. — Дымные глаза его плавились перед Владом стеклянной лавой. — Моча, знающие люди говорят, тожесть градус дает. Эх, мужик, и наберем же!..

Очнулся Влад в паровой каюте. За спущенным окном медлительно плыла лунная ночь. Сквозь разрывы низко текущих облаков зияло провальное небо с одиночными вкраплениями редких звезд. В тисках утробного

зуда двигателей корпус судна едва заметно подрагивал. В каюте было душно, гулко, полутемно.

— Отошел малость? — Над ним склонялась пожилая толстуха в форменных беретке и кителе, щекастое лицо которой расплывалось в полутьме насмешливым добродушием. — Что ж ты, мил-человек, себя забываешь, звание свое, здоровье губишь? Чего хорошего вот эдак-то упиваться? Да ишшо нашел с кем? Его, алкаша этого, по всей линии милиция с утречка ищет-разыскивает, он с Кувшинова сбегши, с желтого дому. Хорошо капитан наш, добрая душа, как документ твой прочитал, сам за тебя с дежурными договорился. „Умный, — говорит, — проспится, дурак — никогда, дык, ты, — говорит, — дурака себе бери, а умного я у себя оставляю, пускай, — говорит, — в каюте отоспится”. — Она выпрямилась и по-хозяйски окинула его с головы до ног. — Собирайся, мальй, я тебя сейчас на шлюзу сестре с рук на руки сдам, она у меня старуха добрая, приветит на ночь, а там с утра обратным рейсом в Вологду воротишься, а коли пондравится, так и погостишь в деревне-то, отойдешь душой от вонищи своей городской. — И взялась за ручку двери. — Давай за мной, подходим ужотко...

На неосвещенном дебаркадере их и впрямь ожидала низкорослая, в полную противоположность сестре, старуха, чуть не до пят запеленутая в клетчатый шерстяной платок и чем-то, курсносостью, что ли, напоминавшая утреннюю Марью Васильевну:

— Ляксандрушка, милая! — певуче запричитала она, но под насмешливым взглядом сестры мгновенно осеклась и затихла. — Хорошо, хорошо, Ляксандрушка. — И потянула гостя за рукав. — Пошли, мил-человек, тутотка недалече, за три двора живу. — И снова к сестре. — Погляжу, погляжу, Ляксандрушка, не бери в голову.

Вместо ответа та повернулась к Владу:

— Прощевай, милый, смотри, не балуй тут, не сманивай мужиков, у тебя денег много, а у их слезы одне, тебе

что — напоил и уехал, а с ними посла бабам сладу не будет, до зимы не напохмеляются.

И уверенно двинулась к пароходному свету — крупная, уверенная, размашистая...

Чуть поодоль от пристани светились в ночи одиночные огни. Оттуда из чернильной темноты навстречу им тянуло лесным увяданием и запахом слабого, на излете, дыма. В ночной тишине слышались лишь плеск и шорох шлюзовой воды за спиной да обманчивый собачий лай впереди.

— Сёстра-то моя, Ляксандра, баба дюже строгая, — живо катилась сбоку от Влада спутница, — вишь, в каких шишках ходит, с ей все начальство за ручку здоровкаются, а ить, как мы — грешные — тутошние — деревенская. — Рассказывая, она все тянула и тянула его за рукав. — Деревня-то у нас, одначе, лядащая, шешнацать дворов всёго, спасибочки слюз, — старуха так и произносила — „слюз”, одновременно ласково и уважительно, — выручает, а то бы совсём захирели. — Темная громада сруба выросла перед ними сразу, будто из-под земли. — Говорила тебе, рукой подать, тутотко я и векую век. — И осторожно повлекла его за собой. — Смотри, смотри, гостюшка, приступки тутотка, не ушибись. — Она раскрывала перед собою дверь за дверью. — Погоди, дай-ко я лампу за свечу, вот так-то оно лучше...

Изнутри жарко натопленная изба зеркально повторяла несметное число подобных ей изб от Белгорода до Владивостока: низкий, оклеенный порыжелыми газетами потолок, бревенчатые, в закоптелых трещинах, плоскости с набором семейных фотографий в дешевых рамках под стеклом и случайных плакатов, печь у двери, дальше — хозяйская кровать за ситцевым пологом, киот в „красном” углу над еле теплящейся лампадкой, стол под щербатой клеенкой, скамья вдоль глухой стены, а на стене — старенькие ходики — поверх гирек —

довески из металлической завали: гвоздей, болтов, гаечек. Мне избы сирые твои...

— Так и живем, — не умолкала старуха, сооружая ему на полу постель, — день, ночь — сутки прочь, завтрава встанёшь, шанежек напекем, чай с имя хлёбать будем, я только спозаранку в церкву обёрнусь, она у нас нёдалече тутотко, в сосёднём сёле, туда пассажирский катёр ходит, другой сон нё доспишь, как ворочусь, только мужиков наших ты и взаправду не балуй, как мухи ить налётят, никаких дёнег не напасесся, да и меня бабы ихние загрызут...

Под этот ее убаюкивающий говорок он и заснул, а когда проснулся, в глаза ему брызнуло солнце, сквозь слепящее сияние которого перед ним, словно сквозь водяные разводы, выявилась приземистая фигура белокурого парня в кепке набекрень и телогрейке внакидку, с потухшей папироской в мягких губах.

— Здорово живете, гражданин дорогой, — тот, видно, только и ждал его пробуждения, — тетка Люба грехи отмаливать наострилась, наказывала приветить гостя, вот я и дежурю тут спозаранку. — Парень ободряюще подмигнул ему белесым глазом и похлопал рукой по оттопыренному карману брюк, из которого выглядывала сургучная головка четвертинки. — Еще и в сельпо успел обернуться, кому закрыто, а кому нет, у меня там с девчатами полный Варшавский пакт, живем душа в душу, делом к делу, телом к телу, водярой не разольешь, в любое время дня и ночи обслуживание, как в кино. — Он призывно и нетерпеливо засучил ногами. — Айда сейчас, гражданин дорогой, на затон, там мужики ушницу варят, глядишь, и нам кой-чего обломится. — И не выдержал, подался за дверь. — Одевайтесь, я вас на дворе ждать буду...

Сразу по выходе из ворот округа распахнулась перед Владом во всю ширь своего сквозного и залитого в это утро щедрым солнцем простора: деревню с трех сторон,

наподобие тронутой ржавью подковы, огибали низко-рослые, но густые леса, срезанные у ее берегового подножья темно-матовым лезвием реки, за которой, насколько хватало глаз, открывалась безлесая равнина с россыпью жилых островов и промышленными трубами над ними.

— У нас, гражданин дорогой, об эту пору самая рыба. — Торопясь, парень почти приплясывал рядом с ним. — Ее нынче хоть голыми руками бери, рыбу эту, такая прорва, мужики теперь днюют и ночуют на берегу, домой только бутылки сдавать бегают, ухой насквозь провоняли, хоть в химчистку сдавай. — По пути он то и дело заглядывал в глаза собеседнику. — Ребята наши, кореша мои, после армии все в городе норовят устроиться: кто вербует, кто невесту по переписке зацепит, кто так, дуриком, а по мне, лучше, чем у нас, на Сухоне, нигде нету, я, как отслужил, даже не думал, сразу домой подался, чего я там не видал, в городе энтот, у меня и тут культуры ихней навалом, хоть залейся. — И вдруг, видно, не выдержав медлительности спутника, опрометью кинулся к берегу. — Полундра, мужики, заваривай архирейскую, кружки к бою, вон гражданин из Москвы, насчет картошки дров поджарить интересуется!..

Со всех лодок, беспорядочно рассыпанных вдоль береговой полосы затона, навстречу парню потянулось гостеприимное радушие. Похоже, к этим его шуточкам здесь попривыкли и относились соответственно: гуляет, мол, человек!

И понеслось над водой к берегу слитным хором:

— Дыши в себя, Васек, а то рыбу потравишь!

— Сразу видать — похмелился!

— Васек завсегда поспеет, за им — не гонись!

— Записывай, Васек, чтобы в очередь, я — перьвый!

— Шустрый народ пошел, мелкий только...

Вскоре на ожившем берегу уже занимался костерок, предвещая веселую трапезу и душевный разговор, кото-

рый и завязывался между тем вокруг матеряющего огня и был достаточно свойским и непринужденным, но, конечно же, помимо воли, с оглядкой на гостя. И хотя каждый из вступавших в беседу изо всех сил старался убедить себя и окружающих, что он весь нараспашку, что скрывать ему нечего и что для его откровенности никакой посторонний, пускай даже из самой Москвы, — не помеха, за всем этим вымученным вызовом скрывались затаенная настороженность и любопытство: леший, мол, знает, чего ему здесь понадобилось? При всем различии в возрасте, облике, повадках в них сквозило что-то такое, что сообщало им какую-то почти пугающую общность, бывшую, наверное, невольным отражением рокового единства их судьбы и всей окружающей их природы.

„Как близнецы, — поочередно оглядывая их, не переставал удивляться Влад, — будто друг в друге отражаются!“

Дни закружились легкие, беззаботные, солнечные, в слабых заморозках по утрам и с теплыми испарениями к вечеру. Целыми днями Васек таскал его с собой по округе: рассказывал, хвалился, ерничал, попивал наравне с ним, не пьянея, и от этого его неумемного соседства на сердце у Влада день ото дня становилось все просторнее и веселее. Перспектива предстоящего возвращения, призрачно пугая своей неизбежностью, отодвигалась куда-то в самые глухие уголки памяти. Но рано или поздно день этот должен был наступить, и он наступил, и, проснувшись однажды утром, Влад наконец определил: сегодня!

В день его отъезда тетка Люба слонялась по дому, как потерянная, деньги за постой отказалась брать наотрез, а прежде чем выйти проводить гостя, поставила перед ним на стол бязевый мешочек с сушеными грибами:

— Не обессудь, гостюшка, нечём мне тебя больше одаривать, чем богати, тем и ради, кушай на здоровье, по-

минай тетку Любу, а я тебя в молитвах своих поминать стану, жалко мне тебя, ох как жалко!

А почему „жалко” так и не сказала, вздохнула только задумчиво и протяжно.

У самой почти пристани их нагнал Васек. Попыхтел, поприплясывал сбоку нетерпеливо, потом засмутился, по привычке заглядывая в глаза:

— Алексеич, может, расходную, а, по маленькой, больше ведь не свидимся, а я, по правде, привык? — Он выпростал из брючного кармана свою неизменную четвертинку. — Давай, Алексеич, ты перьвый, по старшинству.

Когда горькая влага обожгла Владу грудь, он не выдержал, притянул к себе льняную васькину голову, приник к ней щекой, забылся:

— Прощай, Васек, прощай, дорогой, и куда только меня черт несет, сам не знаю!..

Стоя на палубе рейсового паровичка, Влад прослеживал медленно ускользящие от него и устремленные ему вслед лица, в тщетном усилии запомнить их, навсегда запечатлеть в памяти: „Господи, Господи, Господи, куда я от них, зачем!”

## 5

Как-то вскоре после той поездки один извивчивый, но, в общем-то, сносный прозаик рассказывал ему:

— Съездил я недавно к отцу в Америку. В былые времена, сам знаешь, в каком страхе жили, я его у себя в анкете в герои гражданской войны записывал, что, по правде говоря, было недалеко от истины, только я не уточнял под какими знаменами, а когда помягчело в наших краях, уточнил: под колчаковскими. И доживает теперь свой век на пенсии в Сан-Франциско. Можешь себе представить, никаких последствий сие открытие наверху не вызвало. Скорее наоборот: стоило мне только

заикнуться насчет поездки, полное взаимопонимание, даже подталкивали, не мешкайте, мол, отец ваш человек немолодой, в любую минуту может концы отдать, пусть, мол, хоть сына увидит перед смертью. Ясно, что карту патриотизма принялись разыгрывать, а мне плевать на их дипломатию, мне лишь бы съездить. Поездка была, доложу я тебе, по высшему классу, жил, как у Бога за пазухой, только птичьего молока не видел, баракла привез, мои бабы до сих пор приторговывают. Страна такая, что ни в сказке сказать, ни пером описать, живут будто при коммунизме: от каждого по труду, каждому — по потребности, устроились, сукины дети, все механизировали, пешком даже в сортир не сходят. Вернулся домой, несколько дней в себя прийти не мог, решил в деревню съездить, родным дерьмом подышать. Я ведь, знаешь, под Рязанью сруб купил деревенский, люблю иногда, так сказать, поработать на лоне. Деревни там сейчас обезлюдели, дом за копейки взять можно. По приезде вышел утром поразмяться, гляжу, сидит на бревнах у магазина сторож дядя Федя — мужичок даже по здешней бедности из нищих нищий — сидит он это в заношенной своей рванине, раздрызганный треушок набекрень, козью ножку потягивает, видно, уже и опохмелиться успел, в общем, как в народе говорят: сыт, пьян и нос в табаке. „Здорово, — говорю, — дядя Федя!” — „Наше вам, — говорит, — Егор Петрович! Слыхал, в самой Америке гостевали?” — „Гостевал, — говорю, — дядя Федя”. — „И что, — спрашивает, — нищих много?” — Как видишь, прав Маяковский: у советских собственная гордость, на буржуев смотрим свысока. Мудёр русский народ, ох как мудёр!..

Его дорога домой походила на пробуждение от хвори. Душа Влада как бы заново прорастала к свету после ночи бредового забытья. Благодарная легкость в нем сообщала всему окружающему — людям, предметам, панораме за вагонным окном — какую-то особую, почти стереоскопическую рельефность. Подмывало, зажмурил глаза, что-то беспечно напевать себе под нос или говорить с кем-нибудь о пустяках.

Но двум теткам, походившим друг на друга, словно пара матрешек одного размера — распахнутые на плечах пуховые, серого цвета платки, простоволосые головы, коротконосые, с нездоровой отечностью, лица, — было не до его состояния или, тем более, его разговоров.

— Ах, Нюрок, — жаловалась одна, — иде их теперь, женихов-то, искать, оне усе хто пьеть, хто за длинным рублем шастает, хто на шею кому сесть норовит, а наш-то этот — сурьезный, пьеть по маленькой, курить в меру, на производстве в уважении, а что старше Нинки да страшен, так не с лицом жить, с лица не воду пить, сживется — слюбится...

— Твоя правда, подружка, — вторила ей собеседница, — где уж таперича честной девушке королевича ждать, нету их нынче, королевичей-то, вывелись, бери, что с краю попадетя, а не то в вековухах останешься.

— И то.

— Верно говорю.

— И еще тебе скажу, Нюра милая...

Под их беспрерывный говорок Влад и скоротал остаток дороги, вспомнив к месту, уже на подъезде к Москве, старый анекдот о двух женщинах, посаженных на год в одну камеру за драку между собой, у которых по выходе еще было, о чем договаривать с полчаса около ворот тюрьмы.

„Я научила женщин говорить, — выходя из вагона, процитировал он про себя Ахматову, — о Боже, кто их замолчать заставит!”

На следующий же день после возвращения Влад заглянул в Клуб, застав там, по обыкновению, самого раннего завсегдатая — Гену Снегирева.

— Топай сюда, старичок! — призывно засветился тот навстречу Владу. — А я, старичок, только что из кругосветки, да. — Хмельная эйфория уже возносила Гену в заоблачные выси безудержного вранья. — Ходил спецкором на секретной подводной лодке, готовлю серию репортажей для одной закрытой газеты, да. Не без накладок, правда, старичок, не без накладок. У берегов Индии пришлось всплывать, сам понимаешь, аварийная ситуация, чепе и так далее. Волей-неволей мне с начальством пришлось сойти с борта, береговая служба потребовала, даже, можно сказать, ультиматум предъявила: или — или. Или мы сходим, или они открывают огонь, вот так, понимаешь, старичок, прямо в лоб, а еще дружественной державой считаются, рвань черножопая! Выходим это мы, старичок, на берег, гляжу, встречает нас у пирса целая шобла шикарных индусов в тюрбанах, а в центре, замечаю, баба в ихнем сари до земли. Пригляделся, вроде лицо знакомое, и, веришь, старичок, мне сразу в голову ударило: Индира! Ганди, соображаешь? Я к ней: так, мол, и так, советский писатель Геннадий Снегирев со спецзаданием и сугубо мирными целями, хинди — руси, бхай-бхай! А она так, веришь, старичок, аж зашлась вся от удивления. „Как, — говорит, — тот самый Геннадий Снегирев, детский прозаик из Москвы!” Да, старичок, обременительная это вещь — слава!..

Гена уселся на своего конька, и остановить его уже не могла никакая сила, кроме пьяного забытья. И хотя все Генины байки Влад знал почти наизусть, сейчас они звучали для него еще забавнее, чем обычно. Он словно бы заново, после долгого отсутствия возвращался в еще

вчера отторгнутый им от себя мир. И отторгнутый, казалось бы, навсегда.

В Москву Влад вернулся с твердым намерением отступить, пойти на попятный, предложить писательскому начальству более или менее полюбовный выход из создавшегося положения: он решительно прекращает зарубежные публикации, а они оставляют его в покое и способствуют найти какую-нибудь литературную поденщину, которая могла бы обеспечить ему жизненный минимум. По мнению Влада, это должно было удовлетворить их, а для него обеспечить скудную, но зато надежную базу дальнейшего существования, без особого ущерба своему душевному равновесию.

После вологодской поездки в нем с каждым днем укреплялось убеждение, что райские кущи в чужой стороне не по его сирой малости, что, когда за сорок, жизнь уже не переиначишь и что „лучше уж от водки умереть, чем от скуки”.

„Им же выгодней избежать скандала, — мысленно убеждал себя Влад, глядя на сонно клюющего в рюмку Гену, — а я не внакладе”.

— Эх, старичок, — отключаясь, заплетался Гена, — помню, получаю я письмо от де Голля...

Но сообщить, о чем все-таки ему написал де Голль, Гена оказался не в состоянии, уронил обессилевшую голову на край стола и безмятежно заснул, оставляя собеседника в загадочном неведении.

И Влад решил: сейчас или никогда! Поднимаясь наверх, в секретариат, он в коридоре носом к носу столкнулся со своим соседом по дому, прозаиком Юрой К.

— С-с-тарик, ты мне нужен, — спотыкаясь на каждом слове (Юра был зайкой), тот принялся легонько подталкивать его в угол потемнее, — Я т-тебе звонил, н-н-но т-тебя н-не б-было. — Отечное, в рыжей щетинке лицо его отражало происходившую в нем титаническую борьбу между паникой и самоуважением. — У н-нас

з-завтра к-крестины, я, помню, т-т-тебя к-крестным п-приглашал, н-но т-ты, н-надеюсь, п-понимаешь, что т-т-теперь, т-такой ш-ш-шум во-о-округ т-тебя, м-огут н-н-неправильно истолк-к-ковать...

С первого дня знакомства с ним и до седых волос Влад так и не смог разгадать, откуда у этого недалекого и трусоватого скобаря из бывших лабухов берется столько душевной тонкости, пронизательной доброты и ума, едва он начинает складывать на бумаге свою неповторимую словесную вязь? С годами вновь и вновь возвращаясь к его прозе, Влад не переставал удивляться ее неповторимому волшебству, ее ключевой прозрачности, до предела гармоничной архитектонике, в которой, сдвинь запятую или убери многоточие, воедино сплавленная ткань мгновенно растрескается по всем своим незримым стыкам, словно упавшее на пол зеркало. Успокойся, Юра, за твой воистину Божественный дар тебе простится и куда больше, чем это несостоявшееся между вами родство!..

В приемной Владу не пришлось ждать или напрашиваться. Секретарше стоило лишь доложить о нем, как Ильин сам выплыл к нему навстречу:

— Заходи, заходи, Самсонов, Владислав Алексеич! — Тот с театральным радушием распахнул перед гостем дверь и посторонился, уступая ему дорогу. — Давно жду, куда, думаю, запропастился? — Бодро осел в кресло, уставился в него с острой вопросительностью. — Ну, рассказывай, какими судьбами, с чем изволил пожаловать? — Но в наигранном балагурстве так и не сумел скрыть напряженного ожидания. — Глядишь, обрадуешь чем-нибудь старших товарищей?

Еще не дойдя до середины своих объяснений, Влад понял, что все его доводы — не в коня корм: каждое слово гостя отзывалось в хозяине откровенной досадой и пренебрежительным нетерпением. В конце концов тот так и не дал ему договорить, брезгливо прервал:

— Ты что же это, всерьез возомнил, Самсонов, что советская власть будет с тобой переговоры вести. — Того даже передернуло от такого кощунственного предположения. — Тоже мне, высокая договаривающаяся сторона! — Он поднял и с силой опустил на стол свой холеный кулак. — У советской власти с такими, как ты, один разговор: на колени, а потом она посмотрит, что ей с тобой делать, казнить или миловать, понятнo? Советская власть никогда, ни с кем не договаривается, советская власть только приказывает и решает, другой формы переговоров с врагом советская власть не признает. — И устало усмехнулся вдруг. — Я думал, ты умнее...

И эта внезапная усталость выдала хозяина. Видно, не дешево обошлось отставному генералу его близкое знакомство с советской властью, если виделась она ему такой, какой он представлял ее сейчас гостю: восемь с лишним лет следственной одиночки не прошли для генерала даром.

Как-то в располагающую минуту тот сам рассказывал, а Влад записал, лишь заменив в тексте фамилию рассказчика, послетюремную свою историю:

„ — Дали мне тогда Рязань для местожительства. — Отрешенно глядя в окно, тот словно раздумывал вслух: — Пойти не к кому. Родня у меня еще до войны вымерла. Жена, сам понимаешь, уже давно замужем. Да я и не виню, не было у нее другого выхода. Друзей подводить своим визитом не смел... Так и приехал, в чем есть, то есть в старой форме своей, только окантовку спорол... Снял я там уголок у старушки, „божьего одуванчика”, и с утра пошел наниматься в товарную контору. Был я тогда еще мужик крепкий. Взяли. Грузчиком. Пришел, помню, первый раз со смены, живого места нет, ломит всего с непривычки. Зато уж и сон был, как у новорожденного. И хлеб ел утренний со щами вчерашними — за уши не оттащишь. Думал, снова жизнь начинаю... Да

друзья не дали. Разыскали, восстановили, вознесли... И пошел я опять по кабинетам, как по рукам”.

Отныне он расстается с тобой навсегда, Виктор Николаевич, Бог тебе судья, ведь и от страха можно окаменеть!..

„Выходит, и вправду отступать некуда, — выходя из кабинета, обреченно подытожил Влад, — позади — Москва”.

Честно говоря, он ожидал чего угодно, только не этого. Ему казалось, что предложенный им вариант перемирия, не ущемляя болезненных амбиций обеих сторон, позволял разрядить возникшую атмосферу без каких-либо серьезных последствий для него и властей. Но Владов просчет, как, впрочем, и некоторых других в его положении, заключался в том, что он (как и другие!) соизмерял личные поступки со своим, и чаще всего преувеличенным в таких случаях, представлением о себе и своей роли в сложившейся ситуации, а они — свои реакции на эти поступки — с могуществом той мистической реальности, которая обозначалась в их сумеречном сознании одним цельным понятием — Система, что заранее предопределяло неадекватность ихнего — Влада и власти — отношения друг к другу. Сила солому ломит.

Внизу его первым перехватил Юра Л.

— Ну как? — подхватил тот его под локоть, увлекая к буфетной стойке. — Со щитом?

— Уже пронюхал?

— Разведка, — снисходительно похлопал тот его по плечу, — половина успеха, дарю тебе эту азбучную истину на память. — И чуть не силой усадил его за стол около себя. — Рассказывай.

Выслушав собеседника, Юра сокрушенно покачал коротко подстриженной головой, досадливо поморщился:

— Пижоны вы, какие же вы пижоны, поверь, я имею в виду не только тебя! Строите из себя могучих тактиков и стратегов, а сами не в состоянии смоделировать

самый простейший вариант. Все хотите левой рукой правое ухо почесать, классиков копируете: „шаг вперед, два шага назад”, теорию компромисса разыгрываете, только никак не можете представить, что вас могут просто-напросто послать к едрене бабушке. Вы все напоминаете мне того ребе, который своего соперника — попа проучить вздумал. Не слышал этой байки? Так слушай. Идет как-то раз ребе мимо речки, глядит, батюшка городской рыбу удит, ну, думает, сейчас я его проучу. И начинает заранее прикидывать различные варианты встречи. Здраваться, думает, конечно, не буду, чести много, а лучше сразу огорошу: удится ли, мол, рыбка, батюшка? Если он, думает ребе, ответит, что удится, я ему скажу: „Дуракам везет”, а если он мне ответит, что не удится, я его еще лучше ошарашу: так, мол, тебе, дураку и надо. Подходит это ребе к батюшке, от удовольствия руки потирает: сейчас, мол, я ему врежу, гою проклятому, долго, мол, помнить меня будет. Поравнялся ребе с батюшкой, спрашивает с эдакой издевочкой: „Удится, батюшка?” А тот хоть бы что — молчит. Ладно, думает ребе, я тебя по-другому уем: „Не удится, — спрашивает, — батюшка?” А тот опять молчит. Потом поворачивается нехотя и равнодушно гудит в бороду: „А не пошел бы ты, мудака пархатый, на хер!” — Усмешка вспыхнула и погасла в его овечьих, навывкате глазах. — Ладно, закрываю тему, что будешь пить, я угощаю?

— За что же пить будем, Юра?

— А хотя бы вот за это „на хер”, чтобы нам всем избавиться наконец от заблуждений на свой и на их счет, поверь мне, стреляному воробью, это облегчает жизнь...

Последовала обычная в таких случаях „гонка за лидером”, где количество и качество выпитого определяется обычно лишь степенью взаимной любви или обоюдного остервенения собеседников, но на этот раз они пили молча, словно поспешно заливали в себе что-то такое, че-

го нельзя выговорить вслух и чему, может быть, вообще нет обозначения на человеческом языке.

Уже на выходе к нему из затемненного угла фойе потянулись голос и глаза Жени Ш., маячившего там в соседстве с незнакомым Владу собеседником:

— Владислав Алексеич, можно вас на минутку, если мы вас не задерживаем, конечно!

Только приблизившись к ним, Влад сквозь полутьму и хмельную ауру разглядел в незнакомце памятное ему еще с детства по множеству расхожих фотографий черты знаменитого актера и режиссера, руководившего в последние годы довольно модным столичным театром.

А тот уже уважительно привставал Владу навстречу, протягивал руку, невесело улыбался темным лицом:

— Очень рад, очень рад познакомиться, — голос у него был ровный, глухой, без обычной актерской наигранности, — что-то вас в нашем театре не видно, заглянули бы как-нибудь, Владислав Алексеич, теперь надо вместе держаться, вместе — легче. — Откинулся сидящей головой на спинку кресла, взглянул на него, как бы издалека. — Я слышал, вас потихоньку обкладывают, готовят экзекуцию?

Но тут в разговор вклинился елозивший до сих пор по ним горячечными глазами Женя:

— Господь не дает ни больше, ни меньше, а ровно столько, сколько человеку по силам, не будем драматизировать события, он решил на этот крест, значит, должен вынести, если же не вынесет, сам виноват, соблазнился, не по росту вознесся. — Он вскочил, заложил руки за спину и закружился около них почти в исступлении. — Нам всем сейчас за него молиться остается, а ему уповать и каяться, ему теперь через Гефсиманию проходить, а впереди еще Голгофа маячит.

Пока тот метался у них перед глазами, все более возбуждаемый собственным красноречием, они перегляды-

ваясь, складывали между собой молчаливый, но понятный им обоим разговор.

„ — На Бога надейся, а сам не плошай, — примеривался к соседу один, — не так ли, Владислав Алексеич?“

„ — Попробуем побарахтаться, Юрий Петрович, — соглашался другой, — другого выхода нет“.

„ — Тяжела ты, шапка Мономаха, — сетовал первый, — надеть соблазнительно, носить тяжело“.

„ — Но уж коли надели, — в ответ ему вздыхал второй, — ничего не поделаешь, придется носить, Юрий Петрович“.

„ — Придется, Владислав Алексеич, придется“.

„ — Такая жизнь, Юрий Петрович, такая жизнь!“

С этим они и вышли затем вдвоем в ночной город, продолжая этот разговор уже вслух.

— Вы человек опытный, Юрий Петрович, вы их знаете лучше меня, — допытывался Влад, — чего им, по-вашему, от меня нужно.

— Ничего, — тем же ровным голосом откликнулся тот. — Ровным счетом ничего.

— Может быть, безоговорочной капитуляции?

— И этого им не нужно, уверяю вас, Владислав Алексеич.

— Убей меня, не пойму.

Тот некоторое время шел молча, потом вдруг спросил:

— Вы „Карьеру Артура Уи“ у Товстоногова видели?

— Не приходилось.

— Жаль, неплохо придумано. — И снова продолжил после короткой паузы. — Там обреченные на гибель герои появляются на сцене как бы в белых масках. Каждый из них действует, живет, говорит, еще не подозревая о своей обреченности, но для окружающих он уже мертв, вычеркнут из жизни, забыт. Примерно то же самое происходит у нас в действительности. Оступиться в наших условиях, хотя бы один раз, значит, раз и навсегда

да надеть на себя белую маску. Вы можете раскаяться, даже начать снова служить верой и правдой, от белой маски вам все равно не избавиться. Если не для окружающих, то для власть имущих вы по-прежнему обречены, потому что позволили себе непростительную роскошь однажды противоречить. Если им понадобится, они даже могут притвориться, что забыли о вашем проступке, но когда придут последние расчеты, а расчеты эти, уверяю вас, если нас не спасет чудо, придут, то вы погибнете вместе с теми, кого они сочтут своими злейшими врагами, а перед смертью еще дорого заплатите за полузабытое вами удовольствие свободного поступка. Некоторые наши хитрецы с кукишем в кармане тешут себя надеждой, что им удалось обыграть Систему, сочетая свои намеки и аллюзии с комфортным времяпрепровождением на государственных дачах. Что ж — блажен, кто верует, тому, говорят, легко живется. Им и в голову не приходит, что для Системы разница между ними и, предположим, Солженицыным — нулевая, для системы все они, вне зависимости от степени их вины, — белые маски. Впрочем, это целиком относится и к вашему покорному слуге, отличие мое от остальных лишь в том, что я об этом догадываюсь, а остальные — нет. — Он задержал шаг, осторожно тронул спутника за локоть. — Вот я и дома, может, зайдете?

— С удовольствием, но в другой раз, Юрий Петрович.

— Ну, ну, как знаете, если что, милости прошу, запросто. И театр тоже не обходите, для вас я всегда на месте...

В эту ночь Влад возвращался домой, почти физически ощущая на лице врастающую в него белую маску. И на протяжении всего пути прощальная перекличка в нем больше не оставляла его:

— Куда ты собрался, мальчик, куда?

— Еще сам не знаю.

— Чего ты там не видал?

- Увижу — скажу.
- Слышать, там вино слаще да хлеб горше.
- Без закуски пить буду.
- Пропадешь, мальчик, пропадешь!
- Пропасть — не упасть, не больно.
- Тогда прощай, родимый, не поминай лихом!
- Кроме лиха и вспомнить нечего, прощай!

С той ночи судьба устремила Влада в одну-единственную сторону — на чужбину.

## 7

Он вспомнил об этой последней для себя попытке договориться с Системой ради иллюзорной возможности остаться на родине, когда однажды в эмиграции великий музыкант, разделивший со многими горькую участь нового исхода, поведал ему поучительную историю своего собственного отъезда:

— Под конец они довели-таки меня до ручки. Сначала выперли из консерватории: недостойн, мол, воспитывать нашу славную музыкальную смену. Потом выжили из Большого, освободили, так сказать, оперный коллектив от тлетворного влияния морального уroda. Дальше — лишили гастролей, не развозить же им, в самом деле, идеологическую заразу по стране. Выручила меня тогда оперетта, пригласили меня туда очередным дирижером. Сам понимаешь, что после Большого это все равно как из церкви в кабак попасть, но я и тому рад был: лишь бы с музыкой дело иметь. Работал, себя не жалел, хотел доказать, что и в оперетте можно держать уровень. Только вызывает меня как-то главреж, эдакий лощеный жлоб из провинции, ради столичной карьеры маму родную продать готов, и говорит: „К сожалению, — говорит, — Мстислав Леопольдыч, мы вынуждены отказаться от ваших услуг, только вы, — говорит, — не подумайте, что

сверху давят или что по политическим мотивам, я, — говорит, — положил бы на это дело с прибором, меня мнение начальства не интересует, потому что я прежде всего художник. Просто, — говорит, — вы, Мстислав Леопольдыч, профессионально не тянете, музыкант вы, — говорит, — Мстислав Леопольдыч, того, неважный, или, прямо скажем, — говорит, — плохонький музыкант”. Можешь себе представить, каково мне было все это выслушать? Вышел я тогда, помню, из театра, снежок идет, машины бегают, народ кругом снует, а мне свету белого не видно, все как в тумане и голова кружится. Зашел я, веришь, в первый подъезд и — заплакал навзрыд, будто дитя малое. Реву и думаю, ведь сумел же, сукин сын, внушить: может, и вправду никудышный я музыкант, может, действительно никому моя музыка не нужна? Вернулся я на дачу, выпил малость и решил ткнуться к соседу, в те поры он в больших шишках ходил, недавно, правда, шею на чем-то сломал, выперли. „Володя, — говорю, — выручай, не хочу, — говорю, — никуда уезжать, готов, — говорю, — хоть в сельских клубах играть, только не выталкивайте вы меня из России!” Выпили мы с ним в тот день изрядно, и расчувствовался, видно, мужик по пьянке, силенки свои переоценил, пообещал на прощанье: „Ладно, — говорит, — узнаю, заходи завтра к вечеру”. А назавтра встретил, даже в глаза не смотрит. „Получай, — говорит, — заграничный паспорт и уматывай, и чем скорее, — говорит, — тем лучше”. А ты говоришь! Плевать им на нас, у них логика как у шпаны: уматывай, и все — дешевле ложки будут!..

Бесспорно, логика — железная.

Зима наступила хмурая, с редкими снегопадами, изнуряющим гололедом по утрам и дневной сыростью. Озябшая Москва забивалась в теплые норы жилья, значных мест и зрелищных залов, посвечивая оттуда зовущими огоньками в промозглую полутьму притихшего города.

В ту зиму Влад близко сошелся с Галичем. После памятной им обоим их первой встречи они изредка перезванивались, походя заглядывали друг к другу, и как-то исподволь, само по себе, сложилось, что эти звонки и эти визиты сделались со временем, во всяком случае для Влада, необходимыми.

Ему нравилось бывать в этой несколько перегруженной мебелью квартире, где любая вещь и каждый предмет только дополнял, дорисовывал барственный облик хозяина, составлявший со всем собранным здесь как бы единое целое. Сочетание это выглядело настолько органичным, что, казалось, вычлени отсюда то или другое, гармонически слаженный интерьер сразу смажется и отяжелеет. Поэтому при некоторой внешней загроможденности здесь не было ничего лишнего, ничего, что не соответствовало бы хозяйским привычкам или надобностям.

В осмысленно обжитом быту чувствовалась глубоко укорененная привычка к покою, удобствам, размеренности. За что бы тут ни принимались — разговаривать, пить чай или слушать музыку — делали это с естественностью людей, уверенных в своем праве говорить, вкушать, вслушиваться и полагающих для себя подобное право само собой разумеющимся. Со стороны можно было подумать, что их вчерашний и сегодняшний день были лишь продолжением какого-то неизменного действия, в котором им отведена заранее заданная роль, переиначить которую уже никакая сила в мире не в состоянии. Если б им знать тогда, сколь непродолжительной для них она, эта роль, окажется!

К песням хозяина Влад издалека относился довольно прохладно, считая, что в их яростной злободневности, словно в ядовитой щелочи, бесследно растворяется кристаллическая ткань подлинной поэзии, но чем чаще он вслушивался в них, чем внимательнее вчитывался в их как будто бы непритязательные слова, тем больше проникался одним им свойственной обнаженностью чувства и душевной отдачей, а с течением торопливых, но вместительных лет они — эти песни — сделались частью его самого, частью его переменчивой судьбы и его иссякающей жизни.

Даже теперь, спустя годы, Влад не сумел бы определить, что именно сблизило их. Ни в одном из них не было ни одной общей черты, черточки, привязанности, какие могли способствовать возникавшему между ними взаимопониманию: хозяин тщательно следил за своей внешностью, а гостя собственная внешность вообще никогда не заботила; один взволнованно чувствовал музыку, театр, живопись, а другого не интересовало и не трогало ничего, кроме литературы; первый любил шумные застолья, в которых, как правило, оказывался в центре внимания, а второй предпочитал расслабляться и бражничать чаще всего наедине с самим собой. Не случайно поэтому их внезапная дружба представлялась необъяснимой не только для окружающих, но и для них самих — сына тульских крестьян, породнившихся с городскими люмпенами, и любимца столичной элиты из семьи потомственных интеллигентов.

Но, тем не менее, союз их креп, в доме на Красноармейской Влад появлялся все чаще и чаще, засиживался порою подолгу, с наслаждением слушая бесконечные байки из театрального прошлого хозяина, даже не байки, а законченные новеллы, короткие, мастерски отточенные, заключенные в стереоскопически объемную форму:

— Сижу это я как-то в ресторане вэтэо, — складывал тот хорошо поставленным мхатовским речитативом, — заказал, разумеется, большой джентльменский набор, не могу, признаюсь, при случае отказать себе в удовольствии погурманствовать. Сижу себе, водочку попиваю, икорочкой заедаю, паровой осетринкой закусываю, как говорится, кум королю и благодетель кабатчику. Официанты вокруг меня кордебалетом вьются, в глаза заглядывают, знают, поднимусь — никого не обижу, каюсь, любил я в молодости покупечествовать. Но только я за десерт принялся, слышу: „Разрешите?“ Поднимаю глаза от тарелки, батюшки-светы, собственной персоной Вертинский! „Сделайте, — говорю, — одолжение, Александр Николаич, милости прошу!“ Садится это он против меня, легоньким кивочком подзывает к себе официанта, доживал там еще со старых времен старичок Гордеич, продувной такой старикашка, но в своем деле мастер непревзойденный, и ласковенько эдак заказывает ему: „Принеси-ка мне, милейший, стаканчик чайку, а к чайку, если возможно, один бисквит“. У Гордеича аж лысына взопрела от удивления: от заказов таких, видно, с самой октябрьской заварушки отвык да и на кухне, надо думать, про чай думать забыли, его, чаек этот, там, наверное, и заваривать-то давным-давно разучились. Но глаз у нашего Гордеича был цепкий, он серьезного клиента за версту чувствовал, удивится-то старый удивился, а исполнять побежал на полусогнутых, сразу учуял, хитрец, что здесь шутки плохи. И ведь, можете себе представить, как по-щучьему велению, и чай нашелся, и бисквит выискался. Пока мне счет принесли, пока я поцарски расплачивался, выкушал это мой визави свой чаек, бисквитиком побаловался, крошечки в ладошку смахнул, в рот опрокинул и тоже за кошелечком тянется. Отсчитывает Гордеичу ровно по счету — пятьдесят две копейки медной мелочью, добавляет три копейки на чай и поднимается: „Благодарю, любезнейший!“, а по-

том ко мне: „Прошу извинить за беспокойство”. И топ-топ на выход. Должен сказать, сцена получилась гоголевская: замер наш Гордеич в одной руке с моими червонцами, а в другой с мелочью Вертинского, глядит вслед гостю, а в глазах его восторг и восхищение неопишное. „Саша, — спрашивает, — да кто же это может быть такой?” — „Что же ты, Гордеич, — стыжу я его, — Вертинского не узнал?” Тот еще пуще загорелся, хоть святого с него пиши, и шепчет в полной прострации: „Сразу барина видать!”

И еще:

— Помните, служил в Малом актер по фамилии Климов, хороший, кстати, актер был, хотя из-за своей импозантной фактуры играл по большей части старых слуг, благополучных купцов, а после революции, уже в кино, главным образом капиталистов. Ко всему прочему, слыл он в театральной среде баснословным гурманом. Вплывет, бывало, в вэтэо, усядется за стол и пойдет мурлыкать на ухо официанту: „Принеси-ка ты это, братец, мне перво-наперво рюмку столичной, сам понимаешь, со льда, да таким манером, чтобы рюмочку эту как бы потом прошибало, а к водочке изобрази-ка ты мне селедочки балтийской под лучком в крупную стружку, а потом, благословясь, сооруди мне селяночки понаваристей, проще говоря, со вниманием, а накроем мы эту канитель с тобой паровой осетринкой в зелени, да зелень-то, братец мой, посвежей выбери, меня ведь на крапиве не проведешь, а под занавес попотчуй ты меня цыпленочком и предупреди там Семеныча, чтобы потомил его, стервеца, потомил на жару до розовой корочки, а как дойдет до кондиции,пусти ты ему перед подачей маслица в попку...” Мурлычет он это официанту, а тут как раз мимо них пьяный в дым актеришка тянется из буфета: хватил, видно, там свои триста и по малости, по бедности своей актерской, конечно, без закуси, ну и, естественно, окосел, свету белого не видит. Из всей кли-

мовской серенады до соловеющего его сознания только и дошло это самое „маслица в попку” и, видно, очень это уязвило его пьяную душу, застыл он у стола как вкопанный, а официант наш, гусь опытный, видит — рвань актерская, ну и попер на него, проваливай, мол, пока милицию не вызвал, чего глаза вылупил, чего еще захотел? А тот ему, икая на каждом слоге: „И мне — маслица в попку...”

К себе Влад возвращался в уверенности, что завтра он вновь окажется в этом доме, где его снова встретят так, словно ему только что пришлось на минуту выбежать отсюда по случайной надобности.

Однажды, открывая Владу дверь, хозяин заговорщицки подмигнул ему и жарко зашептал ему на ухо:

— Хорошо, что вы пришли, Владик, у нас академик, а я, признаюсь, давно вас хотел познакомить. — Он ободряюще подтолкнул гостя впереди себя в комнату. — Вот, Андрей Дмитрич, знакомьтесь, это и есть тот самый Самсонов, о котором, если хотите, так много и так настойчиво говорят теперь большевики, прошу любить и жаловать и все такое прочее.

— Здравствуйте, Владислав Алексеич, — из-за обеденного стола Владу навстречу поднялся высокий, чуть сутуловатый человек лет пятидесяти с небольшим, с застенчивой улыбкой на продолговатом лице, — очень рад вас видеть...

Стараясь, по возможности, скрыть свою взволнованную заинтересованность, Влад исподтишка жадно разглядывал его в надежде выделить в нем что-то, что хотя бы отдаленно соответствовало ходившим про него легендам и слухам, но, сколько ни всматривался, ничего в сидящем напротив человеке не отвечало заочным о нем представлениям. Повстречав его на улице, никому даже в голову бы не пришло, что он может иметь хоть какое-то отношение к сильным мира сего, что за ним неотлучно следует охрана и что любое принадлежащее ему от-

крытие является государственной тайной первостепенной важности. Скорее всего, он походил на участкового врача старой выучки, школьного учителя накануне пенсии или ординарного профессора из плохих советских пьес: чудаковатого, рассеянного, робкого.

Но, слушая его в возникшем затем разговоре и вдумчивее примериваясь к нему, Влад от слова к слову все более и более проникался ощущением силы и света, которое от него исходило. Казалось, что эта сила и этот свет существуют в нем сами по себе, вне зависимости от него лично или каких-либо с его стороны усилий, словно излучение в заключающей его оболочке. „Да, — наблюдая за ним, удивлялся и удивлялся Влад, — мягок-то ты мягок, только мягкость твоя кое-кому, видно, поперек горла!”

Толком Влад не запомнил, о чем в тот вечер шла речь, наверное, все о том же: обысках, арестах, Самиздате (о чем в те поры можно было еще говорить!), но отчетливо запечатлелось, что, прежде чем попрощаться, академик задержал его руку в своей, озарился обезоруживающе:

— Я слышал, Владислав Алексеич, что к вам уже обращались по поводу Володи Буковского, если для вас это не слишком затруднительно, вы бы сделали большое и нужное дело...

Сестра Влада действительно передавала ему от имени людей, с которыми она была связана по работе в специальной математической школе, слывшей в Москве рассадником крамолы, просьбу оформить парня у себя личным секретарем, что обеспечило бы тому административную легальность по месту жительства и некоторую свободу действий в пределах столичного города. Он сразу же дал согласие, но тот так до сих пор и не объявился, позволяя Владу считать, что в нем отпала нужда. Поэтому в ответ на просьбу академика он только беспечно развел руками:

— Какой разговор, Андрей Дмитрич, хоть завтра!..

На следующий день парень и впрямь напомнил о себе по телефону. И они обо всем договорились, после чего Влад еще с неделю бегал по литературным приемным, выбивая необходимые справки, а выбив, сразу же созвонился с предполагаемым секретарем, чтобы условиться наконец о встрече.

Едва выйдя из метро на станции „Сокол”, Влад наметанным глазом выделил из нервной россыпи ожидающих своего сегодняшнего протеза: в тренировочных брюках, заправленных в высокие ботинки, в демисезонном пальто и заячьей шапке-ушанке тот походил на студента-старшекурсника или на спортсмена средней руки. Кто бы мог сказать тогда, глядя на этого совсем еще молодого горожанина, что позади у него уже два лагерных срока с психбольницей в придачу и отчаянным единоборством с целой государственной машиной в коротких промежутках между отсидками, а впереди — громкий обмен в Цюрихе, полновесный, без всяких скидок на биографию, Кембридж, кружение по всему свету и собеседования на равных в кабинетах, о которых простому смертному и мечтать не приходится!

Парень понравился Владу сразу, что называется, с первого взгляда: был немногословен, вдумчив, с утверждениями и выводами не спешил, глядел впереди себя с прицельной зоркостью, походку имел легкую, слегка даже пританцовывающую, но в поступи уверенную. Чувствовалось, что цену тот себе знает, считает эту цену высокой, может быть, даже чересчур, но вместе с тем явно надежен и слову своему хозяин полный.

После бумажной канители в районной конторе по частному найму, тот, выйдя следом за Владом на вечеряющую улицу, вдруг весело предложил ему:

— Может, обмоем это дело, Владислав Алексеич, тут у меня неподалеку хорошие знакомые живут, заглянем

в магазин, а потом — к ним, Юра и Лена Титовы, может, слышали?

Нет, Влад не слышал. Поэтому, оказавшись в их похожей на тесное логово квартире, он несколько оторопел. Со всех стен на гостей взирал плакатного письма лик Спасителя в разных видах и ракурсах: в венце из колючей проволоки; за тюремной решеткой; объятый атомным пламенем. А вокруг, на всех поверхностях и плоскостях — столах, столиках, тумбочках, стульях, лежаках и подоконниках громоздился пестрый домашний хлам вперемежку с пустой и полупустой посудой, листками, листами, папками и альбомами. Не жилье, а мечта Плюшкина.

Среди всей этой обескураживающей свалки метался всклокоченный, с нездоровой отечностью вокруг глаз хозяин, ухитряясь ни за что вокруг себя не зацепиться, и лихорадочно расстилал на полу перед гостями один испещренный чертежами лист ватмана за другим.

— Такого храма еще не было в истории человечества! — Он возбужденно сверлил их сумеречными глазами. — Я сочетаю в нем Ветхий и Новый заветы, основа храма шестиконечная, завершение — крест, как итог и смысл бытия, мир ахнет, когда я опубликую свой проект, деньги потекут сами, люди за честь будут считать принять в нем любое участие, но пока мы здесь, все это только мечты, если пронюхают, уничтожат, поймут, что если построю, то им конец!

Последние слова его мгновенно подхватила хозяйка, существо, судя по всему, искреннее, но явно неуравновешенное.

— Мы показывали проект „корам”, — восторженно сияла она во все стороны, — полный фурор! Говорят, что если бы Юра жил на Западе, ему бы там памятник поставили при жизни, а Солженицын даже считает, что со временем этот храм можно будет построить и в России, но я уверена, что у нас и через тысячу лет ничего не изме-

нится, рабами были, рабами останемся и кроме советской власти ничего не заслуживаем. Уезжать отсюда надо, бежать без оглядки, пока совсем не прикончили!..

И словно пахнуло в душу Влада зябким сквознячком. И хотя в ту пору самый воздух, казалось, был напоен хмельным настоем бегства, исхода, эмиграции, люди поднимались и в одиночку, и целыми кланами, ткань многолетних связей растрескивалась по всем швам, Влад гнал от себя мысль о чужбине, старался не думать о ней, мысленно прятался от нее, как прячется приговоренный смертник от предстоящей ему неизбежности.

Но она, эта чужбина, гналась за ним по пятам, пробивалась к нему в самых неожиданных местах и положениях, дразнила, пугала, заманивала, и даже в единственном родном для него доме сестры жили в эти дни только заботами завтрашнего отъезда.

Влад еще поглядывал на них, как сторонний наблюдатель, еще силился убедить себя, что ему черед пока не приспел и роковой день маячит лишь за дальним пределом, его нынешнее прощание с близкой родней уже выливалось у него в горькие строки собственного прощания:

„Вот так, свет ты мой, Мария Михайловна, — две голодухи, начисто прополовшие родство вокруг, четыре войны с безымянными звездами над усыпальницами женихов, куча так и не зачатых от них детей: все твои шесть десятков годков, щедро оплаченных полдюжиной почетных бляшек, отштампованных из цветзаменителей на Монетном дворе, — куда, за какие Кудыкины горы уносит тебя сегодня твоя шестьдесят первая зима? Что ждет тебя там, в Синайских песках, престарелую девочку из деревни Сычевка, что затерялась где-то между Москвой и Тулой?

...Не ходи, не кури так много и ожесточенно, Екатерина, дочь Алексеева! Это ведь не просто — выламываться из этого снежного кружева на Красной Пресне, из трид-

цатилетней паутины связей и дружб, потерь и приобретений, встреч, разлук, ссор, любвей, разговоров, из заколдованного круга знакомых порогов и полузабытых могил. Нет, нет, это не дым истерзанной сигареты, Катюха, а сизый пепел дряхлеющего двора на Сокольнической окраине и горький пух ее тополей першат сейчас тебе горло.

...Как мало, как плохо я знал тебя, Юра, сына польских изгнанников и внука американского еврея, еще главенствующего над кланом, растекшимся по всем пяти континентам! Из всех неисповедимых путей Господа, наверное, самый неисповедимый привел тебя в полувымершую семью московских мастеровых из бывших крестьян, к девочке, почти подростку, с которой ты зачал родословную новой фамилии, гремучего симбиоза славянских и библейских кровей.

...Если бы знать, что станется с ними, этими двумя боковыми веточками самсоновского корня, там, в тридевятом царстве земли обетованной, многоязычной юдоли надежд и упований! Старшая, она уже готова, она уже покорила неизбежному, ею уже властно движет извечный женский инстинкт навстречу тайне и новизне. Но, с ума сойти, как мне представить за пределом моего прикосновения и взгляда тебя, Леша, Алексей, Алексей Юрьевич, по-детски размытый абрис фамильного облика и дареная синева постоянно взыскующих глаз?”

Влад верил в них, в своих родичей, в дарованную им природой способность устоять, выжить, укорениться в сложной структуре иной почвы, гарантией тому была полученная ими в наследство от крестьянских и местечковых предков цепкая живучесть, но устремленные в чужие края за лучшей долей, они, сами того не замечая, одной только центробежной силой своего движения увлекали за собой слабые, соблазненные пустыми химерами души, вроде тех, что бредили сейчас перед ним в

этой комнате в тумане праздных видений и несбыточных грез.

С тяжелым чувством выходил от них Влад. „Пропадут ведь, угнетался он по дороге, — наверняка пропадут!”

## 9

Из баек Дани Майданского:

### СИЗИФОВ ТРУД, ИЛИ ОСТОРОЖНО — ЖЕНЩИНА!

Жил-был, а скорее всего был, потому что жил он, откровенно говоря, довольно скверно, один бедный французский, но, может быть, вовсе и не французский, а испанский или итальянский художник да еще вдобавок ко всем своим несчастьям влюбленный в дочь короля. И вообще амбициям нашего героя не было предела, ибо, как известно, гордыня служит человеку единственной компенсацией за жизненные переживания. Все его друзья и знакомые не раз уговаривали безумца отказаться от несбыточных грез и надежд, выбросить из разгоряченной головы блажь сделаться зятем монарха, унять неразделенную страсть, но он с упорством, достойным, как пишется нынче в нашей печати, лучшего применения, продолжал домогаться руки своей августейшей избранницы. Множество раз слуги с издевательским смехом сбрасывали его с наружной лестницы королевского дворца, потешая затем венценосца рассказами о незадачливом женихе. Прохожие на улицах показывали на него пальцем, а вездесущие мальчишки, по обыкновению, выкрикивали ему вслед: „Тили-тили тесто, жених и невеста!..” За ним исподволь укрепилась репутация чокнутого неудачника и маньяка. Постепенно от него отшатнулись друзья, а знакомые перестали при встрече его узнавать. Существование его с течением времени преврати-

лось в сплошной коммунальный ад со всеми, что называется, вытекающими отсюда последствиями. Когда же в конце концов бедняга и сам осознал полную безнадежность своих притязаний, жизнь вообще потеряла для него какой-либо смысл, и он решил покончить с собой самым безболезненным образом, то есть попросту утопиться. С этим благим намерением он и отправился на берег реки, назовем ее хотя бы Сеной, сел там у воды и стал молиться, прося у Господа отпущения за столь греховное свое решение. Именно в эту минуту перед ним из воды и выскочил маленький, но вполне respectable черт. „Вы, — живо воскликнул гость, — художник такой-то?“ — „Я, — печально отвечивал наш герой, — а в чем, собственно, дело?“ — „Вы, — не унимался тот, — любите дочь короля?“ — „Да, — снова подтвердил художник, — но вам-то какое до этого дело?“ — „Мне, — игриво пожал плечами тот, — ровно никакого, просто я мог бы вам это устроить“. — „Что устроить, — упорствовал наш герой, — что именно?“ — „Как что, — окончательно развеселился черт, — королевскую дочь, чего же еще!“ Художники, как известно, народ довольно сообразительный, поэтому, мгновенно оценив ситуацию, герой наш сразу взял быка за рога: „Чего это мне будет стоить?“ — „Ровным счетом ничего, — обрадовался тот понятливости собеседника, — или, вернее, мелкий пустячок, так сказать, забава в часы досуга: вы должны давать мне работу. — И, снисходя к недоумению визави, пояснил: — Видите ли, дело в том, что в наших краях теперь в связи с нынешним религиозным возрождением наблюдается рост безработицы, особенно среди молодежи, большинство из нас годами слоняется по миру без всякого дела, в преисподней процветает геронтократия, старики отхватывают себе лучшие куски, волей-неволей приходится исхитряться, чтобы найти хоть какую-нибудь работенку, а то останешься на старости лет без пенсии. Честно сказать, я пасу вас

давно, в ожидании удобного случая, пожилые черти на вас уже давно рукой махнули, как на безнадежный случай, но я верил в вас, я знал, что в конце концов вы дойдете до ручки и созреете для перспективных переговоров, не обманывайте же, мэтр, надежд подрастающего поколения, не дайте мне разувериться в человечестве!” Соблазн был так велик, что борьба между сознанием греха и предвкушением близкого счастья оказалась в душе кандидата в самоубийцы весьма недолгой, он сдался, и высокие договаривающиеся стороны тут же, на берегу, подписали соответствующий документ, скрепленный честным словом одного и теплой кровью второго, на чем и расстались отменно довольные друг другом. Художник вернулся на свой чердак, где мгновенно заснул сном праведника, но среди ночи внезапно проснулся, осененный искрометным вдохновением, и тут же принялся за чистый холст. В течение нескольких дней он создал картину, потрясшую на первой же выставке знатоков и ценителей королевства. Богатейшие люди страны боролись за честь приобрести ее для своей коллекции, и в результате богатейший из них все-таки приобрел этот шедевр за баснословную сумму. Но вдохновение и после этого не оставляло художника: он писал картину за картиной и каждая из них была лишь очередной удачей. Все что выходило из-под его кисти только увеличивало славу и богатство счастливого. Ну и, вы сами понимаете, местные искусствоведы в штатском вскоре донесли о случившемся до царственных ушей, не преминув при этом выдать восходящей звезде весьма нелестную идейную характеристику. К счастью (что теперь, впрочем, случается довольно редко), тогдашний король, в отличие от нынешних, обладал чувством юмора и здравого смысла, а поэтому отмахнулся от досужих наветов, отдав должное прежде всего упорству и талантливости претендента на руку и сердце своей дочери. „Времена меняются, — философски рассудил он, — монархия

должна приравниваться к возникающим социальным тенденциям, необходимо прислушиваться к веяниям времени, тем более что опекать искусство — давнишняя традиция государственной власти, и, кроме того, следует быть демократичнее, это сближает с народом”. К тому же, если говорить положе руку на сердце, королевская казна была пуста, очередное жалованье придворным не выплачивалось годами, что лишь увеличивало и без того чудовищную коррупцию в обществе, поэтому пополнить семейные доходы за счет прибыльной живописи самодержец был совсем не прочь. „Дочерей у меня, — практически рассудил король, — слава Богу хватает, считай, больше дюжины, не принимая во внимание морганатических, не беда, если одна из них выйдет за этого шалопаю, по крайней мере будет пристроена, наследственное авторское право чего-нибудь да стоит!” Короче, очередное сватовство преуспевающего творца было принято с благосклонностью, и вскоре молодые отправились под венец. Не буду утомлять вас красноречивыми подробностями свадебного пиршества (скажу только, что там было что выпить и чем закусить), лучше сразу перейду к сути нашего повествования. Не успели молодожены оказаться у себя в спальне, чтобы незамедлительно, по меткому выражению русских классиков, приступить к исполнению обоюдных супружеских обязанностей, как раздался вежливый, но настойчивый стук в дверь. „Одну минутку, дорогая, — оторвался от молодой супруги наш герой, — я сейчас вернусь”. Открыв дверь в коридор, он, как и ожидалось, увидел перед собой знакомого чертенка. „Я свое условие выполнил, — доложил тот, — очередь за вами”. — „Что ж, я готов, — не задумываясь откликнулся художник, — у меня есть для вас одна славная работенка”. — „Слушаю вас”, — было ответом. „В далеком океане, в неизвестной стороне, на секретной долготе и на энской широте имеется необитаемый остров, прошу вас воздвигнуть на этом острове комфортабельный

дворец, где я мог бы вместе со своей молодой женой время от времени предаваться любви и творчеству”. — „Бу zde, отсалютовал чертенок, — вашество, не извольте беспокоиться”. Когда муж вернулся, жена уже спала, и он, из свойственной ему деликатности, не решился ее будить. Утром молодая проснулась не в духе и в течение дня заметно проявляла излишнюю нервозность. К ночи все повторилось сначала: первые поцелуи, стук в дверь, чертенок в коридоре: „Комфортабельный дворец на необитаемом острове, в неизвестной стороне далекого океана построен! Прошу дать следующую работу!” Художник задумался: если этой рогатой козявке понадобится менее суток, чтобы соорудить такую архитектурную машину, то чем же его еще можно занять хотя бы дня на три? „Хорошо, — наконец догадался он, — создайте-ка на этом острове жизнь, не могу же я в самом деле любить и творить безо всякой связи с народом!” При этом он удовлетворенно подумал про себя, что для этого даже нечистой силе потребуется по крайней мере восемь-девять месяцев. „Бу zde, — снова отсалютовал тот, — соорудим в лучшем виде”. Вернувшись, художник вновь застал принцессу спящей. На следующее утро она проснулась еще пасмурнее и целый день не разговаривала с мужем. По наступлении ночи, едва было он кинулся от нее на стук к двери, она повелительным жестом остановила его „Я открою сама!” — „Понимаете, дорогая, — взмолился он, — это ко мне лично, по частному делу”. — „Запомните, дорогой, — снисходительно изрекла та, — в королевском доме не может быть частных дел, в королевском доме все дела — государственные!” И вышла, обнаружив в коридоре вполне симпатичного чертенка. „Что вам угодно, — величаво спросила принцесса, — я вас слушаю”. — „Видите ли, — слегка смутился гость, — я, собственно, не к вам, а к вашему мужу”. — „Он болен, — пресекла та его жалкие объяснения, — и просил меня переговорить с вами по инте-

ресующему вас вопросу”. Черт помялся, но более возра-  
зить не посмел: все-таки, сами понимаете, августейшая  
особа, с такими даже черти не шутят. В двух-трех сло-  
вах, кратко, но вразумительно он изложил даме суть  
своих взаимоотношений с ее мужем. „Эка невидаль, —  
выслушав его, воскликнула она, — вам надо было сра-  
зу обратиться непосредственно ко мне, я привыкла ре-  
шать проблемы безработицы на государственном уров-  
не!” Она мгновенно распахнула свой воздушный ночной  
халатик, выдернула из промежуточной части волосок и про-  
тянула гостю: „Прошу вас, распрямите”. — „Бу зде на  
месте, — воодушевился тот, — как говорится, не отходя  
от кассы”. Он зажал драгоценный волосок между ногтя-  
ми большого и указательного пальца, а двумя другими  
потянул его вверх. Но волосок немедленно скрутился в  
винтовую спираль. Он несколько раз повторил опыт, но  
волосок скручивался все плотнее и плотнее. „Да, ваше  
высочество, — почесал он наконец в затылке, — я не-  
сколько переоценил свои оперативные возможности,  
позвольте навестить вас завтра в это же время?” — „По-  
жалуйста”, — согласилась та. И они расстались. Принцес-  
са вернулась в спальню, и случилась восхитительная ночь  
любви, я даже не могу найти достойных слов для ее опи-  
сания, а за этой ночью последовало множество других  
таких же, не менее восхитительных, в течение которых  
их более никто уже не беспокоил. Шли годы. У любящих  
супругов рождались дети, а у их детей собственные от-  
прыски, то есть, извините за откровенность, внуки.  
Жизнь их текла размеренно и безмятежно, словно некая  
бесперывная пастораль. Летом, по воскресеньям, в хо-  
рошую погоду вся семья, как обычно, выезжала на лоно  
природы, чтобы под ее благодатной сенью насладиться  
культурным отдыхом и еще более укрепить свое и без  
того прекрасное здоровье. В одну из таких оздорови-  
тельных поездок их воскресную идиллию неожиданно  
нарушил истошный крик маленького внученка: „Мама!

Папа! Бабушка! Дедушка! Скорее сюда, ко мне, вы только посмотрите, что я вижу!” Разумеется, вся компания тут же устремила на детский зов, доносившийся со стороны глубокого оврага. Едва они достигли цели, перед ними открылась картина, как пишут теперь в газетах, достойная кисти художника: внизу, на самом дне оврага, сидел на корточках старый седой черт и, зажав между ногтями большого и указательного пальца человеческий волосок, пытался двумя другими его распрямить. Но после очередной попытки тот лишь вновь скручивался, не оставляя бедолаге никакой надежды на успех. Из этой побасенки, родной мой, не трудно вывести элементарную мораль: если вам женщина даст работу, то на всю жизнь!

И как в воду глядел.

## 10

Вокруг Москвы полыхали леса. Синий дым сплошной кисеей стелился над городскими крышами, проникал во все щели и отверстия, забивал легкие, выедал глаза, не унимаясь ни днем ни ночью. Держалась только середина лета, а проржавевшая от зноя листва уже шуршала по асфальту тротуаров и мостовых, с хрустом крошилась под ногами, чтобы при первом же дуновении ветра обратиться в бесцветную пыль. Но ветра не было, и оттого раскаленное удущье день ото дня становилось все более нестерпимым. Шумел, гудел пожар московский.

Все живое в поисках спасения растекалось во все стороны, прочь из столичного пекла в тихие заводы уцелевшего от горючей стихии Подмосковья. Город безлюдел на глазах, а еще теплившаяся в нем жизнь предпочитала углы поукромней и попрохладнее. Казалось бы, в такую пору даже мухи спешат отправиться в отпуск без содержания, лишь бы не летать, не дышать, не двигаться. Но

Система, в паутине которой существовали страна и ее обитатели, функционировала в любое время года и при любой погоде. У Системы не числилось ни выходных, ни праздников, ни перерывов на обед. Система была на страже.

Однажды включив Влада в поле своего зрения, она, эта Система, уже не спускала с него глаз и, после брезгливого изучения, как-то поутру призывно просигналила ему официальной повесточкой из Московского отделения Союза писателей:

„Просьба явиться на заседание секции прозы...” и так далее, со всеми аксессуарами.

И Влад понял, что похоронный колокол над ним зазвонил в полную силу, но это вызвало в нем не отчаянье или растерянность, а лишь приступ веселой ярости: погибать, так с музыкой!

Не откладывая ни минуты, он сел и в течение получаса на полутора писчих страницах решительно сформулировал Системе свой ответный сигнал: „Иду на вы!”

„Как мне стало известно, секретариат МОСП РСФСР совместно с бюро секции прозы готовят обсуждение моего романа со всеми вытекающими отсюда оргвыводами. Я и пишу это письмо заранее, ибо заранее знаю степень ваших обвинений и качество ваших доводов. Мне не в чем оправдываться перед вами и не о чем сожалеть. Я сын и внук потомственных пролетариев, сам вышедший из рабочей среды, написал книгу о драматическом финале дела, за которое отдали жизнь мой отец, мой дед и большая часть двух восходящих ко мне фамилий. Эта книга для меня — результат многолетних раздумий над удручающими и уже необратимыми явлениями современности и горчайшего личного опыта. Если вы, оставшись наедине с собой, непредубежденно и мужественно взглянете в лицо действительности, у вас, я уверен, возникнет множество тех же самых „почему”, какие одолевали меня в процессе работы над романом.

Почему в стране победившего социализма пьянство становится общенародной трагедией? Почему за порогом полувекового существования страны ее начинает раздражать патологический национализм? Почему равнодушие, коррупция и воровство грозят сделаться повседневной нормой нашей жизни? Где истоки всего этого, в чем первопричина такого положения вещей? Вот примерно те вопросы, которыми я задавался, садясь за работу над книгой. Не знаю, удалось ли мне с достаточной убедительностью ответить хотя бы на один из них, но у вас нет оснований сомневаться в искренности моих намерений. Этим же стремлением помочь своей стране и своему народу разобраться в отрицательных явлениях современности, с тем чтобы, освободившись от ошибок прошлого, безбоязненно двигаться дальше, руководствовались все мои старшие предшественники от Дудинцева до Солженицына включительно, разумеется, каждый в меру своих сил и дарования. К сожалению, те, от кого зависело взять эти книги на вооружение, не только остались глухи к взыскующим правды голосам, но и встретили их в штыки. Мне трудно судить, кто и почему заинтересован в том, чтобы загнать болезнь глубоко вовнутрь, но в плачевном исходе такого рода лечения я и не сомневаюсь: последствия не поддаются учету, бедствия — исчислению. Если наше общество не осознает этого сегодня, завтра уже будет поздно.

Сейчас мне не до бравады, я покину организацию, в которой состоял без малого десять лет, с чувством горечи и потери. В ней — в этой организации — числились и числятся люди, у которых я учился жить и работать. Но рано или поздно каждому из них все-таки придется сделать этот тяжкий выбор. Союз писателей, а в особенности его Московское отделение, постепенно становится безраздельной вотчиной мелких политических мародеров, разъездных литературных торгашей, всех этих мед-

никовых, пиляров, евтушенок мелких бесов духовного паразитизма.

Я прекрасно осознаю, что меня ждет после исключения из Союза. Но в конце пути меня согревает уверенность, что на необъятных просторах страны, у новейших электросветильников, керосиновых ламп и коптилок сидят мальчишки, идущие следом за нами. Сидят и, наморща сократовские лбы, пишут. Пишут! Может быть, им еще не дано будет изменить скорбный лик действительности (да литература и не задается подобной целью), но единственное, в чем я не сомневаюсь, — они не позволят похоронить свое Государство втихомолку, сколько бы ни старались преуспеть в этом духовные гробовщики всех мастей и оттенков”.

Поэтому, когда в назначенный день Влад явился пред светлые очи своих прозаических коллег, стороны уже не заблуждались друг в друге, готовые к любой развязке. Правда, среди „коллег” он не заметил сколько-нибудь известных имен или лиц, кроме разве лишь председательствующего — записного либерала из бывших „бездородных космополитов”, взявшего на себя малопочтенный труд элегантно утопить преступившего „табу” собрата, как потом оказалось, в обмен на туристскую поездку в Америку.

„Что за комиссия, Создатель, — усаживаясь перед нами, вспомнил Влад чью-то старую хохму, — а особенно председатель!”

О, этот легендарный советский либерал с неизменным девизом на услужливых губах: „Лучше я, чем другой!” Сколько од и ораторий сочинил он в честь своих душевных мук и нравственных переживаний, пробиваясь к заветной кормушке, где раздадут наиболее приближенным вполне съедобные остатки с неоскудевающего барского стола! Нет таких подлостей и клятвопреступлений, на какие бы его не подвигла жажда всегда и всюду числить себя в перманентной оппозиции, не теряя, конеч-

но, сладкой возможности обогреться в лучах благожелательного внимания свыше. Но при всем при этом мученическое выражение не сходило с его вдохновенного чела: он в опасности, он в беде, он в пути на Голгофу!

Пусть извинит Влада требовательный читатель, но он всегда предпочитал иметь дело с ортодоксами: тем, по крайней мере, не приходилось с ним лицемерить.

Однажды, отвечая на очередное недоумение Влада, Эрнст Неизвестный определил это Владово состояние еще точнее:

— Ты спрашиваешь, что такое советский либерал? Пожалуйста. Представь себе наше мудрое руководство в виде огромной задницы, чур, метафора моя, а около этой задницы сгруппировалась банда идеологических ортодоксов от культуры и взасос лижут ее, эту задницу, за что получают весьма недурственные дивиденды, слышишь? Лижут-то они лижут, но некоторые неудобства все же испытывают, потому что сзади на них наш нынешний либерал напирает, местечка для себя добивается, свою долю урвать норовит. Ортодоксы, сам понимаешь, делиться с ним не хотят, ногами отбиваются, доказывают заднице, что те не лизать, а кусать лезут. Заднице бы этой вовремя догадаться, что те не кусать, а тоже лизать лезут, только гораздо квалифицированнее и за меньшую плату! Правда, кажется, начинает догадываться, вот и умница!..

Как-то вскоре после отъезда, в Париже, великая певица рассказывала Владу о судьбе тоже по-настоящему великого, а может быть, и величайшего композитора нашего времени:

— Если б ты знал, до чего они его довели, он даже голодал, я сама ему из-за границы консервы возила!

— ?!

— А ты сам посуди, какую ораву ему содержать приходилось: семью, домработницу, секретаршу, шофера, сторожа на даче! Попробуй, их накорми, а ты говоришь!

Да простит Владу Господь такое кощунство, но он — сын тульских лапотников и городской голытьбы, — полжизни хлеба досыта не евший, подумал тогда в сердцах: „Эх, мне бы его, этого композитора, заботы!”

Предложенный спектакль тем временем разыгрывался по всем правилам загодя выработанного сценария:

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ** (упитанная его фигурка торжественно напряжена, глаза опущены долу, пухлые кулачки упираются в стол перед собой: он скорбит, ему тяжело, но он выполняет свой партийный долг) : Что ж, товарищи, я думаю, начнем, кто хочет взять слово?

**ПЕРВЫЙ „ТОВАРИЩ”** (фамилия не то Стрехнин, не то Струхнин, не то одно и другое, вместе взятое, в общем, сама фамилия чего стоит!) : Товарищи, когда я прочитал этот, с позволения сказать, роман, мне вспомнилась моя фронтовая молодость, я работал тогда в Особом отделе армии. И должен вам прямо сказать, что мы получали тогда много власовских листовок с точно таким же содержанием, но в те суровые годы я знал, как следует поступать с теми, кто пишет, и с теми, кто читает эту антисоветчину (одутловатая физиономия бывшего особиста стала медленно наливаться кровью, и Влад живо представил себе, что бы с ним случилось, попадись он тому в ту пору). Разве за таких вот, с позволения сказать, сочинителей мы с вами, товарищи, проливали кровь в годы Великой Отечественной войны?..

**ХОР „ТОВАРИЩЕЙ”**: Нет, не за таких, Василий Сидорыч, не за таких!

— Позор!

— Кто его только в Союз принимал!

— Лезут всякие!

— А мы ему по рукам!

— И нечего церемониться!..

**ВТОРОЙ „ТОВАРИЩ”** (с горбатыми, навывкате глазами и с таким выражением на геморроидальном лице, словно он однажды случайно наступил на собственное

дерьмо и никак не может оттуда вылезти): Товарищи, вы меня знаете, я человек рабочий, из рабочей семьи (если его папе, бывшему нэпману, зачесть в трудовую книжку службу в лагерной каптерке, то он и впрямь был по происхождению самых голубых пролетарских кровей), мое творчество — это рабочая тема, и поэтому я оскорблен за весь рабочий класс, за всех трудящихся нашей страны! Где, спрашивается, Самсонов мог встретить таких рабочих людей, каких он изображает? В каких распивочных, в каких подворотнях он их нашел, пусть ответит, если сумеет?

СНОВА ХОР „ТОВАРИЩЕЙ”:

— Молодец, Толя, не в бровь, а в глаз!

— Пьянь городская, вот его рабочие!

— Видно, много он наработал в своей жизни!

— Какое там, у него, говорят, вообще, темное прошлое!

— И две фамилии!

— Я слышал, даже — три!

— Чего рассусоливать, гнать в шею, распустили, понимаете, всякое околомитературное отребье, позволяют себе!

— Чего обсуждать, дело ясное!..

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (ах, как претит ему эта вакханалия, его либеральной душе глубоко противны распоясавшиеся погромщики: он и головкой-то неодобрительно покачивает, и ручки-то пухлые умоляюще к груди прижимает, но вовремя спохватывается: на кону поездка в Америку): Поверь мне, Владик, я не согласен с товарищами, в корне не согласен (выдерживает героическую паузу, будто перед тем, как вступить на костер), не в идейных просчетах дело, если бы только это, все можно было бы поправить, я бы сам сел с тобой за стол, и мы бы уж как-нибудь столковались, ведь ты же знаешь, как я люблю тебя и ценю твой талант. Но, повторяю, дело не в этом, а в том, что роман твой плох, безнадежно плох, это неуда-

ча, творческий срыв, поверь мне, Владик, как другу поверь. Ты, видимо, исписался, иссяк, поезжай в глубинку, поработай на производстве, пообщайся с народом, и ты сам поймешь, что не прав. Одумаешься, вернешься, снова подавай заявление и, если с открытой душой, то мы тебя снова примем в Союз, снова будешь в нашем творческом коллективе!

Роман-то мой, Александр, свет Михалыч, может быть, и вправду плох, только, прямо скажем, занятное ты себе место и удобное время выбрал, чтобы сказать об этом!

Влад почувствовал, что его вот-вот стошнит от этой велеречивой пакости, и он яростно взорвался:

— Вот что, уважаемые неуважаемые, хватит! Если вам не надоело говорить, то мне надоело вас слушать. Ваша бездарность в литературе равна вашей бездарности в красноречии, поэтому поищите себе другой объект для своих словесных упражнений. Неужели вы полагаете, что я всерьез отнесусь к вашим словоизвержениям? За кого вы меня принимаете? Вот, к примеру, ты, Струхнин или, как там тебя, Стрехнин, чего ты молотишь про свою фронтовую молодость? Неужели ты думаешь, что мне неизвестно, чем ты занимался в Особом отделе армии? Если ты, ничтожество, и проливал там кровь, то только чужую, а сам ты всю свою жалкую жизнь не проливал ничего, кроме мочи, у тебя еще руки не остыли от расстрельного пистолета. А ты, Мудяников-Медяников, а точнее, Медников — рабочая косточка, чего ты когда-нибудь держал в руках, кроме канцелярской ручки, которой доносы подписывал, или, может, папа твой, московский барыга и валютчик, патент тебе на пролетарское происхождение сфарцевал? Что же до тебя, Александр Михалыч, то ты как был из тех, что все забыли, но многому научились, так и остался, не лучше ли было тебе, прости меня Господи, сгинуть в сорок девятом от инфаркта, тебя бы хоть собственные дети уважали, а то ведь ты у своих палачей бывших только и научился, что

их ремеслу. Как умирать-то будешь? А с вами, мошь безымянная, даже разговаривать побрезгую, чести много, сами, без моей помощи, сгниете. И будьте вы все прокляты!

В сопровождении их остервенелого клеткота Влад вынесся вон, и, уже не замечая вокруг себя ни лиц, ни предметов, слетел по лестнице вниз, и — через дубовый зал, буфет, вестибюль, двойные двери подъезда — опрометью выскочил на улицу, и даже душная немочь города показалась ему на этот раз освежающей.

В охватившем его возбуждении он и сам не заметил, как очутился у знакомого театра, где с некоторых пор, а точнее, с того дня, когда Женя Ш. свел его со здешним режиссером, сделался завсегдатаем, и теперь, повинувшись безотчетному порыву, повернул к служебному входу.

Театр всегда оставался затаенной слабостью Влада. Заболев лицедейством еще в провинции, он сталкивался затем со многими подмостками, встречал великое множество режиссеров, а исполнителей еще больше, но никогда раньше ему не доводилось встречать драмы, которая бы с такой бесцеремонностью опрокинула все его представления о театре и драматическом ремесле вообще. В отличие от знакомых ему театров здесь режиссер растворялся в спектакле целиком, словно играл и работал за всех — от героя-любовника до последнего гримера и рабочего сцены. Это был театр, где сердце и воля одного человека изливалась вокруг, порождая театральное чудо. И когда потом в Париже Влад вспоминал снисходительные усмешечки высокомерно взиравших на это режиссерское самосожжение московских снобов, ему досыта нахлебавшемуся претенциозным шаманством французских мэтров, хотелось всегда кричать благим матом: врете, сукины дети, не было еще такого на театре, не было!

Едва заметив его в зале, режиссер под каким-то предлогом прервал репетицию и не по возрасту легко

спрыгнул со сцены, устремляясь к нему озабоченным лицом:

— Ну как?

— Как и следовало ожидать, Юрий Петрович.

— Все-таки решились?

— Даже не задумывались.

— Идиоты! — непроизвольно вырвалось у того, но, спохватившись, он деловито напрягся. — Оставайтесь на вечерний спектакль, Владислав Алексеич, я хочу познакомиться с кем-то, думаю, вы не пожалеете...

И Влад остался. Для человека, знакомого с закулисной и внекулисной жизнью этого театра, само существование его представлялось неразрешимой социальной загадкой. Репетиции здесь походили на отработку некоей сложной военной операции против безымянного, но всеми — и постановщиком, и артистами, и обслуживающим персоналом — подразумеваемого противника, а спектакль на воображаемое каждым из них сражение с ним, этим противником. Перед началом, в антрактах и в конце, около театра и в нем воцарялась гремучая атмосфера общей тайны, сговора, заговора, ожидания чего-то такого, отчего в мире что-то сразу изменится, преобразится, расцветет. Товарищ, верь, взойдет она!

Но самое непостижимое в этой всеобщей мистерии заключалось в том, что в ней принимали участие как те, кто ее вдохновлял, так и те, против кого она была направлена. За отсутствием официальных лож, зрители, вне зависимости от ранга и положения, вынуждены были рассаживаться здесь в общедоступных рядах партера, поэтому никого не удивляло, когда рядом с членом политбюро оказывался только что вернувшийся из лагеря диссидент, с генералом госбезопасности в штатском — его потенциальный подследственный из разряда неумолимых сионистов, а с секретарем Цека по пропаганде — новоиспеченный литературный „власовец”. Причем ни у кого не было гарантии, что в определенных

обстоятельствах многие из них вполне могут поменяться местами.

В этот вечер давали „Пушкина”, где в разных ипостасях метался по сцене затравленный собственными химерами человек, исходивший в зал одной-единственной и неутолимой мукой: „Нет, весь я не умру...” Но не утверждал по догматическому тексту, а с надеждой молил, зывал, спрашивал.

Первым, с кем Влад столкнулся в фойе в перерыве, был Эмма К. — давний его знакомый, бывший лагерник, баловень столичных салонов, с которого, может быть, и началось литературное преображение Владова поколения:

— Пошли ты их всех к чертовой матери, Владик, — близоруко вглядываясь в него, неуклюже потоптался рядом с ним тот, — нечего нам больше делать здесь, ситуация, как говорится, исчерпана целиком, изжита, так сказать, уезжать надо, иначе задохнемся, вон Бродский это понял, собрал чемодан и — до свидания. Не знаю, что у него получится там, но здесь все равно бы уже не получилось.

И слился с толпой, не прощаясь, хотя и прощаться ему было незачем, им предстояло впереди еще жить и жить, видеться и видеться, хотя и не часто, но уже под иным небом и в другой стороне.

В буфете Влада настиг его игарский приятель, склонился над ним воронным чубом, вздохнул сочувственно:

— Слышал, слышал, малыш, плохие вести быстро расходятся, — и положил ему руку на плечо. — Дай тебе Бог, Владик, хоть шапку перед тобой снимай, знал бы я тогда в Игарке, чем это кончится! Ты все-таки не забывай старика, заглядывай...

Нет, Юра, Юрий Иосифович, он больше не заглянет к тебе, подхваченный водоворотом скорого отъезда, но благодарное прощание с тобой сохранится в нем на всю жизнь!

Перед началом второго акта чуть ли не из-под руки у Влада неожиданно выявился Идашкин:

— Извини, Владик, — ускользя от него смущенным взглядом, помялся он, — тебе, разумеется, мое сочувствие ни к чему, но, поверь, мне действительно жаль, что у нас с тобой так и не сложилось. Кто знает, может, по-другому бы вышло, но, на всякий случай, не поминай лихом!

Не ему тебя судить, Юрий Владимирович, осуди себя сам, глядишь, и пойдет по-другому.

После спектакля сидевший рядом с ним режиссер протянул его за собой наверх, к себе в кабинет:

— Нас уже ждуг, Владислав Алексеич, постарайтесь его не спугнуть, а то чутье у них звериное.

Наверху и впрямь их уже ждал вальяжного вида блондин, лет около пятидесяти, с ранними залысинами на крупной голове и лицом методически пьющего человека.

— Все фрондерствуешь, Юрий Петрович, все неймется тебе. — Тот обращался только к хозяину, как бы намеренно игнорируя присутствие Влада. — И не надоело тебе гусей дразнить, снимут наши зубры с тебя голову в конце концов, на нас не посмотрят...

В таком духе гость проговорил еще минут пять, после чего встал, кивнул хозяину, выйдем, мол, а затем, так и не попрощавшись с Владом, исчез за дверью.

Режиссер поспешил за ним, но вскоре вернулся, демонстративно плотно прикрыл за собою испещренную именитыми автографами дверь и, приблизившись к гостю на расстояние протянутой руки, проговорил со значением громким шепотом:

— Можете подавать документы, Владислав Алексеич.

— Вы уверены?

— Поверьте мне, на таком уровне слов на ветер не бросают...

Тот был прав: уровень действительно оказался высокий, а слово там ценилось еще выше, что подтвердилось, когда, очутившись на Западе, Влад обнаружил в книге

Джона Баррона „КГБ” фотографию памятного блондина, под которой значилась красноречивая подпись: „Ситников Василий Романович, начальник отдела дезинформации КГБ СССР”.

11

Отсюда, издалека, Россия до сих пор представляется ему тем зрительным залом, в котором не предусмотрено специальных мест для власть имущих и где в силу этого каждый в любую минуту рискует поменяться ролями со своим соседом. И когда он думал об этом, ему обычно вспоминалась байка Сашиной жены — Ангелины Галич:

— Помню, сняли мы перед самым отъездом дачу на лето в Жуковке. Сами знаете — закрытая зона, так сказать, заповедник для отдыхающих вождей, но иерархия все равно соблюдается строжайшим образом. Для них один магазин, называется „Греция”, помните, у Чехова в „Свадьбе”: „В Греции все есть!”, так вот там, у них, „все было”, а для нас — простых смертных — другой, эдакая продуктовая забегаловка, куда обычный ширпотреб завозят: дешевую колбасу, масло, сахар, молоко, хлеб вчерашний, а то, глядишь, и остатки из „Греции” выбросят. Утром зашла я в эту лавочку, смотрю, глазам не верю: стоит очередь как очередь, только вперемежку со всякой безликой публикой торчат в этой очереди фигуры, прямо скажем, исторические, но тоже с мосторговскими авоськами в руках: Молотов, Каганович, Булганин, а от меня за два человека „и примкнувший к ним Шепилов”, как говорится, всегда с народом, правда, уже после прогара. Стоим мы это себе друг за дружкой, будто всю жизнь только этим и занимались, что вместе в очереди стояли, а тут вдруг вбегают в лавочку рыжий парень лет эдак около трид-

цати в рваных джинсах, выставляет авоську с пустыми бутылками на прилавок и, внимания ни на кого не обращая, по-свойски эдак командует продавщице: „Настя, здесь двенадцать поллитровок, итого рупь сорок четыре, вот тебе три копейки в придачу, гони ноль восемь за рупь сорок семь!” Та без слова посуду сгребла, бутылку выставила, тот и был таков. Никто даже возмутиться не успел или не хотели связываться. Только старуха какая-то из дачной обслуги, что передо мной стояла, проворчала ему вдогонку: „Совесть бы поимел, а еще внук Сталина!”

Как сказал один небесталанный, но исписавшийся поэт: „Пришли другие времена, взошли другие имена”. К нему самому, кстати, это тоже относится.

## 12

„Февраль. Налить чернил и плакать”. Но эта зима не располагала Влада к трудам праведным, а тем более, к слезам. За окном метель сменяла порошу, оттепель оборачивалась заморозками, слепящее солнце следовало за облачной хмарью, а желанного ответа все не было. Дни тянулись медленно и тоскливо, скрашиваемые только случайными застольями дома или в гостях: круг старых связей, который еще вчера казался ему нерасторжимым, безболезненно вычленил его из себя и вновь сомкнулся за ним, продолжая жить по своим, раз и навсегда установленным законам. Разумеется, Боже упаси, никто не отрекся от него, не прекратил отношений, скорее наоборот, большинство тех, кого он считал близкими друзьями, при случае старались подчеркнуть свое знакомство с ним, просто-напросто каждый из них, хотя и бессознательно, уже похоронил его для себя, окончательно отторг его от своих забот и своего собственного существования. Оставь нас, гордый человек.

К тому времени Татьяна совсем переехала к нему, и они жили под одной крышей, впервые осознавая, что обратного пути у них нет, что будущее не сулит им ничего, кроме сомнительной неизвестности, и что отныне они навсегда скованы пожизненной цепью единой судьбы.

Первое время Влад приглядывался к жене, с тревогой ожидая, что нынешнее их положение, что называется, между небом и землей, рано или поздно отзовется в ней признаками страха или неуверенности, но шли дни, будущее представлялось все безнадежнее, а она оставалась такою же, какою он встретил ее в первый раз: ровной, предупредительной, незлобивой. При всей ее видимой уступчивости в ней чувствовалось глубоко затаенное упрямство цельной и независимой натуры, которая, внешне сгибаясь перед давлением, тут же выпрямляется, готовая к беспрерывному сопротивлению.

Привыкнув в женщинах к слабости, а не к силе, он поначалу насторожился, прозревая в сочетании этих двух в ней начал угрозу своему привычному самоощущению, но в конечном счете ей исподволь, незаметно для него самого удалось преодолеть в нем его первоначальную настороженность, и он успокоился, положившись на ее чутье и такт.

Поэтому, когда, наконец, на исходе первой декады февраля, Влада телефонным звонком вызвали в Овир, он не удивился ее внезапной решимости:

— Я пойду одна, — тихо, но решительно определила она, — никогда не знаешь, чего от них ждать, если они откажут, ты сорвешься, не будем искушать судьбу, после разговора я сразу же позвоню из автомата...

В ожидании ее звонка Влад не находил себе места, метался по комнате, то окрыляясь уверенностью, то теряя надежду. „Кто их действительно знает, — проносилось в нем, — сегодня решат, а завтра перерешат, своя рука — владыка!“

Ее голос в телефонной трубке прозвучал так обыденно, словно речь шла о сегодняшней погоде:

— Отказали. Даже разговаривать не захотели, сказали, что по частным приглашениям пускают только к родственникам...

Сообщение не столько обескуражило, сколько опустошило его. Напряжение последних недель мгновенно сменилось усталостью и безразличием: будь, что будет, пусть все идет к чертовой матери, хватит ему зависеть от капризов их пищеварения или блажи, то и дело ударяющей им в голову!

Правда, Влад еще собрал в себе волю, чтобы позвонить своему театральному знакомцу и коротко известить того о случившемся, в ответ на что ему пришлось выслушать долгие и маловразумительные объяснения со ссылками на неповоротливость, рутину и безразличие бюрократической машины, но в нем это уже ничего не меняло, слова он пропускал мимо ушей, окончательно смиряясь с тем, что всему конец и что мышеловка захлопнулась...

В эту ночь они не сказали друг другу ни слова. Каждый из них как бы предлагал другому возможность и время подытожить прошлое, обдумать настоящее и взвесить будущее в преддверии неизвестности, которой теперь не будет конца. Взвесить и решить для себя раз и навсегда: разойтись или остаться вместе.

Утром, поднявшись и выходя на кухню, она вскользь, как ни в чем не бывало, спросила его:

— Тебе чай или кофе?

Пожалуй, с этого, с этих оброненных походя слов и началась их по-настоящему совместная жизнь.

Но к концу недели, отзываясь на очередной звонок, он вдруг услышал в трубке женский, с кошачьими интонациями голос:

— Товарищ Самсонов? Здравствуйте. Вас просят явиться завтра в десять часов утра на прием к заместителю

начальника московского Овира товарищу Фадееву по адресу...

Остальное доходило до него, словно сквозь вату. „Что бы это могло означать? — Жаркой волной хлынула в него разноголосица догадок: — Сработала наконец канцелярская цепь или что-то случилось?“

Что именно, выяснилось к вечеру того же дня. Помнится, он отлучился за газетами, а по возвращении, едва открыл дверь, как услышал встревоженный голос жены:

— Звонила Наталья Дмитриевна: Солженицын арестован, просила сообщать об этом, кому можно!

Для одного дня этого было слишком. Недавнее облегчение улетучивалось из Влада, словно воздух из внезапно проколотой емкости, уступая место липкой пустоте безотчетного страха: если решились срезать вершину пирамиды, то, значит, им ничего не стоит скрыть ее до основания, а в таком случае судьбы подобных ему — Владу Самсонову — не имеют для них никакой ценности. Пусть побежденный плачет!

Обморочный страх, облапив ему сердце цепкой своей пятерней, уже не отпускал его. Пожалуй, впервые в жизни он явственно ощутил, что понятие горящей под ногами земли может стать таким пронзительно ощутимым. Земля действительно горела под ним, гнала его в снежную замять вечернего города, кружила по улицам и переулкам, не давая ему ни отдыха, ни остановки.

К источавшему его на ходу изнуряющему страху с каждым шагом все ощутимее примешивалась сводившая ему скулы ярость: почему, сколько он себя помнил, за ним по пятам тянется, вьется, петляет этот разрушительный для души страх? Когда, где и кому он чего-либо задолжал? И перед кем в чем-нибудь обязывался? Нет, хватит, такой ценой он больше не хочет оплачивать свое прозябание на земле! Если отсюда невозможно вырваться, то не лучше ли сразу подвести черту, одним ма-

хом разрубив узел проклятой яви, а после него хоть трава не расти!

Но сквозь шлак спекшихся в нем воспоминаний, опережая его бегство от самого себя, вслед ему, из коридора Таганского подвала вытягивалось иступленное напутствие Сереги:

— Слышишь, прошу тебя, все помни, за все посчитаемся, будет наше время! Не забывай, Владька, у меня никого кроме тебя нету!..

И сразу же следом снисходительный говорок Бори Есьмана:

— А храм стоит, Владька, говорят, такой храм!..

Видно, догадываясь об этом его состоянии, жена беззвучной тенью следовала за ним, и это их в тот поздний вечер слепое кружение по городу помогло им еще более проникнуться друг другом и общностью развершейся перед ними бездны.

Полночь застала их на ее старой квартире, откуда, промаявшись в тревожной бессоннице до первых рассветных сумерек, они и отправились по-прежнему пешком в сторону Колпачного переуллка, где сегодня должна была решиться предстоящая им участь: навстречу року, судьбе, неизвестности.

В густой белизне морозного тумана Москва проступала впереди сплошным чернильным пятном с брызгами последних огней вдоль всей перспективы. Город просыпался от ночной спячки, заваривая вокруг них свой повседневный круговорот. Даль постепенно прояснялась. Но чем меньше оставалось им до цели, тем горше и тягостней становилось у него на душе. „Возьмут сразу там же, на месте, — мысленно гадал Влад, — или еще поиграют в кошки-мышки?“

Более всего другого Влада изводила боязнь за жену. Если его возьмут, ей не простят ничего, ни ее связи с ним, ни разрыва с родней, ни даже этого их сегодняшнего визита в Овир. В чем-в чем, а в мстительности, и это

он знал по собственному опыту, Система, в паутине которой их угораздило родиться, была беспощадно последовательна. Боже праведный, отвори от нее сию пасть!

С этим Влад и очутился в Колпачном переулке. И хотя час до открытия был сравнительно ранний, у дверей знаменитого учреждения, притаптывая и поеживаясь, толпилась довольно изрядная очередь.

Среди обычных здесь разговоров, исповедей и перепалок Влад слегка опамятовался, отмяк сердцем, душевно прояснился, и поэтому когда уже в приемной услышал по внутреннему радио свою фамилию, то, входя в заветный кабинет, более или менее приготовился ко всему.

Человек в штатском — два уголька жестких глаз, лоснящийся, будто только что из парикмахерской, черный пробор на маленькой голове — принял его стоя и, глядя куда-то сквозь и поверх него, равнодушно отчеканил:

— По решению руководства вам разрешена поездка во Францию сроком на один год. Ваше возвращение будет зависеть от вашего поведения за рубежом.

— Мне надо подумать. — Неожиданно для самого себя вдруг отвердел Влад. — Вы же знаете, что произошло вчера вечером?

— Что именно? — В вопросе не прозвучало даже любопытства, все то же ровное равнодушие. — Я вас слушаю.

— Вчера арестован писатель...

Тот не дал ему договорить, оборвал с резкой презрительностью:

— Меня это не касается. Все. Можете идти...

И Влад вышел к ожидавшей его за дверью жене:

— Разрешили. — Он все еще с трудом приходил в себя. — Поезжай домой, а я пройдуся, к обеду буду...

Ему необходимо было сейчас остаться наедине с собой, осмыслить случившееся, продумать линию поведения в оставшиеся до отъезда дни, чтобы не дать „Галине

Борисовне” повода или возможности использовать его теперешнее положение себе на потребу.

Вчерашняя неожиданность если и не поставила Влада перед выбором „ехать — не ехать”, — по его заключению, ехать он теперь обречен, — но отныне ситуация для него складывалась таким образом, что любая, даже самая малая оплошность может обойтись ему очень дорогой ценой. Прежде всего следовало объяснить самому себе и окружающим, насколько взаимосвязанным или случайным оказалось совпадение этих двух административных акций: ареста одного и узаконенного выдворения другого. Одна мысль о том, что это совпадение может вызвать и, наверное, вызовет кривотолки, повергала его в опустошающую прострацию. Ох уж эта „княгиня Марья Алексевна”! Минуй нас пуще всех печалей.

Очнулся Влад уже на улице Чкалова около сахаровского дома. Открывая ему, академик не выказал ни взволнованности, ни удивления:

— Здравствуйте, Владик, проходите, сейчас чай пить будем, тогда обо всем и поговорим. — И уже идя следом за ним. — Мы тут выработали один текст с требованиями из нескольких пунктов, основное, разумеется, о немедленном освобождении арестованного писателя, думаю, вам необходимо подписать в первую очередь, вы меня понимаете? — Хозяин вяло и неуклюже расставлял перед ним чайный прибор. — А ехать вам необходимо, Владик, сейчас там должен быть хотя бы кто-то, кого будут слушать. — Он опустил ся сбоку от гостя на стул, встретился с ним отрешенным взглядом. — Вам нужно только продумать, что именно вы будете там говорить...

Влада никогда не переставала поражать в академике его способность в любой ситуации сохранять в себе покоряющую ясность души и невозмутимость аналитического ума. Манера поведения и тон разговора не менялись в нем в зависимости от уровня или принадлежности собеседника к какой-либо определенной среде. В разго-

воре он ни в коем случае ни на чем не настаивал, а лишь размышлял вслух, высказывая свое вроде бы никого ни к чему не обязывающее мнение, но это получалось у него так просто и доверительно, что поневоле вынуждало всякого, даже самого заядлого оппонента, отвечать ему в том же духе. Именно это, по мнению Влада, как ничто другое, хотя было в нем еще много располагающего, привлекало к нему столь большое число самых разных, а порою и взаимоисключающих людей. Недаром же сказано: не стоит село без праведника. Без такого праведника не только села, страны бы, народа целого не стояло...

От академика Влад вышел более или менее умиротворенным, а когда по дороге, позвонив из автомата приятелю, узнал, что арестованный накануне писатель уже приземлился на аэродроме во Франкфурте, окончательно пришел в себя и даже повеселел: поехали, как изволил выразиться, отправляясь в космос, один смоленский мастеровой с княжеской фамилией!

С этого дня Влада закружило в прощальной карусели. Телефон звонил почти непрерывно, интерес к нему разбухал не по дням, а по часам, заметно перерастал величину его скромной особы и значение связанного с нею — этой особой — события. Журналисты и дипломаты доброй половины света, близкие друзья и безымянные доброжелатели, полужнакомые приятели и полузабытые подруги вдруг, как по команде, озаботились его самочувствием и планами на будущее. По простоте душевной можно было подумать, что заблудшее человечество наконец-то прозрело, спеша теперь к нему, чтобы загладить перед ним свою историческую вину.

Объявился даже неожиданный гость, один из Владовых активистов по клубной самодеятельности в Игарке, памятный ему своей насмешливой вьедливостью и крохотным носиком-кнопочкой:

— Да, скривился он постаревшим лицом, приплюсываясь к чему-то зияющими дырочками любопытствующего носика, — не густо нынче писатели живут, попржижали, видно, вашего брата. Ну, как говорится, ни пуха ни пера!

И сгинул, будто нечаянно приснился. Долго потом ломал Влад голову: зачем тот к нему приходил и почему вообще о нем вспомнил, но так, в конце концов, ни до чего и не додумался.

В день перед отлетом, с утра, на асфальтовой площадке у подъезда Владова дома вызывающе обозначилась черная „Волга” со служебными номерами: родина видит, родина знает!

Впрочем, машина эта почти не проявляла признаков жизни и пассажиры в ней, а их, как мимоходом отметил Влад, было четверо, включая одну женщину, тоже выглядели абсолютно неподвижными, отчего в целом все это походило на мастерски стилизованный макет с международной автовыставки. Лишь изредка, словно отбывая постылую повинность, „Волга” нехотя оживала, лениво провожая кого-либо из дневных гостей до ближайшей троллейбусной остановки, после чего снова отвердевала на прежнем месте.

Сначала эта „Волга” у подъезда вызывала во Владе настороженную досаду, ощущение своей незащищенности перед этой равнодушной бесцеремонностью, но к концу дня, то и дело провожая визитеров, он по привычке к ее молчаливому присутствию и более уже не обращал на нее внимания: чем бы дитя ни тешилось!

К вечеру же гость потянулся к нему, что называется, косяком. Дверь почти не притворялась, впуская все новых и новых посетителей. И хотя круг его прямых и шапочных знакомств был достаточно велик, он еще вчера даже не мог бы предположить, что их — этих знакомств — окажется такое разношерстное множество.

Гости шли и шли, тут же смешиваясь с другими, затем призрачно исчезали, чтобы мгновенно уступить очередь следующим. Весь это разнокалиберный люд, прежде чем отправиться восвояси, ухитрялся покружиться в водовороте его, ставшей вдруг совсем крохотной комнатенки, перезнакомиться между собой, обсудить важнейшие из глобальных проблем, поспорить, разругаться и снова поклясться друг другу в дружбе до гроба да еще и выпить под шумок, забыв под конец о цели и смысле своего визита в эту квартиру.

Влад встречал и провожал каждого из них, выслушивал и сам произносил обычные в таких случаях слова, жал руки, пил прощальные тосты, не запоминая, впрочем, ни лиц, ни слов, ни заздравных напутствий.

Они тянулись мимо него — бывшие друзья и завтрашние враги, еще и отдаленно не прозревая своей будущей роли в его судьбе, словно колода игральных карт, вытянутая в ленту перед азартным гаданием: король „пик” или дама сердца?..

Растекалась перед Владом святочная борода некоего переводчика из околорисидентствующих, завзятого либерала, комфортно сочетающего свой либерализм с дорогим его любвеобильному сердцу молодым Марксом:

— Вот вам, Владик, мой подарок на память. — Он прямо-таки излучался во все стороны простоватым добросердечием. — Это коробочка с русской землей, не забывайте, Владик, нашу русскую землю!

Слова „русской землей”, „русскую землю” переводчик произносил с такой задушевной проникновенностью, будто он-то лично и был ее единственным собирателем, которому принадлежало монопольное право дарить коробочки с ней тем, кто покажется ему достойным этой сокровенной чести.

О, людская тщета, помноженная на клиническую глупость!

За ним Влад выделил из потока резкое, но уже ослабленное первым хмелем лицо известного, но лишь вскользь до той поры знакомого ему писателя с репутацией загульного хлебосола и литературного забияки.

— Давай, Алексеич, чокнемся, — перехватив взгляд хозяина, вырулил к нему тот с рюмкой в руке, — хотя я с тобой не прощаюсь, глядишь, скоро увидимся. — Он упрямо тряхнул густо седеющей шевелюрой. — Не могу больше, хватит, не хочу околевать в этом дерьме, много ли мне осталось, — один Бог знает, хоть белый свет посмотрю. — Залпом выпил и подмигнул отходя. — Так что жди, Алексеич, еще не вечер...

Помнится, Влад прочитал его книгу еще в юности, в общежитии на стройке под Ашхабадом. Прочитал залпом, вздохнул, с волнением проникаясь исходящими от нее запахами окопной земли, солдатского пота, приправленного госпитальным спиртом и пороховой гарью, дыма, курева, волжской воды. Он долго возил ее — эту книгу — с собой по извилистым дорогам своей одиссеи, пока не подарил ее как-то, под веселую руку, случайному собутыльнику, оказавшемуся, как и сам владелец, оголтелым любителем печатного слова.

Думалось ли ему тогда, что через пятнадцать примерно лет судьба сведет их однажды в случайной литературной забегаловке, чтобы затем опять, спустя годы, связать навсегда тягостной цепью эмиграции. Кто знает, чем кончится эта их общая лямка, но чем бы они ни кончилась, он до смертной черты не избудет в себе благодарности к этому своему невольному спутнику, хотя бы за то, что тот, сам того не подозревая, одарил его в начале пути тем магическим кристаллом, сквозь который перед ним впервые открылась явь такой, какой она выглядит на самом деле. На здоровье, Виктор!..

А навстречу Владу уже возносился патрицианской своей головой Саша Галич, печально посвечивал в его сторону влажными глазами, вздыхал умоляюще:

— Тошно без вас мне будет, Владик, ох тошно, не для меня все это, ох не для меня, а самому решиться — тоже мочи нет...

Придется, Саша, придется! Разом оборвав все корни и связи, ты выбросишься в разреженное пространство изгнания и задохнешься в его непроницаемой глухоте и оцепенелом равнодушии, может быть, даже спасенный (прости, Господи!) шальной гибелью от еще большего удушья. Хотя, кому дано знать? Но и теперь, после всего, он готов повторить вдогонку ушедшему другу: до свидания, Саша!..

Вскоре Влад перестал воспринимать окружающее. Множились лица, голоса вытягивались в один слитный гул, а в тяжелеющий час от часу голове, подрагивая, словно поезд на стыках, ворочалась одна и та же мысль: это конец, это конец, это конец!

Очнулся он уже в пустой комнате над разоренным чуть не суточными проводами столом. За окном едва заметно занималось зимнее утро, обещая студеной день и солнце перед дорогой.

— Пора, Владик, — отозвалась на его пробуждение жена, глядя на него с другого конца стола загнанными глазами. — Машину обещали через десять минут.

— Никого?

— Молодой Слепак с ребятами улеглись на кухне, им сегодня на демонстрацию, на Старую площадь.

— Безопаснее места не нашли?

— Наверное.

— Ладно, им виднее. Устала?

— Немножко.

— Боишься?

— Немножко.

— Потерпи малость, скоро конец.

— Терплю...

Потом они неслись сквозь фиолетовый рассвет по пустынному, в легкой пороше Дмитровскому шоссе в сто-

рону Шереметьева, толклись посреди вестибюля в толпе провожающих, выстаивали таможенный досмотр, проходили паспортную проверку и билетный контроль и, лишь оказавшись в зале ожидания для зарубежных пассажиров, отчетливо осознали, что это действительно конец и возврата больше нет.

Там, внизу, в вестибюле, за стеклянной перегородкой сгрудились те, кого он в той или иной мере считал частью самого себя и своего минувшего теперь существования. До них еще можно было дотянуться взглядом, помахать лишней раз рукою и даже сложить беззвучными губами несколько понятных им слов, но все они, и вместе, и по отдельности, при кажущейся их досягаемости оставались отныне за пределами его теперешнего бытия.

— Граждане пассажиры, объявляется посадка на рейс Москва—Париж...

И еще дважды по-французски и по-английски.

Проходя мимо бара, Влад не удержался, свернул к стойке, отнесся к пожилой, в льняном перманенте барменше:

— Плесните, уважаемая, на дорожку. — И просительно добавил: — Только до краев...

Залпом опрокинул в себя обжигающую влагу, бросил на стойку червонец и потянулся за другими следом, уже не оглядываясь: я ходил напролом, я не слыл недотрогой!..

— Просьба не курить! Пристегнуть ремни!..

И земля косо рванулась из-под закопченного крыла авиалайнера. Родная земля.

— Девушка, выпить бы...

Прости, прощай, на этом он ставит точку. Наверное, ему удалось высказать лишь малую часть того, о чем хо-

телось бы, но у своенравной памяти своя логика отбора самого важного в прожитой жизни, и автор безропотно подчинился ей, этой логике. Может быть, в этом — в случайных, на первый взгляд, словах, проговорках — и заключена правда его жизни, правда, свободная от намеренного кокетства, лукавой недоговоренности или ложных мудрствований. Он рассказывал ее прежде всего для себя, как бы подводя мысленно некий итог пройденному пути, но, разумеется, и в робкой надежде (слаб человек!), что долгая история эта послужит уроком и поучением для кого-нибудь из тех, кто, обуреваемый честолюбивыми замыслами, вступает или намеревается вступить на ту же стезю.

Кроме того, это еще и книга прощания, а расставаясь, как известно, люди не всегда успевают сказать друг другу именно то, что необходимо было сказать. Но и сказанного здесь все же вполне достаточно, чтобы более не возвращаться к прошлому, не ворошить старых обид, вчерашних счетов и взаимных претензий, не растравлять себя мстительной возможностью вновь заглянуть в бездну. Как говорится, он с жизнью в расчете и не к чему перечень взаимных болей, бед и обид.

Впереди другая судьба, дороги которой теряются в бесприютной перспективе чужбины. Кто знает, долго ли ему по ним ходить и где, в какой части света успокоиться? Нет, он не тешит себя иллюзиями: возврата нет, хотя надежда сильнее очевидности, и она еще поддерживает в нем жажду быть, желать, действовать, иначе жизнь давно потеряла бы для него всякий смысл.

Он знает теперь, что ему предстоит выпить свою чашу до дна, но отныне ему навсегда открылось: ярость без сострадания прибавляет сил, но опустошает душу, поэтому, оглядываясь назад, он посылает тебе не проклятье, а благодарность, которая, куда бы ни забросила его судьба, не иссякнет в нем, ибо и той частицы твоей, какую удалось унести ему (на подошвах собственных баш-

маков) для него достаточно, чтобы по-сыновьи, с яростью и состраданием любить тебя — Россия!

14

Прощай!

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Часть первая	7
Часть вторая	101
Часть третья	191
Часть четвертая	273

## КНИГИ ТОГО ЖЕ АВТОРА

### Собрание сочинений

6 томов, в общей сложности 2300 с., в твердых переплетах, с тиснением.

- Том 1: **Сага о Савве** (повести, изданные в Советском Союзе и потом изъятые из всех библиотек) . 400 с.
- Том 2: **Семь дней творения** (роман-хроника, охватывает период от революции до наших дней. Его шесть частей объединены судьбой семьи Лашковых, честно участвовавшей в революции, а затем находящей пути к правде и к Богу) . 512 с.
- Том 3: **Карантин** (роман, в котором глубокая символика переплетается с реальной жизнью сегодняшней России) . 364 с.
- Том 4: **Прощание из ниоткуда** (романизированная автобиография, передающая богатейшую переживаниями, событиями и встречами жизнь писателя) . 430 с.
- Том 5: **Жив человек** (пьесы, частично пробившиеся на сцены театров, несмотря на „крамольные идеи“, в них содержащиеся) . 334 с.
- Том 6: **Ковчег для незваных** (первый написанный за границей роман. Описывается переселение на завоеванные у Японии Курилы. Роман полон глубокого символизма: в течение всех лет советской власти народ считался „незванным“, но вдруг оказалось, что он живет и возрождается духовно) . 288 с.

## Сага о носорогах

В книге вызвавший широкие отклики памфлет В. Максимова под тем же названием и реакция на него, а также публицистические выступления автора на родине и за границей.

1981

254 с.

25 нм

В продаже также все произведения автора в отдельных изданиях. Подробности в каталоге издательства, который высылается по требованию бесплатно.

Первым за границей был напечатан роман „Семь дней творения“ в 1971 году. С тех пор книги В. Максимова на русском языке разошлись в количестве более 20 тысяч экземпляров. На иностранных языках они вышли в 35 различных изданиях, не считая специальных „клубных“, в таких странах, как Англия, Западная Германия, Франция, Италия, Испания, Израиль, Голландия, Норвегия, США, Швеция, Япония и др.

Книги В. Максимова можно приобрести в любом русском книжном магазине или непосредственно в издательстве:

Possev-Verlag  
Flurscheideweg 15  
D - 6230 Frankfurt 80

**Просим читателей присылать отзывы на эту книгу по адресу:**

**Possev-Verlag  
Flurscheideweg 15  
D-6230 Frankfurt 80**